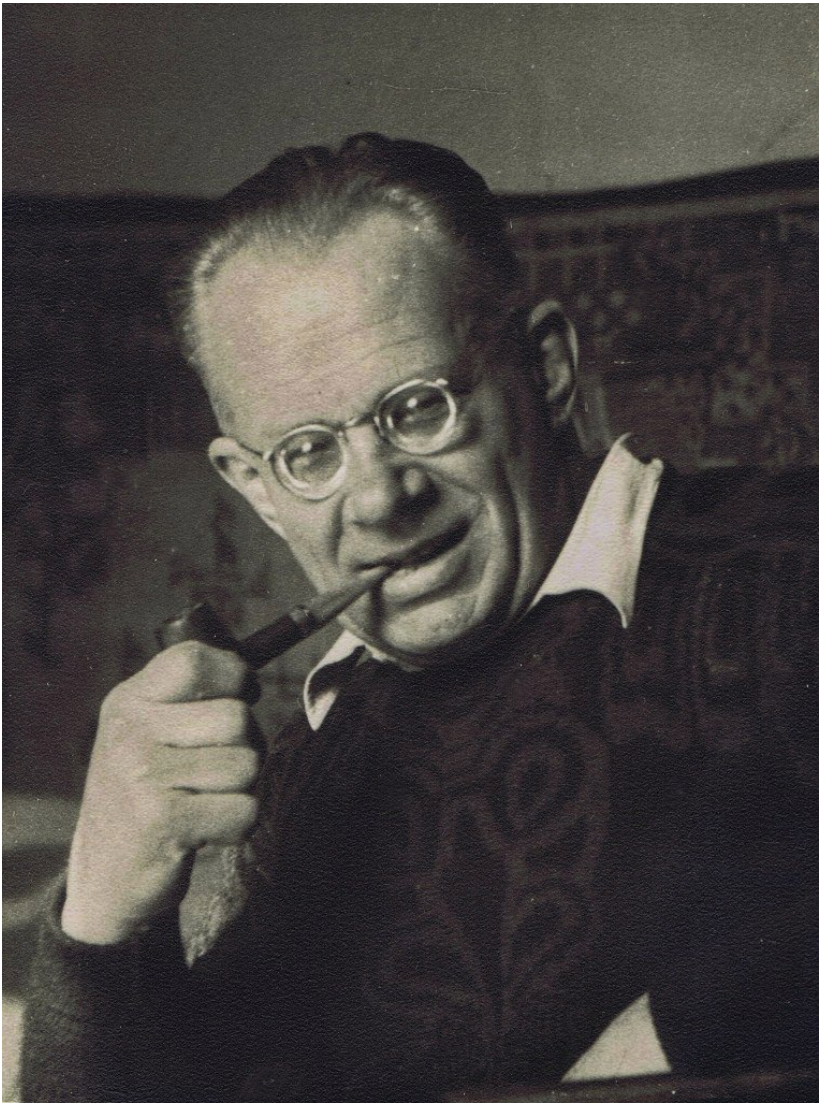
ИЗДАТЕЛЬСТВО
КАРТУШ



ИСТОРИИ РУССКОЙ ПРОВИНЦИИ

Историко-просветительский журнал №105

БОРИС СОЛОНЕВИЧ

НА СОВЕТСКОЙ НИЗОВКЕ

Очерки из жизни низового советского люда

К 120-летию со дня рождения Б.Л. Солоневича

Орловское отделение Общества русского исторического просвещения
"Двуглавый Орёл"

Орёл – 2018

УДК 82-94
ББК 84(2Рос=Рус)6
С 60

Борис Солоневич
С 60 **На советской низовке: Очерки из жизни советского люда** – Орёл: «Картуш», 2018. – 304 с., с илл. (Истории русской провинции, №105).

ISBN 978-5-9708-0713-2

УДК 82-94
ББК 84(2Рос=Рус)6

Писатель Борис Лукьянович Солоневич родился 20.01.1898 г. в Гродненской губернии. Сын Л.М. Солоневича, русского публициста, издателя газеты «Северо-Западная жизнь», одного из идеологов западноруссизма, брат известного общественного деятеля и мыслителя И.Л. Солоневича. Получил медицинское образование. В 1912 г. вступил в скаутскую организацию, где дошёл до звания старшего скаутмастера и являлся помощником начальника скаутов России.

В ноябре 1920 г. эвакуировался в Константинополь, но вскоре вернулся в Крым, где продолжил скаутскую деятельность. Арест 02.06.1926 г. обернулся 8 годами в концлагере на Соловецких островах, но в 1928 г. в связи с прогрессирующим заболеванием глаз был отправлен отбывать ссылку сначала в Сибирь, потом в Орёл.

Вместе с братом и племянником, также отбывавшими наказание в другом концлагере, совершил с 26.07 по 8.08.1934 года побег из Лодейного Поля в Финляндию, пройдя по лесам и болотам Карелии около 150 км.

После двух лет жизни в Финляндии в 1936 г. Борис Солоневич переезжает в Софию, где участвует в издании газеты «Голос России». В газете он печатает, в частности, статьи об истории скаутского движения в России и репрессиях против него советской власти. С 1937 г. живёт в Бельгии, в 1941 г арестован Гестапо, до 1944 г. содержался в заключении в замке Бриндонк. Там он с 1950 г. издаёт журнал «Родина». Вскоре Борис Солоневич переезжает в Нью-Йорк, где продолжает выпуск журнала (до 1978 г.).

К концу жизни потерял зрение. Скончался в доме престарелых Глен-Коуве на Лонг-Айленде. Похоронен на русском кладбище в Ново-Дивееве (пригород Нью-Йорка).

Предложенное читателям издание Б.Л. Солоневича впервые печатается в России.

© Б. Солоневич (правопреемники), 2018
© «Истории русской провинции», 2018
© Орловское отделение Общества русского исторического развития «Двуглавый Орёл», 2018
© ООО ПФ «Картуш» – оформление, 2018
ISBN 978-5-9708-0713-2

Содержание

Тоска по Родине 6
Поездки «С гробом на пару» 21
Кусочек «Советской карьеры» 25
Осколки старого 28
Человеческие нули 40
Товарищи лейтенанты 52
62000 53
Чистка жидоедов 68
Обработка душ 81
«Чёртова служба» 89
Чистка мозгов 98
«Партейная панихида» 101
На двух ступеньках 110
«Интузиасты в два лица» 122
«К позорному пролетарскому столбу» 132
Чемпион БРИЗ-а 139
«Октябрины» 148
«Принцесса Грёза» 157
Под колесом машины 161
«Истощатые кишки» 173
Комсомольское Рождество 184
Марксизм и сердце 192
Мирный герой 221
Один из сдавшихся 232
Хлебный бунт 252
Отречение от отца 257
Горькая поэма о жратве 267
Мы, новые 281
Об авторе этой книги 282

ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ

Тоска по Родине

Горькая поэма

Нити души

Чудесный, мелодичный мотив... Думал ли композитор, создавший нежные переливы старинного вальса «Тоска по Родине», что случайно взятое им название будет когда – то болью откликаться в тысячах и тысячах сердец?.. Думали ли когда-нибудь плавно кружившиеся в танце пары доброго старого мирного времени, кажущегося уже какой-то легендой, что мотив этого вальса, пропетый старой граммофонной пластинкой, заставит теперь так больно сжиматься что-то там внутри, словно старая рана неожиданно оказалась не только не зажившей, но и наболевшей и... может быть, для многих даже смертельной?..

* * *

Финляндия, Болгария, Югославия, Швейцария, Франция, Бельгия, Германия – величины, равные уездам, губерниям и областям Российской Империи – каждая из них присылала на наши доклады сотни и тысячи своих русских.

Сколько было часов, когда внизу, в затемнённом зале, вздыхала, замирала, двигалась, смеялась, плакала и шумела тысячеглазая толпа? Тут были и старики, знавшие мощь, покой и величие старой России, тут была и молодёжь, видевшая эту Россию только на географических картах мирного времени, тут были видны и суровые лица людей, много крови проливших в бесчисленных боях за Россию...

Как много их!.. И что привело их в эти залы?

Интерес?

Любопытство?

Нет. Привела их сюда – **тоска по Родине**.

* * *

«Емшан, пучок травы степной,
Он и сухой благоухает»...
А. Майков

Давно-давно, говорит старинная легенда, сын одного из могущественнейших ханов завоевал соседние царства, создал себе новое отечество, окружил себя всем великолепием восточной роскоши и не захотел вернуться к отцу. Старый хан, уже умирая, послал к сыну певца своей Родины, чтобы уговорить его вернуться домой. Но в прекрасном дворце молодого хана певец напрасно пел о прелестях родной страны и звал хана вернуться. Молодой государь только смеялся над его песнями, а царедворцы издевались над бедным певцом.

Тогда, отчаявшись встал певец, подошёл к молодому хану и подал ему пучок душистой степной травы – «емшан». И аромат травы родных степей сделал чудо:

«И смотрит хан – и сам не свой,
Как бы почуяв в сердце рану»...

* * *

Такова прелестная старинная легенда. Она неизменно вспоминалась мне, когда я видел наполненные залы наших слушателей... Мы тоже принесли с собой аромат нашей Родины. В наших рассказах зрители чувствовали Её дыхание, жизнь, страдания, смех и горе...

Живые люди рассказывали про жизнь живой России. Рассказывали почти обо всех гранях, о сторонах пёстрой и парадоксальной советской действительности.

И мы были не в Европе. Великим чудом страшных слов, «Тоска по Родине» мы все переносились туда, за ко-

лючую проволоку окровавленных границ – не кровью врагов, а кровью неудачных беглецов, – на великие просторы нашей несчастной Родины...

А мы благодарим Бога, что наша наследственная специальность – журналисты – дала нам возможность волей или неволей много видеть и наблюдать и об этом виденном рапортовать той части России, которая живёт не в том концлагере, который теперь называется СССР.

Что там, за стеной из проволоки и штыков?

Из отдельных штрихов, анализов, картин и бликов строится величественная и страшная мозаика современной русской жизни...

Вот создание актива «девочка донесла на свою мать». Эта проба на донос отмечена. Назад в семью этой девочке хода уже нет. И её бережно подбирают и ставят в советский строй будущих погонщиков рабов... По уровню своей морали она достойна быть в числе «строителей социализма» – то ли на посту женорга, то ли в приюте для беспризорников, то ли в подвале ОГПУ... Душа уже запродана...

Вот молодой комсомолец, которого мобилизовали в ОГПУ и заставили расстреливать людей в подвале. Ему уже не выжить...

«Душу мою окровянили, гады»,– шепчет он, и кажется, его шёпот проносится вот здесь, в притихшем зале. И как будто дёрнулось его искажённое мукой лицо, и тень его исчезла, чтобы дать место другим...

Вот митрополит Иларион, который не сдался. После трёх лет заключения в Соловках ему добавили ещё три. Прошло три года, добавили ещё два... И потом убили. И богатырская фигура настоящего, не согнувшегося духом пастыря словно проходит перед зрителями на экране воображения.

А вот другой – митрополит Сергий... Тот, который сдался… Нанесённый им удар по русской душе, может быть, самый больной для тех, кто видел тысячи других пастырей, бестрепетно пошедших на мучения и смерть, но не запятнавших себя примирением с палачами... Если не хватило сил на подвиг, у него должно было бы хватить сил хотя бы на молчание. Но и на это их не хватило... Много душ смяли колёса революции...

И опять, словно вот здесь, в зале, слышен прерывающийся, дрожащий голос старика-священника, говорящего в тюрьме о знаменитом интервью Сергия (о том, что в СССР нет преследования религии):

... «На наши слёзы... На муки и кровь подвижников плюнул он, митрополит Сергий... Боже, Боже... Сенька вот, беспризорник, Иудой его обозвал... За что, о Господи, караешь ты свыше сил наших?»...

Дальше – землянки донбассовских рабочих, вырытые в земле, грязные, сырые, наполненные пёстрым месивом рабочих семей... «Царство рабочих и крестьян»... А рядом – дворцы пролетарских клубов, откуда ползёт ядовитый туман пропаганды большевизма...

Потом – голодные советские вороны, поданные голодному докладчику, у которого уже кружится голова от слабости... Или дальше «жеребячая колбаса», она же – «собачья радость», она же – «Маруся отравилась» – жаренная на рыбьем жире...

А вот – разговор в Финляндии с известным знатоком советской жизни, американским журналистом Никербокером, который без свидетелей, «по душам», разговаривал с советскими колхозниками. Как оказывается, он ни одного слова не знает по-русски...

Дальше – бесконечное количество всяких названий тех методов, которыми выколачивается «прибавочная стоимость» из измученного русского рабочего. Тут и «соцсо-

ревнование», и «ударничество», и «сдельщина», и «премиально-прогрессивная сдельщина», и «изотовщина», и «стахановщина», и многое другое... После грабежа всех– капиталистов, банкиров, буржуазии, империалистических запасов, рабочих и крестьян – власть грабит действительно последнее – живые силы страны...

Пять миллионов русских людей томятся на каторжных работах в более чем 50 концентрационных лагерях...

Кто скажет, что это преступники? Это всё пленные великой Гражданской войны, поднятой генералом Корниловым в феврале 1918 года и не прекращающейся до сих пор... Какие войны знали когда-либо такие цифры пленных? И не показывают ли эти цифры всё страшное, всё растущее напряжение этой войны? А разве мы все стоим вне этой кровавой войны? Разве наша эмигрантская жизнь – не продолжение Гражданской войны? Кто дал нам отпуск? Россия? Нет, Россия ещё в бою, и мы все на Её фронте!..

...Тёмный вечер в карельской деревушке. Вьюга и мороз. Маленькая ручка девочки, как воробьиная лапка, и вцепилась в большую кастрюлю с замерзшей порцией выбрасываемых щей.

«Дяденька, дай...» – пищит тоненький голодный голосок.

«Да ведь здесь лёд!»

«Ничего, дяденька... Ты только дай... Я его отогрею»...

Распахивается рваный зипунишко, и маленькая девочка, стуча зубами от холода, пытается своим истощенным телом отогреть глыбу льда лагерных щей...

Это ребятишки **вольных** крестьян, выпрашивающие подаяние у лагерников...

Кто не ощутил этой небольшой сценки, как жестокой пощёчины нам, взрослым людям России, которые **не додрались**, которые **допустили** детей своей страны до такого положения?..

...Вот – мужественное, нахмуренное лицо командира взвода, партийца и «лояльного красного офицера».

«Ну, не будь сволочью, Солоневич,– говорит он. – Получай для меня письма на свой адрес. А то, ей-Богу, никоторой мочи нет – совсем, брат, комиссарьё заело!»...

...Страшные годы коллективизации. Даже самые правоверные отшатнулись при виде гор трупов. Но в тумане кремлёвской залы чудится насмешливо прищуренное лицо с узким лбом и грузинскими усами:

«Что? **Тараканов испугались?»**

Что для него человеческие жизни?

...Крепнут и сбиваются в крохотные монолиты русские семьи. На фоне коммунистического дурмана это первая победа жизни. Здоровый инстинкт народа устоял против разложения семьи. И высятся «чёрные доски» во дворе заводов:

«Комсомолец Петров. Женился, ушёл из комсомола, бросил общественную работу».

«Комсомолец Иванов. Женился. Ушёл в мещанство. Сдал комсомольский билет»…

... Из цикла анекдотов, которыми так богата советская земля:

Провинциал на Красной площади, у Кремля.

– А зачем там такие высокие стены?

– Вот дурак! Это чтобы бандиты не перелезли!

– Ага…Оттуда?

... Тусклой серой лентой тянутся сотни кубометров Беломорско-Балтийского канала. Почти два года строился этот монумент товарищу Сталину. Больше сотни тысяч трупов уложил в трясины Карелии бывшая «краса и гордость революции» – Ягода. А теперь Ягода в преисподней, а канал перевозит в сутки в среднем… 6 пассажиров… Заваливаются шлюзы, заносится песком канал. И ветер воет над пустынными берегами, пролетая над безвестными могилами.

... Московские квартиры. 9 семейств в шести комнатах. Фанерные перегородки, шум примусов, очередь к умывальнику, в уборную, к крану… А рядом строят Дом Советов со стометровой статуей Ленина наверху. Реклама на крови и слезах…

… Красные полководцы – красные не от крови противника, а от крови многих тысяч расстрелянных в тылу. Крысы, пытавшиеся бежать с тонущего корабля и раздавленные фанатичным капитаном. Но никто не скажет теплого слова их памяти. «Туда и дорога!»

… Ласковое южное солнце. Кучка оборванных беспризорников на песке. Взгляды устремлены на почти невидимые огоньки костра, словно эти запавшие, измученные глаза видят там свою грустную судьбу. Нестройный хор хриплых голосков тянет:

«Позабыт, позаброшен
С молодых, юных лет,
Я родился сиротою,
Счастья, доли мне нет»…

И кажется, что мы находимся не в безопасной Европе, сытые, спокойные, среди своих, а чудо воображения и та же тоска по Родине невидимо перенесли нас туда, в кучку этих маленьких человечков. И эти человечки – эти русские дети, по неокрепшим телам и душам которых прокатились колёса революции, протягивают нам, взрослым, свою боль и свой упрёк…

… Крестьянин на своём приусадебном участке, на клочке земли величиной в портянку…Эта «портянка» – то, что должно прокормить его голодную семью… И каждый сантиметр земли культивируется так, как и не снилось агрикультурной истории России. Этот горький опыт, будучи

помножен на десятины и на Великую Россию, даст нам золотистые поля невиданных урожаев...

... Брёвна – «баланы», идущие на экспорт… Под корой этих баланов лагерники пишут кровью «SOS». Но ведь… «торговать можно и с каннибалами». И покупать у СССР скелеты, плотно устилающие земли «королевства ОГПУ». Конечно, можно покупать для подсвечников и русские черепа, продырявленные чекистским наганом. Но этих торговцев мы не забудем… И, Бог даст, предъявим счёт обоим сторонам… Счёт немалый и без уступки…

… Тяжело печатает шаг красноармейская часть. Вспыхивает хор:

«Винтовочка, бей, бей!
Винтовочка, бей!
Красная винтовочка,
Буржуев не жалей!..»

Про каких «буржуев» они поют? Ведь в СССР уже нет «буржуев»?

…Базар. Маленький беспризорник украл кусок хлеба. Его сбили с ног, и он, уткнувшись лицом в грязь, торопливо дожёвывает этот закапанный его кровью и слезами кусок хлеба…

Тысяча людей в зале не слышит, а видит этот рассказ, и горький кусок хлеба становится осязаемым… Это уже не рыночная величина, а разница между «медицинской сытостью» и недоеданием, недоеданием и медленной голодной смертью… Но разве может никогда не голодавший человек понять, **что такое** советский кусок хлеба?

И я чувствую : зрителям **кажется**, что они понимают… Но что значит их понимание перед всей трагичностью куска хлеба, которого нет, чтобы быть сытым?..

… «Лордам – по мордам!»,- кричит лозунг на плакате.

И тост за английского короля поднимает лоснящийся от жира Литвинов. К каким изгибам генеральной линии не прибегнут большевики только для того, чтобы продлить своё владычество?

… Жестокой, непримиримой когортой встают типы непокорной молодёжи. Это те, кто не сдался, кто пошёл в подполье, в террор, в контрреволюцию. Раздавлены и погибли сокола и скауты. Но выросли новые. Сколько их теперь за проволокой концлагерей? И всё это молодёжь, не видевшая «старого». Но разве нынешняя действительность не говорит сама за себя? Разве нужны сравнения, чтобы видеть, что эти методы не годятся, чтобы создать нормальную жизнь?.. И с угрозой поднимаются молодые руки против вождей большевизма. Сотни их падают у стен чекистских подвалов. Но вперёд выходят новые, которые холодно и сурово говорят: «Не мы, так другие!»…

... А вот – новый закон. В борьбе с созданной самой же советской властью преступностью введён новый закон – **расстрел может быть применён к детям... от 12-летнего возраста...**

Маска гуманности упала… «Дети – цветы жизни». «Дети – счастливые вздохи великого Октября». Какая злобная ирония!.. И маленькие фигурки детишек падают под пулями «законных приговоров пролетарского правосудия».

... В иных красках встаёт история Белой Армии... Не знало крестьянство во времена гражданских войн, кому помогать… Колебалось, не поддержало Белых. И вот теперь много лет стонет под гнётом «своей рабоче-крестьянской власти». Миллионами умерших с голода, расстрелянных, раскулаченных заплатил русский мужик за свою ошибку… И сейчас, в нужде и голоде, он вспоминает: **а кто же боролся с оружием в руках** против этой сатанинской власти?..

И ответ всплывает сам собой – **Белая Армия.**

И дрожит Соловецкий лагерь при слухе: идут белые миноносцы освобождать заключённых!.. И дрожит вся Карелия, концлагерная Карелия: **в Мурманске высадился белый десант!**

Нет, не напрасно погибли тысячи и тысячи лучших русских жизней на просторах России: Белая Идея – любовь к России и ненависть к большевикам – побеждает…

«Встают былые великаны
На зареве туманной мглы.
Телами сыты, кровью пьяны,
Венчают древние курганы
Отяжелевшие орлы.
Ни наш, ни ваш,
Ничей Сиваш,
Гнилое море,
Степное горе...
Он только тем принадлежит».

Кровь погибших на Сиваше, под Перекопом, на всех бесчисленных полях гражданской войны – эта кровь побеждает. На этой святой крови растёт новая Россия, которая будет безмерно крепче и прочнее старой, ибо она очищена великими страданиями.

...Смуглое лицо, растрёпанные космы чёрных волос, сквозь которые тихо блестят недоверчивые глаза. Это – «Манька вырви-глаз» – и беспризорница, и воровка, и проститутка, и бандитка. А ей всего 13 – 14 лет. Злобное отношение ко всему в мире. Да и что дал ей этот мир, кроме тюрем, приютов, голода, брани и побоев?

Наш скаутмастер Тамара мягко просит её:

«Пожалуйста, Маня, голубчик, спойте нам»... И пропадает дикий блеск настороженных глаз, и как-то теплеет

злобное выражение лица. И льются её песенки о воровской жизни, в которых наряду с разухабистостью и задором столько сентиментальности и романтичности... Кто даст развиться в душах этих надломленных ребят росткам человечности и любви?..

...Полесский мужиченко Татарук, маленький, уютный, голубоглазый, весь обросший пеньковой бородищей... Современный Каратаев, постоянный источник мягкого, незлобивого участия ко всем людям. Вот ему поручают осторожно везти в лазарет чекиста с проломанной головой, и этот добродушный мужичок яростно нахлёстывает свою лошадёнку, чтобы проломанная голова «гада» билась о дно телеги... **Что** на душе у такого мирного мужичка при виде фуражки сотрудника ОГПУ?..

...Небольшой домик в Тифлисе, окружённый проволокой и стражей.

«Кто здесь так охраняется?» – спрашивает удивлённый иностранец.

«Здесь живёт мать Сталина».

«Так зачем же её, старушку, так охранять?»

«А это чтобы, избави Бог, второго не родила!..»

...Приказ по Наркомату лёгкой промышленности. Требование-минимум, которое предъявляется к обувной промышленности: чтобы ботинки носились **не меньше одного месяца.**

...Художественный театр. Пьеса «Дни Турбиных» из жизни гражданской войны на Украине. Премьера. Переполненный зал. На сцене офицеры перед эвакуацией Киева начинают хором петь гимн:

«Боже, Царя храни!»...

Встают офицеры, артисты, и следом за ними начинает вставать зрительный зал...

... «Нам, братишечка, люди нужны, что гвозди. Ежели для того, чтобы сделать пару таких гвоздей, нужно спрес-

совать сотню нежных душ, будьте покойнички, мы спрессуем. У нас для этого такой аппарат есть – одно слово – советский... А ты, брат, слюнтяй ты – и больше ничего!»… Круглое лицо комсомольца полно самоуверенности и презрения.

... «Мы раздуем пожар мировой», – поют красноармейцы, и рано что-то Европа почувствовала себя в сравнительной безопасности. Рейд конницы Будённого галопом по Европам – не такая уж и фантазия. Для каждой страны и каждой столицы уже есть где-то намеченный список коллегии ЧК ГПУ.

«Да, мы, может быть, погибнем. Но, уходя, мы так хлопнем дверью, что вся Европа задрожит!» – сказал когда-то Троцкий.

...Да, советский груз висит на ниточке. И к этому грузу всё добавляются новые и новые неудачи и трудности. Где-то и когда-то ниточка лопнет. Пока обручи страшного террора как-то поддерживают это неустойчивое равновесие. Даже потоки крови не спасут обречённое дело. Но каждый лишний день, подаренный власти, стоит России тысячи жизней...

Эволюция вывески

Проходят часы и темы докладов, и всё яснее и выпуклее обрисовывается сущность фраз: «социализм в одной стране» или «завоевания октября». И страшное банкротство становится всё очевиднее.

В позорной странице нашей русской истории, которая называется февральской октябрьской революцией, никто не выиграл.

И сущность современной власти становится всё яснее и непривлекательнее. К разукрашенным московским подпольным золотым буквам слова **«эволюция»**, наши докла-

ды добавляют одна за другой твёрдые, резко очерченные буквы – ещё одно слово: «вывески».

Вот каков вывод наших рассказов.

«Фонд»

И шумит зал. Блестят глаза, отовсюду протягиваются руки, и сыплются на блюдо в Фонд «Голоса России» штабс-капитанские франки. И чудится, что всё это не металл, а сгустки пота и капли любви к Родине сотен и сотен русских людей.

Да, конечно, мы обязаны взять этот русский дар на общерусское дело. Но как описать то тяжёлое и вместе с тем радостное чувство при виде этой лепты штабс-капитанов, дающих не от избытков своих?..

Русские миллионеры проходят мимо...

Почему?

Говорят люди и пишут газеты об успехе наших докладов, наших книг, нашей газеты. Да, конечно, мы как-то сумели своими слабыми силами приоткрыть тяжёлую завесу лжи и неизвестности, опущенную перед нашей страной. Мы помогли услышать и звон цепей, и звуки борьбы, и смех, и слёзы, и выстрелы, и песни, и стоны... Мы по мере наших сил, помогли ощутить живую Россию этого смутного времени...

Но как же это нам удалось? Чем объяснить этот успех?

Фактами? Так разве мы сказали много нового, сенсационного?

Сколько таких рассказов можно найти во всей прессе?

Так, может быть, ораторским талантом?

Но разве глухой голос дяди Вани или пулемётная скорострельность моего языка могут рассматриваться как ораторские таланты?

Нет, дело в ином.

Легенда говорит нам о том, что когда-то царя Соломона посетила его первая и единственная любовь – любовь к маленькой девушке-смуглянке из виноградника. И во тьме ласковой ночи Суламифь спросила царя:

«А правда ли, о царь, что, говорят, есть средства, которые помогают приобрести любовь»?

Нежно склонился мудрый царь к своей возлюбленной и тихо ответил:

«Нет, Суламифь. В любви помогает только любовь»...

* * *

И было, значит, что-то в наших рассказах, что отражалось на каких-то струнах русского сердца. И сквозь стены политических перегородок, сквозь стену эмигрантского благополучия какие-то нотки прорывались с трибун, проникали в глубину души и там встречали радостный отзвук.

Мы знали: в те часы, когда мы говорим о России, душой мы лично перенесены туда. И было радостно ощущать, что такое же чувство переживает и зал.

В эти часы тоска по Родине на своих крыльях переносила нас всех в далёкую Россию...

Да будет!

Настанет время (мы думаем, скоро), когда многие, многие из нас, в первую очередь мужчины, бойцы в расцвете своих сил, ступят на землю родной страны. Сколько из этих бойцов – и розоволицых, и седоусых – отложат в сторону свои винтовки, станут на колени и приникнут лицом к родной земле?.. А потом сурово сожмут сталь оружия и решительно шагнут вперёд.

Конечно, может быть, многие умрут в последних боях за Россию. Но ведь:

«Смерть в краю родном
Милей, чем слава на чужбине»…

И мы знаем твёрдо: мы больше никогда не отступим, ибо незримым и непреоборимым барьером сзади всего будет стоять тоска по Родине. Второй раз уйти нам не дано...

Но мы победим, ибо мы теперь знаем с особенной остротой, что такое любовь к России, и знаем, что это рычаг невиданной мощности, который после годин тяжких испытаний не может не вынести нашу Родину на невиданную высоту.

В это мы веруем и это исповедуем.

Борис Солоневич во время ссылки в Орле. Около 1933 г. Фото из книги «Молодёжь и ГПУ».

Поездки «С гробом на пару»

Осенью, несколько лет тому назад, ехал я на место своей новой ссылки, в г.Орёл. В кармане лежало мирное удостоверение Сибирского ОГПУ: «Обязан явиться в распоряжение Орловского ОГПУ не позже...» Срок был уже просрочен (ну как же по дороге не заехать в Москву повидать брата!), но для Орловского ОГПУ у меня было уже проработано соответствующее объяснение причин опоздания – крушение под Свердловском (б. Екатеринбург). Пойди докажи, что его никогда и не было, этого крушения, если по всему лицу советской земли ежедневно происходит больше сотни крушений (62000 «несчастных случаев» в год, по деликатной терминологии Кагановича)…

В вагоне было набито не только до отказа, но и сверх всяких отказов, как говорят в СССР: «народу больше, чем людей». Способность советской публики уплотняться общеизвестна и граничит с чудом.

Благодаря своим гимнастическим талантам, минимальности багажа и некоторому счастью мне удалось раньше других забраться на верхнюю багажную полку (теперь именуемую «первым классом", ибо так ехать спокойнее всего). Внизу шумело и шевелилось серое месиво менее удачливых пассажиров, располагавшихся «впритык» на нижних полках.

Вверху, в вагонном поднебесье я устроился с полным советским комфортом – с курткой под головой и ощущением достаточного простора.

Много ли в самом деле человеку нужно? полцыплёнка, полтелёнка, полчетверти... А советскому – и того меньше...

Не желая вводить ближнего своего в соблазн ликвидации собственности (чужой, конечно), я, перед тем как

заснуть, предусмотрительно привязал свой рюкзак к паровой трубе. Эта предусмотрительность была результатом горького опыта... Несколько лет тому назад на тихом ходу поезда у меня заброшенным в открытое окно крючком вытащили сумку из-под головы, заодно едва не вырвав мне горла. К счастью, я отделался только потерей очков, сорванных крючком, и вытащенной сумкой... Но 11-ую заповедь в Советской России нельзя забывать: «не зевай, не клади плохо и не зевай, когда что плохо лежит»...

Уснул я, помню, быстро и сладко, несмотря на шум. Ощущение того, что Соловки и суровая Сибирь – в прошлом, понятным образом способствовали спокойному настроению и сну. Худшее было – я твердо верил в это – сзади...

Проснулся я от оглушающего удара по лбу и сразу не мог ничего сообразить. Кругом была кромешная тьма, отовсюду доносились грохот, треск, визги, стоны и ругань. Кто-то в панике пробивался к двери, где-то звякнуло выбитое стекло. Но через несколько секунд «неодушевлённые» шумы стихли и только внизу продолжали доноситься говор и стоны.

Стоны были, правда, более истерического, чем страдальческого типа, и в ответ на один из таких стонов из общего шума внезапно вырвался чей-то спокойно вразумляющий бас:

– Это тебя сверху чемоданом шарахнуло. Пустяк!.. Ни хрена, бывает и хуже… – И затем этот же бас добавил несколько нелогично: – А не ходи босым!

Потирая ушибленный лоб, я наклонился над шумящей внизу массой пассажиров, стараясь уловить хоть что-нибудь мало-мальски членораздельное, но разобраться в хаосе звуков было невозможно.

С фатализмом видавшего виды советского человека я опять растянулся на своей полке, ожидая очередных событий.

Они не замедлили произойти.

В дверях вагона чиркнула спичка и осветила знакомое лицо нашего проводника, худое, небритое, с подвязанной щекой. Проводник не спеша и даже, как мне показалось, меланхолически зажёг свечку и, не обращая никакого внимания на сыпавшиеся вопросы, стал вставлять её в вагонный фонарь.

Наконец в общем шуме пробивающихся вопросов истерической ноткой прозвучал чей-то нервный женский вскрик:

– Да что же вы молчите, проводник?

– А что ж говорить-то? – недовольно ответил он, повернув голову. – Вот тоже умники, прости Господи, собрались: что да что? Ясно что – не землетрясение же в самом деле... Так – крушение махонькое...

– А ты, паря, не дражнись, – прогудел тот же сиплый спокойный бас, философски утешавший кого-то, что «быват и хуже». – Скажи толком, что случилось-то? Видишь сам – все на стенку лезут.

– Да пустяки, – неохотно отозвался «паря». – Бегунки* с рельсов слезли. Плёвое дело!

– А никого не задавило?

– Не! – недовольным тоном ответил железнодорожник, вставив наконец свечу и поправляя свою повязку на щеке. – В первых вагонах, правда, несколько граждан малость помялись, но так, не до крови. Баловство одно... Вот намедни под Перервой 12-й скорый на пригородный влез, – более оживлённо продолжал он, – там вот народу

*Передняя пара небольших ведущих колёс у паровоза

нашинковано было подходяще. 9 вагонов – в щепки... А тут што...

В голосе проводника слышалось какое-то разочарование, словно вот другие оказались героями, а его судьба как-то подло обходит.

– Ах ты, Господи! – откликнулся кто-то. – Ну а с нами теперь-то что делать будут?

– Ну, это дело пустое! Сейчас, видать, из Мценска кукушечка притопает и нас взад на станцию поволокёт. Оттеда по нечётному путе до Выползова, а дальше опять как по маслу, покеда опять на что не напоремся...

– Неужто крушения так часто? – испуганно спросил женский голос.

– Часто? Ежели вы насчёт частоты, гражданочка, спрашиваете, то есть такой грех. Только раз на раз тоже не приходится. На энтой неделе на нашей Курочке (Курская дорога) это, кажись, третье. «Ударная пятидневка», видать, началась...

– Ничего, братишечки, – заметил невидимый невозмутимый бас. – Живы остались – и то хлеб. В наше времячко думаешь – домой себе едешь, ан, глядишь, по дороге по нечаянности и на тот свет заехал. Долго ли умеючи, да при наших порядочках!

– Сейчас ездить, так только с гробом на пару, – мрачно произнёс кто-то из мрака. – И надпись на ём чтоб была: «которые мои остатки – так покладайте аккурат один к одному, чтоб на том свете легче былоб разобраться»...

– Да вам-то что! – с досадой прервал проводник. – Вы в кои-то веки на поезд попадёте – небось, все бока себе пообломали, на вокзалах лежучи. А нам вот, железнякам, по такому делу ездить – хуч завещание пиши кажный раз. Только вот беда – завещать-то ни хрена ничего нет...

– Тут вот старушку помяло, – вмешался кто-то.

– Эва! А ктож ей виноват? Лежала бы дома на печи да Богу бы молилась. А то вот тоже – пассажиркой заделалась... Носит её нелёгкая неизвестно зачем... Я вот главному доложу – может, во Мценске в больницу высадют.

– Не надо, родименький, не надо! – испуганно взмолился старушечий голос. – Бога ты не боишься! Што ты, што ты... Я и так...

– А скудова, товарищок, крушениев столько берётся? – спросил положительный бас.

Недовольное лицо проводника, едва освещённое тусклым светом огарка свечи, сердито сморщилось. Он резким движением закрыл дверку фонаря и взялся за ручку двери.

– Скудова? – буркнул он. – Ишь ты!.. Марксистского анализу чтоль захотел? Так тебе кто и скажет, отчего?.. Тут, братишка, до нутра всего этого и сам наркомпуть ни хрена не докопается, а где уж нам... Сыпется всё, вот и...

Дверь с треском захлопнулась.

Кусочек «Советской карьеры»

Попав в тихий, богоспасаемый град Орёл, я надеялся там несколько отдохнуть от избытка административного внимания ОГПУ и пробыть некоторое время в безвестности и покое. Но мне не повезло. Мне удалось скрыть своё медицинское звание и не поехать по развёрстке Райздравотдела в какой-нибудь «учортанакуличинский» колхоз. Но меня подвела известность атлета и, так сказать, «спортивного писателя». Слухи, что я где-то скрываюсь в городе, просочились в

местный совет физической культуры. Получив повестку явиться, я не стал дожидаться, когда ОГПУ «подтвердит» вызов, и «скрипя сердцем» поплёлся в совет.

– Вы же сами должны понять, тов. Солоневич, – стал убедительно разливаться передо мной секретарь совета, вихрастый комсомолец, – мы не можем позволить себе такой роскоши, как не использовать такого спеца, как вы...

– Но ведь я – адмссыльный, – пытался выкручиваться я.

– Ну, это дело уже кругом согласовано... Звонили и в ГПУ – и там всё утрясли. Одним словом – два слова... Кругом шишнадцать. Вот вам путёвка на железку. Мы надеемся, что вы там поставите работу на ять...

Словом, «без меня меня женили, я на мельнице был»... Но спорить, особенно в моём положении, было, мягко выражаясь, неосмотрительно. Я и не спорил...

Впрочем, мои спортивные таланты были в периоде эксплуатации что-то месяца только два.

Как-то утром ко мне впопыхах вбежал сторож клуба:

– Так что, тов. Солоневич, начальник просит срочно прийтить. И с вашим… как его... фатиграфским аппаратом...

Оказалось, что начальство хотело увековечить какой-то очередной пленум, «явившийся переломным моментом в развитии»... чего-то там... ну, и так далее. Но городской фотограф почему-то не прибыл. Тогда вспомнили обо мне. А у меня, действительно, был небольшой «фатиграфский» аппарат, старый Эрнеман с апланатом. Но на безрыбье и рак – рыба. И мой заграничный Эрнеман возбуждал благоговение окружающих. В своей комнате я ухитрился устроить даже что-то вроде лаборатории. Так как ни электричества, ни керосина не было, то я попросту вставил в окно фанерный щит с красным стеклом и с помощью семафорных линз скомбинировал даже увеличитель...

Голь на выдумки хитра. А советская – в особенности: иначе не проживёшь...

Моё появление на пленуме было встречено весьма радостно. Запечатлеть свои физиономии в назидание потомству – что ни говори – заманчиво. Особенно – задарма...

– Ну-ка, Солоневич, – приветствовал меня секретарь парткома, окружённый «энтузиастами советского транспорта», – исковеркай нас, как Бог черепаху...

Мой Эрнеман щёлкнул.

Через час, когда делегаты после обеда вернулись в зал заседания, большая, увеличенная фотогруппа уже висела у входа.

Фурор был полный. Меня прозвали «парнем с ураганными большевицкими темпами», а вечером замороченный и обалдевший завклуб заявил мне на самых лирических тонах своего скромного и охрипшего от говорильни диапазона:

– Брось-ка ты, Солоневич, свою физхалтуру к чёртовой матери... Кому она в самом деле нужна? Большие дураки гоняют маленький мячик... Вот тоже занятие! Переключайся-ка, брат, на фотоработу. Вот это – да!.. Ударники, кампании, премиальничество, интузиасты, подъём масс и всякая такая штукенция... И потом опять же – на виду всегда... Сегодня вот здорово ты сгрохал всё это... Так как – замётано? Пиши смету. На что другое, а на показ наших достижений деньги всегда найдутся... И должность тебе как-нибудь сварганим подходящую, занозистую...

Так стал я фотографом или, официально, «рукрайсветгазом*» нашей железки и поселился на Железно-дорожной улице, № 12, у Ольги Ивановны Чикиной...

---

*Вот мой полный титул: «Руководитель районной световой газеты профессионального союза работников железнодорожного транспорта II района Курской ж. д.»

Осколки старого

В диаметре 1–2 километров от станции этого городка был разбросан железнодорожный посёлок из маленьких домиков, построенных машинистами, кондукторами и рабочими мирного времени. Домики эти были миниатюрными – в 2-3-4 комнатки, но от них веяло каким-то домашним уютом, простотой и великим спокойствием.

Моя хозяйка, Ольга Ивановна, была женой котельщика депо. Тот умер в годы Гражданской войны, оставив своей жене какую-то сумму сбережений, подвергшихся реквизиции, домик и 14 душ детей. Дети, впрочем, скоро рассосались в неясных далях революционной эпохи, и около старушки осталась только одна дочь. Самой старухе было что-то 84 года, что не мешало ей таскать воду за полкилометра, носить дрова со станции и копать свой огородик. Не могу сказать, чтобы она была мрачной старухой. Она бодро, хотя и неодобрительно, смотрела из-под седых бровей на бывший Божий, ныне Советский, мир и была верна всему старому. Я невольно сравнивал весь её домик с усадьбой старосветских помещиков, и этот маленький мирок казался мне каким-то чудом уцелевшим в мире разрушения осколком доброго мирного времени.

В её уютной комнатке, типа весьма обедневших старосветских помещиков, перед образами всегда теплилась лампадка. Откуда она доставала масло для этой лампадки – ума не приложу. Тогда этот вопрос меня не интересовал – хватало и более «актуальных». Но лампадочка горела всё время и как-то символизировала неугасимый покой, царивший и в домике, и в нехитрой душе его хозяйки.

Домик этот, маленький, покосившийся набок, который в задорные минуты подпития можно было бы свер-

нуть напором плеча, оставлен был нашей Ольге Ивановне её покойным мужем, котельщиком Орловского депо.

Много хлопот и неприятностей приносил этот домик старухе. Прежде всего она считалась «домовладелицей» и, следовательно, «лишёнкой», со всеми вытекавшими из сего звания неудобствами. Она задыхалась под бременем налогов, взносов, всяческих «обязательных постановлений», но всё же цепко держалась за свою собственность.

– Дал бы только Бог помереть в своём углу, – вздыхала она. – А уж от Тони, верно, отберут дом... Ну да ей, молодой, всё легче по миру бездомной шататься... А я 40 лет в этом домике живу...

Тоня была самой младшей из детей, имена которых и сама старуха стала забывать. Крепкая, ядрёная, как мать, Тоня была сделана из первосортного дубового материала мирного времени, но, на своё несчастье, как-то не сумела приобрести те качества советской изворотливости, без которых в современной России невозможно хоть сколько-нибудь «по-человечески» устроиться. Этим объяснялось и то обстоятельство, что Тоня хронически была безработной.

Как жили и выкручивались эти две женщины – трудно и объяснить. Получали они по 200 граммов хлеба в день, причём весной 33-го года они совсем были сняты с хлебного довольствия (хотя, по газетам, 1932 год был рекордным по сбору зерна за весь период существования России). На свои 11 рублей пенсии в месяц, плюс плата от квартирантов Ольга Ивановна могла украшать свой обеденный стол только хлебом, картофелем да капустой. Изредка бывала каша да летом – зелень из собственного маленького огородика. Но за все два года моего пребывания в этом милом домике я ни разу не видел у старушки за обедом ни мяса, ни масла...

На кирпзаводе

Как-то, помню, Тоне удалось устроиться рабочей на кирпичном заводе. Дело было, кажется, поздней зимой, в период вьюг и морозов.

Недели три я почти не видел Тоню. Она вставала чуть свет и уходила на свой завод. Возвращалась поздно вечером и сразу ложилась спать. Ольга Ивановна сама суетилась по хозяйству и, видимо, сильно скучала по дочери.

Как-то, придя днём домой, я с удивлением увидал там Тоню. Она похудела, осунулась и, очевидно, много плакала в этот день.

– Что это вы, Тоня, не на работе?

– Да закончила...

– А что такое?..

Девушка махнула рукой и отвернулась.

Позже вечером Ольга Ивановна рассказала мне, что Тоня «повредилась» на тяжёлой работе.

– Я и сама ходила посмотреть, какая там работа,– рассказала она. – Не приведи Господь! Сырые, мороженые кирпичи тачками перетаскивать. Тут все гуртом – и мужчины, и женщины – норма для всех одна. На открытой дороге – «карьер» называется. В ветер да в дождь. Одежды нет, обувь, сами знаете, какая. Прямо беда... Соцсоревнование какое-то выдумали – только и знай, что подгоняют друг друга... А Тоня моя безответная. Её, видно, гоняли все энти бригадиры, ну и загоняли... Совсем из сил выбилась девка. Повредилась...

– А она у врача страхкассы была?

– Ну, куда там! Разве она справедливости добьётся? Скажут – так и было, и всё тут... Да и срамно девке к мужчине ходить на осмотр... Бог уж с ним, как-нибудь проживём и без кирпичей... За сорок рублей в месяц на такой работе... Может, что легче подвернётся...

Мне так и не удалось узнать, как «повредилась» Тоня, но, очевидно, работа была действительно сверх сил, если квадратно сколоченная девка надорвалась.

Мать и дочь опять очутились без хлеба, и только родимая российская картошка с капустой безотказно выручали обеих пролетарок страны победоносного социализма. Чёрный хлеб стал лакомством и редкостью.

Блат за блат

Однажды, когда я стоял в очереди в кассу рабочей столовки депо, меня поманили к себе двое старых рабочих.

– Пойди-ка ты, Солоневич, туда, сзаду столовой. Помойная там стоит. Принюхайся, а ежели не понравится – засними насчёт гигиены... Пусть попляшут...

За недавно построенным зданием столовой стояла так называемая помойная. Теоретически надо было бы добавить «яма". Но таковой не было. Просто на земле был поставлен сколоченный из досок ящик, куда сваливали все отбросы. Пока на дворе стояли морозы, – всё замерзало. Когда же пригрело весеннее солнышко, содержимое ящика «заблагоухало» и стало растекаться к порогу кухни.

Я был опытным фотострелком. штатив мигом слетел с плеч, и через минуту одна двадцать пятая секунды запечатлела «пролетарскую гигиенту». Когда я уже складывал аппарат, на пороге кухни показалась фигура нового заведующего столовой, Игнашкина, недавно присланного сюда из какого-то московского кооператива.

– Что это вы – снимали, товарищ?

– Да.

– Ну зачем же вы?.. – укоризненно протянул Игнашкин...– Напрасно это. Пройдите, товарищ, сюда, ко мне в кабинет, я вам расскажу, в чём тут дело...

В маленькой комнатушке Игнашкин стал объяснять, почему всё так вышло с помойной ямой.

– Да это вы не мне, т. заведующий, рассказывайте, а напишите в газету.

– А вы куда пошлёте снимок?

– Да, вероятно, в «Гудок»...

– Да что вы, товарищ!.. Разве можно о таких пустяках?.. Может быть, мы как-нибудь миром уладим всё...

У меня мелькнула мысль о небольшом шантаже.

– Ну, хорошо, т. Игнашкин... Я знаю, тут, конечно, за всем не уследишь... Я, пожалуй, попридержу снимок, но завтра вы дадите распоряжение привести всё в порядок...

– Ну как же, как же!.. – обрадовался заведующий.

– Ну, значит, так и порешим. А насчёт других неполадок я сперва вам буду говорить, не подводя вас...

Игнашкин долго тряс мою руку...

– Кстати, т. заведующий... Нет ли у вас свободного местечка дочке моей хозяйки?.. Посуду мыть или на кухне что-нибудь делать. Хорошая, работящая девка. Ручаюсь за нее.

Игнашкин пристально посмотрел на меня.

– Место?.. Ну что ж, пожалуй... Только для вас, т. Солоневич. Пришлите её сюда ко мне завтра...

Честный пень

Дня через два Тоня была устроена на работу – сперва судомойкой, а потом подавальщицей. Ольга Ивановна была очень тронута, и я заметил, что в те вечера, когда я поздно приходил домой, на моей кровати, тщательно завёрнутая в одеяло, как в «термос», стояла миска с картошкой, жаренной на рыбьем жире.

Но недели через две старушка, опять сокрушённо покачивая головой, сообщила мне, что Тоня уволена из столовой, как дочь домовладелицы.

– А кто её уволил? Заведующий?

– Нет, на общем собрании обсуждали...

Я понял, что в дело пущена какая-то советская дипломатия. По совести говоря, я был сильно рассержен на Игнашкина и лелеял в душе всякие «кровавые картины фотографической мести». Всяких безобразий в любой советской столовке можно всегда найти несметное количество, а будучи хорошо снятыми и хорошо поданными, с гарниром из неприятных слов, эти снимки могут испортить карьеру и не такому мелкому человечку, как Игнашкин. Словом, я начинал думать, что карьера Игнашкина на Тоне сорвётся.

Но прежде чем говорить с заведующим, мне удалось потолковать с одним из поваров столовки.

– Тоня Чикина? – переспросил повар... – Да против её ничего, собственно, не было... Хорошая она баба, что и говорить. Безответная и работящая. А только, как бельмо на глазу, она у нас была. Ты ж понимаешь сам, Солоневич, что уж в столовке мы, сотрудники, не будем же в самом деле голодными. Ну и семьи наши, ясно, тоже. А она честная... ну как пень. Оно, конечно, ясно, что не стукнет*, но мешает она всем. Святая среди чертей никогда не уживётся. А мы все люди, все человеки. Кажная птичка есть-пить хотит. И святые нам нонеча при такой жизни совсем ни к чему. Игнашкин?.. Нет, вот те крест, нет. Он ни причем. Просто коллективом попёрли – не нашего помету…

Игнашкин был спасён. Против доводов повара нечего было возразить. Действительно, Ольга Ивановна воспитывала Тоню в таком страхе Божьем, что изворачиваться в советской жизни она совсем не умела.

---

*Донесёт

Люди другого мира

Когда я об этом рассказал старушке, она покачала головой.

– Ну что ж. На всё воля Божья... У нас в роду никто вором не был и, Бог даст, не будет. Против совести Тоня никогда не пойдёт.

– И она вам ни разу с кухни картошки не приносила или чего-либо ещё?

– Ну вот, что это вы, Борис Лукьянович, такое скажете! – возмутилась старуха. – Как бы мы после этого вечером могли молиться перед святой иконой? Разве ж мы бусурмане какие – красть?

– Но этак вы обе с голоду погибнете...

Старуха выпрямилась.

– Восемьдесят четыре годочка прожила, сынок, и сроду не воровала. И дети мои не воровали. Если уж жизнь такая теперь сатанинская пошла – ну и пусть. Может, и помрём, но чтобы душу марать об ихнюю картошку – это никогда не будет...

Я промолчал. Терпеливо голодать и умирать было не в моём характере, но невольно тёплое чувство восхищения перед моральной крепостью этой простой старухи согрело мое сердце.

Есть явления в мире, перед которыми недоуменно пожимает плечами ум, но которыми восхищается сердце.

Такой была и, надеюсь, осталась моя старуха, Ольга Ивановна Чикина.

Пролетарская жизнь

В другой половине нашего крохотного домика жила семья железнодорожного слесаря – типичная семья провинциального рабочего, всегда полуголодная, оборванная

и придавленная нуждой. Глава семьи, Григорий Иванович, работал в депо в бригаде автоматических тормозов Кнорра и зарабатывал (1933 г.) в среднем 75 – 90 рублей в месяц. «Отхожие промыслы» – починка примусов, замков, кроватей и пр. – и некоторые другие не вполне совпадающие с принципами евангельской морали доходы доводили сумму его заработка рублей до 120 в месяц. На этот заработок жили: он сам, старуха-мать, болезненная жена и 5 – 6 летняя дочь.

В дни существования карточной системы и твёрдых цен семья слесаря получала в месяц на всех четырёх едоков: хлеба – 48 кило (1600 граммов в день: 600 – слесарю, по 400 – жене и матери и 200 – девочке), сахара-2 кило, крупы – 5 кило, картофеля – 20 и сельдей – 2,5. Изредка выдавали – неровно и неопределёнными количествами – постное масло. Мясом и коровьим маслом ТПО (транспортное потребительное общество) никого не баловало.

На эту часть твёрдого карточного бюджета у Григория Ивановича уходило около 40 проц. заработка. За вычетом небольшой квартирной платы – 10 рублей – остальное почти целиком уходило на дополнительную закупку продовольствия, главным образом картофеля, по базарным ценам.

Если читатель возьмёт на себя небольшой арифметический труд – сравнить и скалькулировать бюджет Котова после отмены карточек, то эта «прогрессивная мера, свидетельствующая о гигантском росте благосостояния трудящихся», предстанет в некотором минорном освещении. Так, например, разница в цене продуктов между карточной системой и нынешними «государственными ценами» такова: хлеб чёрный – твердая цена 38 коп. кило, нынешняя – 80 – 90 к. Сахар: 100 – 490. Крупа: 80 – 430 и т. д. Стоимость одного только хлеба, предполагая, что аппетит рабочего класса не вырастет пропорционально «гигантскому

росту социализма», в бюджете Григория Ивановича составляет теперь около 40 проц. И при таких ценах и при такой заработной плате даже увеличение последней на 15 – 20 проц. не меняет, по существу, уровня полуголодной жизни такого вот среднего провинциального рабочего, типичного для СССР.

Печатаемые здесь фотографии Григория Ивановича и его жены до некоторой степени дадут читателю представление о внешнем облике людей, с которыми я прожил под одной крышей больше двух лет.

Несмотря на нищенскую жизнь, Григорий Иванович «внеплановые доходы» частенько употреблял на приобретение «родной поллитровочки», как он выражался. В современной России наряду с другими формами внутренней эмиграции – уходом в научную, исследовательскую, экспедиционную работу (подальше от «любой власти») – есть и такая – «госспиртовская».

Среди антисоветских песенок, повсюду звучавших в СССР, есть и такая, например, пародия на знаменитый марш Будённого. Вместо

«Высоко в небе ясном вьётся красный флаг,
Мы мчимся на конях туда, где виден враг»…

поется:

«Высоко над Госспиртом вьётся красный флаг
Кто водочки не пьёт – советской власти враг».

Но таких «госспиртовых врагов» в СССР очень мало. Пьют почти все, кто понемногу, а кто и помногу. Психологические причины такого ухода от «счастливой советской жизни» достаточно понятны.

Надо сказать, что «советская казённая монополия» поставила распространение своей продукции много лучше, чем какая-либо иная отрасль «социалистического хозяйства». И по цене (11 р. 80 коп. литр), и по широкому распространению этого «предмета первой необходимости» советская водка играет не последнюю роль в понижении биологических сил страны. И в анализе причин «советской изношенности» (официальный термин) наряду с недостаточным питанием, колоссальной перегрузкой, плохими бытовыми условиями водке должно быть отведено почётное место именно благодаря тому, что все перечисленные

выше условия увеличивают разрушающее действие пьянства на народный организм.

Редко бывали случаи, чтобы хоть раз в неделю Григорий Иванович не пришёл домой на крепком взводе. Он никогда не скандалил: вообще слесарь был тихим, безответным человеком, честно тянувшим свою лямку. Придя домой, он мирно укладывался на свою койку отсыпаться.

Со стороны его жены я ни разу не слышал упрёков в трате денег и недостатке забот о семье. Как-то раз, когда Григорий Иванович пришёл домой с особенно заплетающимися ногами, мне пришлось помочь взгромоздить его на койку. Когда эта операция была благополучно проведена и сле-

сарь заснул с блаженно улыбавшимся лицом, жена его сказала мне тихо, с грустным сочувствием глядя на мужа:

– Да и что ж, товарищ Солоневич… Язык у меня не повернётся попрекать его... Жизнь-то какая! Не выпьет он водки – так, пожалуй, и серной кислоты хлебнёт... Откуда радости-то ему взять? Как лошадь ломовая, без передышки работает... Надо же хоть как отдохнуть, забыть про всё это...

Одевались мои соседи в старое платье, чиненное и перечиненное, бывшее одновременно и рабочим, и «праздничным». Фотографии дадут вам отчасти представление о том, как выглядит эта одежда.

Однажды, направляясь в депо, я встретил Григория Ивановича, возвращавшегося с работы домой. Уставший, согнувшийся, он медленно шёл у стены депо, вытирая паклей замазанное сажей лицо.

– Домой, Григорий Иванович?

– Да... Пошабашил…

– А что ж вы под душ не забрались?.. Копоти-то на вас сколько...

Слесарь как-то криво усмехнулся.

– Под душ?.. А вы, товарищ Солоневич, в мой гардероб заглядывали когда? А что ж я после душа-то на смену надену? Размазать грязь по телу, а потом опять эту робу грязную надеть? Так, что ли?..

– Ну, всё-таки другую рубашку...

– Эх, т. Солоневич, – махнул рукой Григорий Иванович. – У меня то всего две смены… Одна на мне, другая в стирке... Дожили до точки... Да опять же насчёт мыла – где ж его достать?

Насчёт мыла, действительно, положение было трагическое. Для мытья рук обычно употребляли тёплую воду с песком. А для душа, бани, стирки мыла не хватало. Мне самому часто приходилось сидеть месяцами без мыла про-

сто потому, что его нигде нельзя было купить. По плану 1934 г. мыльное производство ТЭЖЭ – лирическое сокращение «треста жиркость» – должен был дать стране 75 миллионов кусков мыла. Цифра солидная, пока её не проверить арифметикой. Но если отбросить «солидность» – миллионов, то выйдет, что на каждого жителя счастливой страны в год придётся полкуска мыла. Если уровень культурной жизни страны, как утверждают англичане, определяется количеством потребляемого мыла, то приведённая цифра невысоко рекомендует советскую жизнь...

Маленькая дочурка слесаря, Аня, только летом могла всласть бегать по садику и двору. В остальное время, особенно в плохую погоду и зимой, она отсиживалась дома по той простой причине, что её обувь не была предназначена ни для грязи, ни для снега... Когда бывали морозы и грязь, Аня не могла даже в школу ходить.

За два года, которые я провёл в соседстве с семьёй слесаря, Аня только раз получила молоко. Да и то это было, когда девочка заболела и ей нужно было «усиленное питание» (кошмарная фраза для каждого русского врача).

И купленный Ане литр молока за 2 рубля, помню, пробил сильную брешь в бюджете слесаря. В этот день взрослые голодали.

Человеческие нули

Просьба

– Солоневич, голуба моя очкастая, выручай, дорогой!

– А что такое?

Секретарь нашей местной железнодорожной газеты «Рельсы Гудят», комсомолец-выдвиженец Селивёрстов, был весьма озабочен. Его белокурые вихры, которые он постоянно

и тщетно пытался уложить в модную прическу «а ля Карла Марла», были взъерошены до степени протуберанцев.

– Да вот, завтра нужно фоты в Москву слать, чтобы ко «Дню Ударника» клише оттуда прислали, а тут – хвать! – а Пивчука-то нашего отсутствие всякого присутствия...

– Того, что крушение на днях предотвратил?

– Во-во... Его, сукина сына! Мне же партком голову сгрызёт, ежели его морды в ударном номере не будет... Ну, не будь сволочью, Солоневич, съезди, браток, на Алёшино и засними его там, едри его капусту, на самом на корню...

– А поезда есть?

– А это в момент узнаем. – Комсомолец схватился за телефон.– Алле, алле! Контору С*. Зайцев? Секретарь «Рельсов» говорит. Слушай. Когда что-нибудь на север топать будет?.. Скорые?.. Нет, нам на полустанке Алёшино, за Мценском, парня ссадить нужно... Нету? Вот так фунт!.. А? До зарезу... Ей-Богу!..Товарный?.. На подъёме, говоришь?.. Идёт... Кого? Да, Солоневича... Ну ещё бы! Он и с луны, ежели что, спрыгнет... Ну, спасибо... Пока!..

Селивёрстов с довольным видом повесил трубку и обернулся.

– Ну, вот и утрясли... Езжай, браток, на товарном № 847 – через час отправляется. Он там, за Алёшиным, на подъём тихо ползёт. Ты и сиганёшь оттеда под откос... Только слышь, Солоневич, – не подведи... На тебя, браток, вся Америка и пол Европы смотреть будут, не только что я. Катись катышком... Замётано?

– Замётано...

Когда я был уже в дверях, до меня донеслось последнее напутствие секретаря:

– Только, слышь, Солоневич, ты всё-таки сигай– то полегче! А то тебя хоронить – лишние расходы по редакции. А

---

*Железнодорожные сокращения: С – начальник станции; Н2 – начальник 2-го района; ВЧ – врачебная часть

потом опять же тебе некрологу писать – ещё в какой уклон влезешь.

В глуши

Часов около 4 дня я благополучно спрыгнул с медленно тащившегося на подъём поезда и зашагал к Алёшину. Оказалось, что эта маленькая и невзрачная станция теперь переименована в «Стальной Конь», что, разумеется, не придало ей добавочного великолепия.

Начальник станции, усталый пожилой человек, встретил меня приветливо:

– Ага, Солоневич!.. Опять людей коверкать приехал?

– Да вот Пивчука заснять нужно...

– Героя-то нашего?.. Так, так...

– А как он в герои то выскочил? Расскажите – не для газеты, а так, по душам...

– По душам?.. Да он и впрямь молодцом оказался. По правде сказать, ничего особенного, однако не растерялся парень. Позавчера, вишь, товарный на подъеме разорвался. Стяжка лопнула. Она, конечно, 30 лет возила – пора и ослабеть. Ну, вагона четыре и покатились обратно на станцию. А мы тут номера 41 – пассажирского – ждали в то время. Пивчук что-то задержался около стрелочной будки. Выходит, глядь – с севера что-то прётся, тёмное, а уже сумерки начинались. По расписанию оттуда ничего не должно быть, да и путь-то нечётный... Ну, он мигом и сообразил, что дело пахнет жареным, – пулей к стрелке и, значит, раз – и на запасный путь. Вагоны с полного хода в тупик-то и влетели. Кондуктор там один был – видно, не успел соскочить – ну, ясно, в кашу...!

– А пассажирский уже был на станции?

– Подходил как раз... Так сказать, «встреча старых друзей» была бы... Но Пивчук всё-таки молодец – и в самом деле герой...

Засняв «героя», я воспользовался случаем и направился в близлежащие деревни – маленькие, бедные, каких сотни тысяч разбросано по лицу Земли Русской.

* * *

Чем дальше от столиц и крупных центров, тем ясней и показательней сущность советской власти и тем откровеннее выступают на свет Божий пружины се политики и результаты её социалистических опытов.

Когда-то брат писал в «России в концлагерей»: «Всё то, что происходит в лагере, происходит и на воле, и наоборот. Только в лагере все это нагляднее, проще, четче...» В лагере основы советской власти представлены с чёткостью алгебраической формулы...

А вне лагеря предельная чёткость советских формул ясна более всего в глухой городской и деревенской провинции. Именно там неискажённой можно наблюдать реальность советской жизни, и именно на этих наблюдениях над провинциальной жизнью можно проверять громкие слова советских лозунгов...

* * *

Было уже совсем темно, когда я усталым возвратился на Алёшино.

– Товарищ, скоро ли будет поезд на Орёл?

Дежурный по станции посмотрел на меня совсем очумелым взором, но потом, узнав, осклабился.

– Ах, Солоневич...

– Он самый... Так когда на Орёл?

– Да, пожалуй, завтра к вечеру...

– Да бросьте, дядя, дурака валять! Я устал к чёртовой матери, а вы тут шутите...

Железняк покрутил головой.

– Хорошо, ежели б шуточки... Вы, верно, ещё не знаете – под Скуратово только что крушение...

– Ну? Большое?

– Да подробностей ещё нет. Но, видать, большое, Н-2 уже там...

Загудел телефон, железнодорожник оторвался от окна и исчез в глубине комнаты.

Минут через пятнадцать зашумела большая моторная дрезина. Медленно пройдя станцию, она вдруг резко остановилась. Из окна высунулась чья-то голова.

– Эй, Солоневич! Кати сюда!

Через минуту я ехал с оперативной группой ОДТГПУ на место крушения.

Секретарь отдела, высокий, красивый парень Егоров, с которым мы не раз в клубе углублялись в прихотливые извороты шахматного Алёхинского коня или в фокусы фианкетто Рети, встретил меня официальным тоном:

– Вот какое дело, т. Солоневич. Нам на месте крушения, может быть, понадобятся кое-какие фотосъемки. Пластинок у вас много?

– Да с дюжину.

– Это дело. Магний есть?

– Ну, вот ещё чего!.. Магния и в Москве не найти! Да и кто же знал, что предстоят ночные съёмки?..

Егоров недовольно крякнул.

– Ну а если вам что хорошенько осветят автомобильными фарами – можете снять?

– А мёртвое или живое?

– Да, видно, скорей мёртвое...

– Тогда, пожалуй, можно...

– Ну, вот и ладно... Только имейте в виду, тов. Солоневич, что дело секретно-оперативное. Чтобы все ваши

снимки немедленно были сданы в отдел и чтобы никто ни одного снимка не видел...

Я кивнул головой.

(Готовясь ко второму побегу, я взял с собой все эти снимки, но они погибли в трагической обстановке нашего ареста).

После этого официального разговора мне рассказали о крушении. По сведениям, поступившим в Орёл, скорый поезд, шедший из Сочи в Москву, проходил со скоростью около 60 километров в час через маленькую станцию Возы, где стоял пассажирский поезд из Москвы. По неизвестным причинам часть скорого поезда пошла по нормальному пути, а часть – шесть вагонов – перешла на занятый пассажирским поездом путь и врезалась в него.

– Много вагонов разбито?

Егоров недоумённо пожал плечами.

– Чёрт его знает, кажись, всё, что оторвалось. Да и в пассажирском тоже не обошлось без давки... Вспомогательные уже пущены, да и крови, видать, много.

В ночной тьме

Было уже совсем темно, когда наша дрезина медленно подъехала к хвосту какого-то поезда. Мы вышли и направились вперёд мимо нескольких стоящих один за другим составов. Наконец, миновав последний паровоз, мы впереди увидели неясную груду, возвышавшуюся метров на 8 – 10 над землёй. Тусклые фонари паровоза неясно освещали хаос каких-то обломков. Несмотря на то, что крушение произошло три часа тому назад, везде двигались люди, блестели огни фонарей, и слышны были крики и распоряжения. В полутьме вечера всё это казалось чем-то нереальным, какой-то странной декорацией.

Я хотел идти дальше, но Егоров остановил меня:

– Погодь, Солоневич, ноги сломаешь – сейчас фары притащат.

Действительно, сзади раздались шаги запыхавшихся людей с ношей.

– Всё в порядке, ребята? Ну, пускай!

Через несколько минут два снопа прорезали темноту. В передвигавшихся по хаосу кругах света вырисовывались то буфера перевёрнутого вагона, то судорожно сведённые железные тяги сцеплений, то продавленные стенки с зияющими окнами, то просто бесформенные груды всяких обломков, возвышавшихся до высоты третьего этажа.

Выпуск паровоза из ремонта, Орёл, 1930 г.

В одном из лучей света показалась фигура часового. Егоров направился туда.

– Эй, не подходи!

– Не бузи, не бузи, Третьяков,– ответил Егоров. – Это ты?

– Я, товарищ секретарь,– успокоенно ответил часовой.

– Чего тут сторожишь?

– Да вот, почтовые мешки.

– А где начальник?

– Там вот, около паровоза.

– Вспомогательные прибыли?

– Есть два: один из Скуратова давно, с час, как уже здесь, а с Орла только что прибыл.

– Вот сукины дети! Этак они здесь сутки проканителятся. А давленые где?

– Вон тама, товарищ секретарь, за стрелочниковой будкой.

– А много?

Часовой как-то передёрнулся.

– Хватает... – неохотно ответил он.– Кажись, ведь вроде как пять вагонов – в щепы. Да и в другом поезде тоже хватает пострадавших... Да большей частью ещё и не вынуты... Да вы вот послушайте, товарищ секретарь!

Мы замолкли, и через несколько секунд сквозь общий шум разноязычных вскриков и слов явственно стали слышаться раздающиеся из кучи обломков тихие, протяжные стоны. Иногда они прерывались болезненным вскриком, иногда замирали на какой-то высокой, истерической ноте, но звуки шли, казалось, из всех концов этой страшной кучи, вырываясь словно из-под слоя придавившей их земли.

– Тов. Егоров – сказал я,– пока что тут, вероятно, снимать-то нечего. Я пойду к раненым – помочь нужно.

– Ладно, ладно, катись. Ежели что – из-под земли тебя выкопаем.

Недалеко от будки стрелочника, на небольшой полянке, суетились люди. На траве лежал длинный ряд фи-

гур, прихотливо освещаемый фонарями. Из темноты то и дело появлялись носилки с новыми телами.

Около раненых хлопотал какой-то человек в санитарном халате. Я подошёл к нему.

– Вы врач, товарищ?

Человек, в это время перевязывавший чью-то ногу, даже не обернулся.

– Лекпом с вспомогательного. А вам что?

– Да я вам помочь могу!

– А разбираетесь в этом деле?

Всю ночь проработал я с засученными рукавами около раненых. Мы рвали бельё с мёртвых, чтобы сделать перевязки живым, доставали верёвки, пояса и шпагат, чтобы устроить турникеты, ломали щиты от снежных заносов, чтобы сымпровизировать лубки... А из темноты всё несли и несли новых раненых. Официальная цифра потом показала 407 пострадавших.

Советская целесообразность

Когда уже совсем рассвело, меня оторвал от перевязок Егоров.

– Ну, довольно покеда, Солоневич... Пойдём – снимать будешь.

– Да тут раненых нужно...

– Да брось. Тьфу, как ты в кровище умазался! Это не твоё дело! Ещё вспомогательные топают. А фотограф ты один... Пойдём! Там как раз скат* лопнувший лежит – нужно снять как вещественное доказательство качества продукции...

Утренние лучи солнца уже ясно освещали всю картину крушения. Первый вагон, врезавшийся в паровоз, был

*Ось с неподвижно насаженными колёсами

вздыблен, и то, что от него осталось, стояло вертикально. Остальные вагоны представляли собой бесформенную кучу с острыми углами, вздымавшимися в ясное голубое небо. Откуда-то изнутри паровоза ещё доносилось какое-то шипенье, и глухие стоны нет-нет да и раздавались откуда-то из глубины кучи. По какому-то оборванному железному пруту, высунувшемуся из-под обломков, медленно стекали густые тёмно-красные капли.

Мы медленно шли, перебираясь через отдельные обломки, когда неожиданно наткнулись на лежащее, вдавленное в землю тело человека. Лицо его было искажено, и широко раскрытые глаза смотрели на нас с непередаваемым выражением мольбы и злобы. Оба бедра лежавшего человека были раздавлены упавшим скатом, и только скорченные пальцы раненого говорили о его мучениях.

Я нагнулся к лицу человека. Он медленно перевёл на меня свои глаза и глухо простонал:

– Спасите!

Я не знал, что ответить, и растерянно молчал.

– Что, Солоневич, – негромко спросил Егоров, – кажись, тут дело совсем табак? Безнадёжно? А?

– Конечно, – тихо ответил я.

– Ну, ну... Отойди-ка малость.

Егоров шагнул в сторону и, вынув наган из кобуры, выстрелил лежащему человеку в голову. Тот дёрнулся и затих...

Логика машины

Через пять минут, когда я устанавливал фотоаппарат, чтобы снять переломанную ось, Егоров внезапно спросил меня:

– А что это у тебя, Солоневич, руки-то дрожат?

Я опять не нашёлся, что ответить.

– Да устал, видно...

– Ага.. А то я думал – у тебя слабонервный дрожемент насчёт того парня...

– Да... не ждал я...

– Вот ещё, чудак человек! Что ж ему мучиться-то? Всё равно – каюк. Лучше уж сразу...

Советская сталь

Через час к горе обломков с двух сторон подошли два паровоза. К буферам каждого была привязана крепкая толстая цепь с громадным крюком. Этот крюк цеплялся за какой-нибудь обломок, и паровоз, пятясь назад, с треском и грохотом растаскивал кучку. Прибывшие красноармейцы отталкивали отдельные обломки в сторону.

В одном из машинистов я узнал Стаканыча. Он хмуро поздоровался со мной.

– Скажите, пожалуйста, Стаканыч, не знаете ли, из-за чего это крушение произошло?

Старик сердито сплюнул.

– Да говорят, из-за пера стрелки.

– Как это?

– Да вот очень даже просто: перо-то из новой советской стали, закалено, конечно, хреново, ну, видно, ступилось, что ли. Часть вагонов по нормальной путе пошла, а потом какой-то стертый бандаж* это сработанное перо и отодвинул в сторону. Другие вагоны и пошли в левую сторону колесить. Стяжка мигом лопнула, вот они и влетели в пассажирский. Шутка сказать – 60 километров.

В эту минуту к паровозу подошёл Егоров.

– Ну-ка, Стаканыч, готовьсь! Эй, как там?

– Готово! – донеслось от кучи.

– Тяни, Стаканыч...

---

*Закраина на ободе колеса

По живому телу

Медленно шевельнулись колёса паровоза. В куче раздался треск и скрип металла, и внезапно этот скрип был покрыт резким, отчаянным воплем человека. Стаканыч мгновенно остановил машину и высунулся в окно.

– Что это там?

С встревоженным лицом к нам подбежал какой-то человек.

– Егоров!.. Там, видно, раненый где-то в куче.

На лбу секретаря отдела прорезались морщины, и у сжавшихся челюстей заиграли желваки. Он резко повернулся к паровозу и коротко сказал:

– Тяни, Стаканыч, дальше!

– Так там же, товарищ начальник, живой человек.

– Все мы живые, – угрюмо ответил Егоров. – Там двадцать составов с живыми людьми стоят, ждут пропуска. А мы тут из-за чьей-то ноги эту кучу по волоску растаскивать будем?.. Тащи к чёртовой матери!.. Я приказываю!

Лицо Стаканыча как-то закаменело. Он нерешительно взялся за рычаг, но рука его дрогнула.

– Вали, вали, Стаканыч, – хмуро крикнул Егоров. – Всё равно!..

И опять вместе со скрипом тянущегося железа пронёсся отчаянный вопль страдающего человека. Пронесся и оборвался...

Куча обломков таяла...

Товарищи лейтенанты

– Слышь-ка, Солоневич... Я вот хотел с тобой потолковать кое о чем... Этак, по-хорошему...

Круглое веснушчатое лицо моего «врага» на футбольном поле, командира взвода артполка, было смущено и нерешительно. Он помялся ещё несколько секунд и, отведя меня в сторону, подальше от палаток лагерей, тихо объяснил:

– Видишь, браток, какое дело... Я уж тебе прямо выложу. Ты, как это говорят, парень свой в доску, брюки в полоску... Верю я тебе, хоть и знаю, что у тебя там с ГПУ контры были...

– А это ты откуда знаешь?

– Ну, вот ещё... Разве ж не видать? Такой парень, как ты, своей волей фотографом на железке разве будет? Твое это дело, что ль? Ну да ладно... Я тебя вот о чём хотел попросить. Только, слышь, Солоневич, в секрете, а то иначе мне труба. Хочу я вот что – чтоб ты получал для меня письма... Этак: на конверте – твой адрес, а внутри две мои буквы Н. И. – Николаю Иванычу, значит. Ну как? Можно так устроить? А?

В голосе моего приятеля прозвучали просительные нотки.

– А на кой это тебе хрен?

– Да видишь ли, Солоневич... Прямо уж скажу – комиссарьё заело... Ни одно письмо не пройдёт без их рук... А кои и совсем не дойдут... А на кой мне чёрт сдалось это? Мне вот из дома с деревни пишут – многое пишут. А часто и не так чтоб очень ласковое для комиссара – сам, небось,

знаешь, как в деревне живут... А то вот ещё нет-нет – и моя милка что черкнет. А мне тоже вот радость – знать, что всякая строчка через комиссара да его помощников пройдёт... Ну их к чёрту...

А ты вот получишь письмо, а потом мне по секрету сунешь... Ну как, Солоневич? Будь товарищем – выручи. Ежели что придётся – может, и я чем помогу. Тоже ведь не пальцем деланный, тоже ведь член партии – не хрен собачий... Выручай, братишечка... А, ну как, идёт?.. Замётано?.. Ну, спасибо, брат! Ей-Богу, не поверишь – жмут-то нас как – дыхнуть нельзя... До кажного кусочка души норовят добраться...

Ну вот и ладно... Пойдём на поле, а то заметят, сволочи, а потом откручивайся, о чём разговор был... Давай мы так и договоримся: толковали, мол, о следующем матче и о стрелковом состязании. Не век же вам, сукиным детям, в самом деле нас бить. Ну, айда...

62000

(«Опыт марксистского исследования причин 62000 крушений в год на советских железн. дорогах»)

– Скажите-ка, пожалуйста, Стаканыч, что это с нашей железкой никак не вытанцовывается?.. Всё ладят, ладят, а наладить никак не могут…

Стаканыч, сухой, кряжистый старик, с морщинистым добродушным лицом и густой щетиной давно не бритой

бороды, потомственный паровозный машинист депо Орёл, не спеша вынул изо рта носогрейку и усмехнулся... Наш охотничий день давно был уже закончен, у ног весело потрескивал небольшой костёр, а в желудке было чудесное ощущение полноты – только что мы вдвоём съели целую утку – и тепла – от пары пропущенных стаканчиков.

Довольный вид моего приятеля Стаканыча ясно показывал, что в этом настроении даже на такой больной вопрос, как о железке, он не ответил одним из своих ворчливо-благодушных ругательств. А что лучше может развязать язык старому угрюмому машинисту, как не удачная охота, сытый и проспиртованный желудок, перспектива ночи у костра и ещё одного дня охоты?..

Группа паровозных бригад, Орёл, 1930 г.

– Почему не ладится, спрашиваешь?– мягко прогудел хрипловатый бас Стаканыча. – Экой ты, браток, любопытный! Всё бы тебе – почему да почему... А ты сам вот приглядывайся. Очки ведь не задаром на носу носишь...

– Очки очками... Чем больше глаз, Стаканыч, тем хуже видно... Да на транспорте я всего года два. А вы ведь на своём веку наездили немало!

– Да... Подходяще наездил. Скоро вот сорок годков стукнет, как я за паровозные рычаги взялся. У меня и отец, и дед – железняки...

– Ну, вот вам, конечно, и яснее, почему это раньше порядок был!

– Раньше.. – В голосе Стаканыча что-то дрогнуло. Он мечтательно поднял голову к осыпанному звёздами небу и вздохнул.

– Раньше, браток, порядок был. Вот потому раньше и можно было сказать, отчего да почему. Порядок – это, брат, правило было. Так на правиле-то всякий беспорядок, как на стёклышке, видать... А теперь всё наоборот – везде беспорядок. Вот и сравнить не с чем, и причин никаких не найдёшь. Словно бы никто не виноват, или иначе – все виноваты. Куда ни ткнёшь пальцем – везде бестолочь. Куда ни взгляни – кругом шашнадцать...

– Порядок, – фыркнул он, секунду помолчав... – Почему порядка нет, спрашиваешь? Да, нет хозяина – нет и порядка. И очень, браток, это просто... Сам, верно, замечал: начальство, оно, как птицы перелётные, – только катаются с места на место... Вот возьми за этот год – сколько у нас начальников депо сменилось?.. Постой. Зимой Невеличко был. Потом... потом, дай Бог памяти, – Павлов, а теперь, гляди, – наш машинист Маковский. А всего-то в этом году 6 месяцев проскочило. А возьми начальников района – тоже по 2, по 3 в год меняются. И чего это каждому парню стараться, ежели он всё время себя на отлёте ощущает? Покрутился, напутал, нагадил, попьянствовал на казённый счёт и смылся дальше. Люди все партейные, их всё едино где-нибудь устроят. Лишь бы не загибали, уклона какого не проявилось. А на евонную работу не очень смот-

рят. Свои люди – одна шайка... Свой своему – поневоле брат...

– Но ведь вы, Стаканыч, тоже партийный!

Старик недовольно посмотрел на меня:

– Партейный... На бумаге и я партейный... Навязали, сволочи, билет, язви их душу. Куда денешься? Пристали, как репей к заду: ты, Стаканыч, говорят, потомственный пролетарий, тебе стыдно не быть в партии. Ты, говорят, опора своей рабочей, пролетарской власти... Ну, и записали... Таких партейцев – сколько хоть... Все по названию...

Неожиданно Стаканыч фыркнул:

– А то – вот тебе история с географией. Помню, как записали меня в партию, я и говорю: как же это, товарищи, выходит так: буду я коммунист и в то же время домовладелец. Те так и вскинулись: как это – домовладелец?.. А очень просто, – говорю, – у меня от деда ещё домик махонький остался... Вот тебе и клюква: выходит «по ихнему», что я, значит, буржуй... Круглись, крутились и, наконец, порешили: раз ты, мол, Стаканыч, квартир или там комнат не сдаёшь – это ничего. Ну, ежели я решу сдать, тогда что? Эксплуататор, проценты на капитал наживать?.. Вот смеху было... как на похоронах... Так и замяли... Поделили, чудаки люди, всех на буржуев и пролетариев – и концы в воду... Просто это у них... А вот ежели бы царь ещё был, – так я, ей – Богу, был бы заправским буржуем: и деньги были бы в банке, и свой домик... Эх, да что говорить!.. Так нам и надо, сукиным детям... Не уберегли царя... Вот и расхлёбываем кашу...

На минуту Стаканыч задумался, посасывая свою трубку.

– Порядок, – опять фыркнул он. – Откуда ему взяться? Вот возьми:

– Получил я недавно свою машину с капитального ремонта из Москвы. Оно, конечно, коняга моя старая мно-

го лет уже поездила и со мной, и до меня. Однако, ещё кое-как ходила. Серия хорошая – ещё старой царской постройки. На совесть тогда делали... Да, так вот... как пришла моя машина да осмотрел я её – так, веришь, чуть не заплакал... Ей-Богу, словно подменили. Словно один номер остался. Ремонта-то немного было – трещину там в топке сварить да бандажи проточить... Ну а в Москве, брат, там все лучшие части подменили: и крантики, и водомерное стекло, и части с вестингауза, и парораспределители, и даже золотниковые поршни.

– Что новое поставили?

Узловатая рука Стаканыча, с чёрными, не отмывающимися от угольной копоти пальцами, сердито бросила в костёр ветку.

Бригада слесарей, Орёл, 1931 г.

– Новыми? Ежели бы новыми, так я за их здоровье лишний мерзавчик бы раздавил. А то всё старье – рухлядь

с других машин... Оно понятно, каждый себе самому норовить – с меня сняли да на какой-то московский паровоз и поставили. Помилуй Бог, там-де Москва, пуп всего мира... А мы, видать, для них сироты казанские. Для нас всё сойдёт... Вот тебе и езди на таких гробах. Куда пойдёшь, кому скажешь?.. И вот едешь и никогда не знаешь, что у тебя на очереди, что первое сдаст: ты вот за золотниковые поршни боишься – ан у тебя вестингауз зашипел; или ждёшь: вот-вот дымогарные трубы течь дадут – ан тут, пожалуйте, реверс в пути заел... Не, брат, насчёт паровозов – это ещё удивительно, как они вообще ходят.

– Помнишь, с «ездой в два лица» дело было? Вот тоже удумали, дубовые головы! Такую машину, как наш Э, только трём людям обслужить, а они вот выдумали «Энтузиасты в два лица» – мы, мол, и вдвоём обслужить могём, мы, говорят, своим социалистическим энтузиазмом покроем...

– Ну и как?

– Как? Да никак! А только как процент больных паровозов, помню, долез до 37 да график на сумасшедший дом стал похож, так тогда только схватились и отменили... А сколько паровозов было за это время угроблено? Энтузиасты, – фыркнул Стаканыч. – Сволочи. Им бы только выслужиться да в местком пролезть али в какие «оргии», а до паровозов им дела нет... Или вот ещё – энти комсомольцы. Дают, скажем, тебе в пару комсомольца – он без году неделя как машинист... Известно: как кто партийный или комсомольский билет имеет, так уж и считается, что он всё превзошёл, всё знает, он на всё годен. Ну вот, этот недоносок с партбилетом задрал кверху нос и думает, как научился рычаги передвигать, так уже всё превзошёл – машинист. А тут парторг соловьём разливается: ты его уж, Стаканыч, обучи, передай, мол, свой богатый опыт, покажи, что и

как... А разве они хотят учиться? Им бы карьеру сделать. «Выдвинуться»...

– Ну вот, приведёшь машину с поездки, сдашь, как следует, а он тебе обратно сдаст её со сплавленными подшипниками али контрольные пробки пережжёт... Учи вот таких. Учил бы я их, да иначе, по тому месту, откуда ноги растут...

– Машинисты называются! – презрительно протянул старик.– А вот ещё – поездит, поездит такой вот на машине, подберёт себе ещё такую вот зелень, тож камсу, и готово: вызывают тебя к начальнику депо и – здрасьте! – вы, говорят, на другую машину переводитесь... Вот так фунт! Почему это? А потому, как две комсомольские бригады промежду собой соцсоревнование, видите ли, заключили, так, значит, им цельный паровоз и назначили.. Да я ж, говорю, полгода эту машину налаживал. Как же так? Ничего, говорят, старик, мы тебе другую дадим... Ну и что ж? Через какой месяц и моя хорошая машина стоит больная, и мне такую рвань дали, что на ей только на кладбище покойников возить али в музей прямо. Одно слово – «хозяева»...

– Вот так и идёт. Бывало, в мирное время была у меня машина, так я её, как родную жену, знал; сколько лет тягала она меня! Бывало, по самомалейшему шуму я уж знаю, чего ей надо, где там подмазка нужна, что стёрлось али где она сдаёт... А теперь? Кто и хочет честно работать, так всё едино ходу нет... Ну, руки и опускаются.

Стаканыч замолчал. Его сердито насупленные седые брови ещё ниже нависли над молодыми, зоркими и ясными глазами. Казалось, что в огне костра он видал старые картины прошлого своей любимой железки, когда она считалась лучшей во всём мире...

Медленно он вынул трубку изо рта, разгладил мундштуком жёлто-седые щетинистые усы и продолжал:

– А думаешь, с вагонами-то лучше? Кой чёрт! Ты, верно, знаешь – к каждой дороге прикреплён свой парк. К нашей Курочке, к примеру, 18000. Да. Ну так вот, в Курске устроили такие обменные пункты, чтоб, значит, сдавать и принимать сквозные маршруты. Это вот ежели с юга идут составы, наши курские, принимая вагоны, осматривают: нет ли дефектов, ну и понятно – акт. Разве ж без актов теперь кто может шаг сделать? Всё на бумаге держится. Ну а южная тоже акты сыплет. И наши стараются подсунуть им больной вагон за здоровый, и те тоже. Словом, идет дело на честность, кто кого обманет… А до самого вагона никому дела нет, лишь бы ремонт перепихнуть на другую голову. А насчёт того, что больной вагон крушение сделает, никому дела нет: другая дорога. Нас это не касаемо. Я не я, хата не моя.

– А тут вот ещё – размахнулись – реконструкцию транспорта собрались устраивать! Тут бы хоть старое привести в порядок – ещё много лет верой и правдой послужило бы, так нет, куда там! Электровозы, мотовозы, автосцепка, автоблокировка, светофоры, тяжёлые рельсы... Мать честная, послушаешь, так в голове загудит. А придёшь с лекции на паровоз да как крикнешь Петьке, кочегару моему: «Шматок проволоки-то взял?», – так аж и смех, и слёзы разберут... Пока там реконструкция – ни один советский машинист без родимой проволочки в путь не выйдет: мало ли что подвязать придётся.

– На честном слове да на проволочке всё хозяйство и держится... Да беда вот в чём – ни честности, ни проволоки, брат, не хватает...

– А ежели, не дай Бог, война – что тогда? Помню я, как в империалистическую войну трудно-то было... А с теперешним транспортом – сразу крышка. Тут каждую осень как перевозка урожая, так такой кабак поднимается, что не приведи Бог! К первым заморозкам сколько гниёт всего

под открытым небом! Небось, сам видал! Даже с перевозкой продовольствия не справляемся – так где же с войной справиться?..

– А что вы, Стаканыч, насчёт войны думаете?

Старик пристально посмотрел на меня и усмехнулся:

– Ишь ты, куда загнул! Что думаю? Так тебе и выложи всё... Тут, брат, раз на раз тоже не приходится... Однако, ежели подумать хорошо, так уж хуже быть никак не может. Ежели не подохнем с голодухи в первые месяцы войны, так что, может, и выйдет. Уж хуже, как сейчас, всё едино не будет: гниём – и ни в какую... Свежим духом никак не пахнет. Нос вытащил – хвост увяз. Там подлатаем – здесь хрякнет... И хуже всего то, браток, что всё это по нашей спине бьёт. Им ничего, а вот нам, на низовке...

Старик не спеша выпил стаканчик водки и сплюнул.

– Да, тяжёлая наша работа, что и говорить. Вот выведешь машину под поезд, перекрестишься по старой привычке – пронеси нелёгкая. Право слово, кажинный раз, как приедешь, так вздохнёшь, как мешок угля с шеи скинул... Не знаешь ведь, с какой стороны беды ждать. Зацепишь вот состав, а сам думаешь: а как это его составительская бригада сляпала? Разве я знаю, какой в ём вес? Хрен его знает! Мне говорят – столько-то тонн, а разве я могу им верить? Моей машине больше 1200 тонн не вытянуть, а разве я не знаю, что если не весы, так весовщик соврёт, если не весовщик, так конторщик, если не конторщик, так бригадир... Эх!.. И тянешь на Миколу-угодника... Разве я могу знать, что большегрузные вагоны равномерно распределены, а не подкинуты куда в хвост, – маневровому-то машинисту тоже не очень охота по путям мотаться. Тяп-ляп...

– Ну вот, значит, и тронулись. Осей как будто в норме – 150 штук сзади наворачивают, а как подумаешь, что среди них есть уже новые, советские, так холодок и пробежит. Такая вот ось едет, а потом – хрясь напополам – и,

значится, пишите письма – крушение. А кто виноват? Никто, браток, не виноват. Какая система, такая и работа, какая работа, такое и качество. Вот уж 17 лет система себя и оказывает. Каков поп, таков и приход.

– Ну вот, поехали, значит... Едем... Скрип да звон, как от похоронных дрог.

– Доехали, скажем, до спуска. Даю, как полагается, три гудка – тормози, значит, кондуктора. Тормоза вручную – крути таврила. Насчёт автоматических – может, к концу какой пятой пятилетки введут, ежели доживём. А чтоб при такой жизни дожили, сомнительно, чтоб...

– Свищу я – тормози! А на тормозных площадках ребята сидят голодные да холодные. Накинул парень какую рвань, засунул в карман кусок чёрного хлеба – и в поезд. А ежели, к примеру, зима, мороз да ветер? Так они тебе и будут ручки крутить. Приткнётся в уголок и дремлет. Собачья жизнь...

– Да и то сказать: откуда будет вкус к работе? С голодной, раздетой жизни?.. Вот намедни в столовке обступили меня комсомольцы.

Я как раз конской колбасы – знаешь, «собачья радость» зовётся – 200 грамм купил. «Тебе хорошо, – говорят, Стаканыч, – ты 200 целкачей зарабатываешь... А нам, – говорят, – на наши 70 – 80 монет не раскутишься на колбасу. Ты, – говорят, – вроде как буржуй, Стаканыч»... Оно, конечно, и я не так чтобы сыт, пояс постоянно на брюхе затянут... Но как скажу я этим обормотам, что я и в мирное время те же 200 монет выколачивал? Так тогда это настоящие 200 были. И семья вся жила, и дети, учились по-настоящему, и домики, брат, строили, да ещё на чёрный день подкапливали... А теперь, конечное дело, не то. Правда, живу я лучше этой молодёжи – как-никак дедовский домик стоит. Опять же огородик маленький есть, да вот охотой малость пробавляюсь. Пару уточек или там зай-

чишка – оно и сытей... А которые по квалификации пониже – табак их дело. Вот возьми – песочники; тут недавно прямо чуть до забастовки дело не дошло. Получают они, бедняги, ни больше ни меньше, как 44 целкача в месяц... А картошка, сам знаешь, этой зимой была 30 рублевиков пуд. Вот те и живи!..

– Это вот так, брат. И цыган учил, учил свою кобылу не жрать. Уже совсем было выучил, да она, дура, возьми да и подохни... Так и Сталин нас приучает...

– Житьё, братишка, у пролетариата нашего не сладкое. Чёрный хлеб, капуста да картошка – вот тебе и меню. А в столовках, сам знаешь, щи да каша... Не разжиреешь... Ну, и работы требовать нельзя... Не то, как в царское время: накорми да одень – вот тогда и требуй... А то вот транспортные суды – сколько шлёпают, а разве в страхе дело? Разве ж кто саботирует? Не может: сил уже нет, да и дух упал – работаем, работаем, а воз и ныне там.

– Ну, ладно, – продолжал старик, помолчав.– Ну, сползли мы по воле Господа Бога благополучно. Так ты думаешь, мой гудок – растормаживай – кто исполнит... Как же!.. И вот на подъёме и тяни состав с закрученными тормозами... Я тут надрываюсь, гоню давление пара, жгу уголёк, а пережог-то из моего жалования вычитают... А потом вдруг где-нибудь хрясь – и стяжка лопнет. Разрыв поезда. Я, значит, с машиной вперёд, а хвост-то мой – тю-тю! – поехал до дому. А ежели он раскатится да на станцию заскочит?.. Таких случаев, брат, хоть пруд пруди... Оно верно сказать, стяжки-то старые, бывалые. Им не грех-то и лопнуть.

– А то вот ещё – едешь, едешь, а назад-то всё время нет-нет и оглядываешься – всё ли в порядке? Ну вот, глядишь, где-нибудь дымок-то и вьётся – это, значит, буксы родименькие, горят... Хорошо ещё, если я, али кондуктора доглядят. Станем, да подмажемся. А если не доглядим, в

тумане, скажем, оно тебе бабит-то из подшипников выплавится на дорогу, и головка оси пойдёт болтаться из стороны в сторону. А там вагончик сядет малость набок, да при первом толчке фьить – и с катушек долой...

– А насчёт толчков у нас как на море – закрой глаза и не отличишь... Шпалы-то гнилые, костыли проржавели, балласт пооседал, рельсы тоже, брат, такое золото, которое по ночам в поле вывозят. Лежат они этак годика с два-три – и давай рассыпаться: то трещина появится, то закраины собьются, а то ещё проще – хрякнет он, болезный, да и напополам...

– Теперь рельсы цементировать стали, – ввернул я.

Стаканыч уничто жающе посмотрел на меня.

– Цементировать... Почему-то вот царские рельсы и нецементированные 30 лет лежали, а вот теперь эти старые, заштатные рельсы ищут да заместо новых, советских, цементированных, кладут... Цементированные! Мозги у начальства нашего цементированные...

Стаканыч замолчал и протянул руку к бутылке.

– Одна и осталась наша радость – русская водочка, – любовно сказал он, наливая кружки, – и достать её – раз плюнуть. Хлеба нет, а водочкой хоть залейся… Выпьешь и забудешь обо всём этом... Мы, старики, вспомним о старом, а молодёжь пусть помечтает о новом, о хорошем, ежели когда-нибудь что хорошее выйдет...

Мы выпили.

– А как это ты, Борис, фотографом заделался здесь у нас? Словно бы работа эта не по тебе? – неожиданно спросил Стаканыч. – Словно бы ты парень образованный!

– Да, по правде сказать, Стаканыч, сам-то я – врач...

– Ну вот, я и вижу, что тут что-то не то. Помню еще, как под Скуратово моя машина крушение там растаскивала, так ты там с нашинкованным человечьим мясом возил-

ся... То-то руки у тебя до локтей в крови были... Вот оно что... А чего это ты фотографом заделался?

– Да я, Стаканыч, ссыльный... Неохота сидеть на голодном пайке в больнице или амбулатории. Меня в чёрном теле держать будут. А тут я сам себе голова – вольная профессия... Только вы, Стаканыч, не говорите никому, что я врач, – ещё мобилизуют...

– Ладно, ладно... Хорошо это тебе, ссыльному, – куда угодно на работу можешь податься, а у нас, брат, не то: все железняки мобилизованы – ни хрена, брат, не попишешь. Уйти нельзя – на карандашике сидим... Не сбежишь... А тут, брат, транспортные суды ещё на нашу голову притопали – они вплоть до шлёпки приговаривать могут... Ежели не куском хлеба, так пулей работать заставят. Наша власть, что и говорить...

– Но почему всё-таки так много крушений?

– Вот ты опять пристал, почему да почему... Экой ты несообразный! Я же рассказывал, как наша работа идёт. На транспорте всё уж так установлено, что всякая мелочь крушение вызвать может... А тут – всё спешно, всё в ударном порядке. Починят, подлатают – и кати... Лишь бы хоть своя шкура осталась целой на сегодня... А там хоть трава не расти... Разве кто на будущее думает?.. Вот ты все спрашиваешь – почему. У нас, на Курочке, нет пятидневки, чтобы чего ни случилось. Либо разрыв, либо порча паровоза, а то и посерьёзнее… Вот мы с тобой у Скуратова пассажирские вагоны растаскивали. Ну, там бегунки с рельс сошли на полном ходу... А отчего сошли – кто скажет? Машина старая, уход – одно слово – выдвиженческий, комсомольский, ну и сыпется всё... Или вот – под Змиёвской товарный недели две тому назад свалился – ну, там ось пополам лопнула. Тоже спросил – почему? Такое уж качество! Чтоб лопались в царское время – не слыхать было... А то вот на Казанке, – засмеялся старик, – читал в газетах? Тоже, доложу я тебе,

история вышла. На перегоне ночью вывернулся товарный – кажись, тоже ось не вынесла... Ну, а встречного предупредить не успели: путевым сторожам тоже спать-то нужно – они ведь больше днём на огородах своих возятся, жрать-то ведь что-нибудь нужно... Ну, словом, пассажирский встречный тоже в эту кучу врезался. «Мала куча», значит, вышла... Так это ещё не всё – на занятый перегон ещё один поезд пустили, и он тоже туда въехал... Здрасьте, мол! Тогда только счухались, да вспомогательный для помощи прислали. Так знаешь, голубок, – у него такие тормоза оказались, что сам чуть не въехал в общую кучу... Сколько там народу погибло – не приведи Бог. Опять спросишь, почему... Ну, ось ни к чёрту, ну, тормоза не держат, ну, диспетчерами разве топку топить можно?.. Не в этом суть. Главное, брат, система такая, что никто работать как следует не хочет. Дурость одна кругом. Или вот опять же, к примеру, взять наши новые сверхмощные паровозы – знаешь, конечно, эти вот «федички» (паровозы серии «Феликс Дзержинский». Нам бы свои подправить да на их радоваться, а тут вот в Америки лезем – сверхмощные построили... Построили, погнали их на Екатерининку... Выяснилось, что по нашим путям они, голубчики, не ходют – нужны утяжелённые рельсы, да и балласт потяжельше. Да и так они полотно расшатывают, что на ремонт уйма деньжищ вылетает. А потом опять же трата угля аховая. Управление сложно – там повыдумывали стоккеры да бункеры, а нашим Петькам да Ванькам ещё кобылой бы управлять, а не сверхмощными паровозами... Чуть что – поломка. Ну вот и стоит половина наших федек в стойлах, на ремонте. Эх, братишечка! Ей-Богу, как подумаешь, так невольно рука к бутылке потянется...

Когда донышко бутылки сверкнуло при свете костра, Стаканыч с сожалением подержал её несколько секунд над кружкой и затем со вздохом отбросил в сторону...

– Нет, браток, верь мне – 40 лет езжу я по рельсам, всего, можно сказать, навидался. Что-что – а свою родную

железку наскрозь вижу... Вот 17 лет, можно сказать, крутимся, как навоз в проруби, а как не было у нас порядку, так и не будет...

– Потому, брат, ежели в серёдке непорядок, внутре машины, инженер неправильно конструкцию пустил, то уж жми не жми, крути не крути, а толку всё едино не будет... Выше одного места, брат, не прыгнешь, а ежели место это ещё и с ущербинкой, то никакого толка всё равно не будет...

Старый машинист замолчал. В настороженной тишине ночи откуда-то издалека, вероятно, километров за 15, донеслись гудки паровоза: два коротких, потом ещё и ещё...

Ухо старого машиниста насторожилось...

– Вишь ты его, как высвистывает, болезный... Знать, опять кондуктора не растормаживают. Спят, сердечные. Привалились с голодухи и дремлют. А тут до крушения, может, полсекунды осталось. Так вот и идёт всё. А раздавит в крушении – дадут старухе пенсию рублей в 20, вот и живи, как знаешь… Чего ж человеку стараться? Работай, не работай – всё едино нищим останешься. Зарежет тебя или сам помрёшь – семья с голоду пухнуть будет. А насчёт того, чтобы за счёт будущего пострадать, – старые песни! 17 лет страдаем, а толку как нет, так и не видать впереди.

– Нет уж, брат, при таких хозяевах всё равно порядку не будет, как там они ни крутятся. Интересу нет работать. Это всё равно как в паровозе: пар давит да толкает – так и в человеке интерес должон быть. А откуда ему взяться? Так вот: чтоб кусок хлеба заработать, каждый работать будет. А чтобы по совести да со всей душой – всё это, брат, метлой повымело... И хозяев нет, и интереса нет. Вот тебе и весь секрет... А ты вот спрашиваешь всё: отчего?..

На востоке ширилась светлая полоса зари. Где-то далеко истерически взвизгивал паровозный гудок...

Чистка жидоедов

– Эй, слышь, Солоневич! Сегодня обязательно приходи на президиум. Жидоедов, брат, чистить будем. Заснять надо будет обязательно!

– Вот те на… Каких это жидоедов?

Председатель Райпрофсожа* Голованов, старый московский рабочий, партиец, присланный в Орёл по наряду из центра, неожиданно ухмыльнулся благодушно и беззлобно. Его усталое, хмурое лицо, обычно озабоченное и колючее, как будто готовое в любой момент огрызнуться и оскалить зубы, покрылось морщинами добродушной усмешки.

– Да тут вот двое с нашей кондукторской бригады дурака сваляли. В мозгах, видать, масла не хватило...

Потом лицо председателя опять омрачилось.

– Да всё это – хрен ветер… Беда бы невелика, да вот чёрт принёс допрофсожского инструктора – он бучу-то и поднял: «вот-де какой я глазастый да пронзительный – гнездо, мол, антисемитизма выискал в Орле»... сволочь!... А всё дело-то яйца выеденного не стоит… Он-то, стервец, сам с дворян палестинских и требует снимка… Да вот приходи – сам послушаешь, что и как.

– Да жидоеды-то ведь, надо думать, не дураки – сниматься не будут. Чихнёт вовремя или рожу состроит. Узнай его потом по карточке!

– Ну, вот ещё!.. Какой же ты после этого советский фотограф будешь, ежели обмануть по такому пустяковому делу не сумеешь? А заснять всё-таки нужно будет. Чёрт его знает, как дело-то там обернётся. Может, и не выручим ребят. А насчет снимка – мы, браток, так сделаем: я их вызову всех скопом во двор, группу заснимем, а потом ты уже выделишь кого там надо, жидоедов этих… Идёт?

---

*Районный профсоюз железнодорожников

* * *

К назначенному часу я со своей «фотопушкой» был в Райпрофсоже – низеньком деревянном домике, в двух больших комнатах которого уже собрались все представители нашего железнодорожного пролетариата. Тут были рабочие всех служб узла: тяги, движения, пути, депо, мастерских, диспетчеров, всяческих месткомов, десятков «добровольных обществ» – ОАХ, МОПР, ОДД, ОДН, РОКК, Шефобщества*, клубов, их секций и пр. и пр. – словом, букет всяческой советской и профсоюзной общественности.

Тусклый свет зимнего дня едва пробивался сквозь клубы густого махорочного дыма. Единственная лампочка едва освещала стол, оставляя остальную часть комнаты в полумраке. Весь город уже давно сидел во тьме: электростанция не работала, трамваи не ходили, и наша вокзальная станция едва справлялась с нагрузкой. Поэтому на комнату президиума Райпрофсожа полагалась только одна электролампочка…

Собравшиеся – человек 40 – разместились кто как мог. Рабочие, пришедшие прямо из мастерских, в грязном, замасленном платье, расселись на столах и стульях – по трое на двух стульях… Молодёжь без всякого стеснения разместилась прямо на полу.

Наконец Голованов постучал карандашом по стакану.

– Итак, товарищи, позвольте считать заседание президиума открытым. В повестке дня такие вопросы:

1. Об антисемитизме товарищей Проскурняка и Петрова.

---

*Осоавиахим, Международное Общество Помощи Борцам Революции, Общество Друзей Детей, Общество «Долой Неграмотность», Российское Общество Красного Креста, Шефство над колхозами

2. О проведении конкурса на лучший в узле уголок У10ПР.

3. О подписке на заём индустриализации.

4. О проведении субботника по очистке депо.

5. О премировании комсомольских спаренных бригад.

6. О проведении похода в подшефные колхозы...

– Довольно, довольно, – раздались голоса... – Этак до вечера проканителимся... Не евши ведь...

– Ничего, товарищи, – успокоил председатель...– Это всё мы моментом провернём… Преть* не будем... Как зуб, выдернем…

– Итак, 7-й пункт: Доклад БРИЗ**.

8. О проведении безбожного антирождественского карнавала.

9. О распределении…

– У нас тут внеочередной пункт есть! – внезапно громко и решительно прозвучал хриплый голос.

Голованов недовольно и встревоженно поднял голову.

– Всякие вопросы потом. В «текучих», отрезал он.

– Это почему такое «потом»?– не сдавался хриплый голос. Сутулый рабочий, одетый в старый бушлат и подвязанные верёвкой валенки, решительно выступил из дверей в освещённую полосу. Его морщинистое небритое лицо было взволнованно.

– Как это так – «потом»? Ежели рабочий человек желает внеочередной вопрос поставить, так как это так – «потом»? А ежели нам больше невмоготу?

– Придёте завтра в Райирофсож, скажете, в чем дело. Там и увидим, – оборвал его Голованов уже раздраженно.

– А может, я не доживу до завтрева? – вызывающе воскликнул рабочий. – А, может, до завтрева я с голоду

---

*От слова «прения»

**Бюро рабочего изобретательства

подохну? Так как же это так? Что ж я – собака, чтоб так, с голоду, подыхать?

Рабочий уже почти кричал. Он не был похож на пьяного, и в его голосе звучали нотки истерики.

Голованов увидел, что дело пахнет скандалом, и решил уступить.

– А кто вы такой? – сдался он.

– Я-то? А песочники мы... Тута нас трое пришло, чтобы, значит, цельная депутация была.

Он показал пальцем на двух рабочих, протиснувшихся к нему сквозь человеческую стену.

– Мы вот к вам, как к рабочему собранию, пришли просить... Всё обещают, обещают, а толку ни хрена никоторого... Что это такое, товарищи, чтоб зарплаты всего 44 рубля в месяц получать? Как же жить, товарищи? Посудите сами. Я ж знаю – жирком никто не заплывает, одначе разве ж на одном пайковом хлебе проживешь? А пуд картошки, сами знаете, на базаре уже под 30 нонеча подваливает*... Сколько мы бьёмся, чтоб нам зарплату повысили, и хоть бы што... Вот мы и пришли сюды – просить у рабочего коллективу. Что же мы в самом деле – машиной деланные? Нам жрать-кушать не надо?.. Свою должность мы справляем – что надо. 8 часов на морозе выстаиваем, хотя одежи совсем нет... Пропадаем, товарищи, совсем...

Рабочие сочувственно загудели:

– А и в самом деле... 44 рубля... Как же прожить?.. Не жрамши... И ребятишки, небось, есть...

Атмосфера была явно дружественной для жалобщиков. Председатель, перекинувшись несколькими словами с сидевшим рядом парторгом узла, поднялся:

– Ваше заявление, товарищ... Как вас?

---

*Зимой 1933 г. пуд картошки на базаре стоил до 30 руб.

– Селехов...

– ...Товарищ Селехов, будет срочно поставлено на заседании парткома. Мы сами не можем решить этого вопроса. Но я гарантирую делегации, что зарплата будет повышена. Точка. Переходим к повестке дня...

– Позвольте, товарищи, что ж это такое?.. Это мы не раз слыхали – потом да потом, завтра... Этими завтрами сыт не будешь... Как же так?..

– Довольно, товарищ! Ваша жалоба запротоколирована и будет немедленно разобрана. Не мешайте работать, – уже угрожающе, пониженным тоном закончил Голованов, – а то я вынужден буду принять меры… Садитесь! Слово для доклада по первому вопросу имеет товарищ Сталеваров.

Рабочий с растерянным видом сел*.

Из-за стола президиума поднялся чистенько одетый, выбритый, причёсанный «а ля Карла Марла», молодой еврей, видимо, комсомолец выдвиженец недавнего призыва, и начал рассказывать, что на днях на станции Змиёвка он стал свидетелем возмутительного случая – «Ссоры между кондукторами. И в его, Сталеварова, присутствии двое кондукторов обозвали третьего «жидовской мордой».

Внимательные лица слушателей, видимо, ожидавших чего-то более серьёзного, при этих словах осветились улыбками, и по комнате прошёл добродушный смешок.

---

*Через несколько недель зарплата песочникам действительно была повышена на…4 рубля в месяц. Но по первой же мобилизации на Приморскую железку Селехов был отправлен туда в качестве одного из «лучших кондукторов дороги»… Больше песочники не жаловались…

– Ви же сами понимаете, товарищи, – негодующе закончил свой доклад инструктор Дорпрофсожа, яростно жестикулируя. – Ведь это же прямой позор, чтобы на 7-м году Великого Октября среде передовых рабочих железного транспорта, под руководством великого Сталина строящих непобедимый социализм, был такой вот антисемитизм. Ми должны с корнем вырвать такие позорные явления...

– Ладно, ладно, – спокойно прервал председатель. – Ну а где же потерпевший?

Это слово у Голованова прозвучало с едва заметной иронией.

В задних рядах поднялся немолодой уже рабочий с чёрной бородкой, истощённым лицом и впалыми глазами. При тусклом освещении нельзя было разобрать, что он еврей, и только заметный акцент в словах выдавал его национальность.

– Это вы – Нахманович? – переспросил Голованов.

– Это я, товарищ председатель,– ответил рабочий.

– Ну а обвиняемые где?

С пола сконфуженно поднялись двое. Один из них, уже почти совсем седой, с резкими чертами лица, покрытого обмороженной кожей, смущённо мял в руках шапку с наушниками и смотрел в пол. Другой, высокий, широкобородый, с весёлым вызовом оглядывал сидящих за столом.

– Вы, тов. Нахманович, подтверждаете, что вам было нанесено оскорбление товарищами Проскурняком и Петровым?

– Да, – тихо ответил еврей.

– Ну, что вы на это скажете, товарищи? – обратился председатель к обвиняемым.

Все лица повернулись к Проскурняку. Опять замелькали улыбки. «Вот тоже олухи Царя Небесного», – тихо раздалось из тьмы...

– Да что ж и говорить-то? – ухмыльнулся бородач. – Экая невидаль! Ну и облаяли – был такой грех. А он и сам виноватый-то был. Не доглядел, сукин сын, подшипники сплавил. И сиди вот тут из-за него на морозе, покеда больной вагон не выкатят с состава. Вот и обозлились мы с Петрухой.

– Но вы же оскорбили его? – визгливо вскрикнул Сталеваров.

– «О-скор-би-ли?» – протяжно переспросил кондуктор. – Да ты зачурайся, товарищ. У нас и в мыслях не было оскорбить. Облаяли – это точно, но чтоб оскорблять – и духу этого не было!

– Но ведь вы его «жидовской мордой» обозвали? – спросил Голованов.

– Это точно – обозвали. Так он жид и есть! – наивно ответил Проскурняк, и по комнате прокатилась волна смеха. Бородач с недоумением оглянулся, а потом и сам неожиданно осклабился. Инструктор Дорпрофсожа порывисто протянул руку.

– Позвольте, товарищ председатель, что же это такое? Он ведь насмехается над пролетарским обвинением. Он же должен знать, что такими вот словами он разжигает национальную рознь, идёт против политики родной советской власти, разводит антисемитизм. Ведь отсюдова недалеко и до кровавых погромов. (Голос инструктора перешёл во взвизгивание). Черносотенцам и погромщикам не должно быть места среди красных пролетарских железнодорожников. Я думаю, Дорпрофсож не оставит этого так. Вы, лучшие рабочие станции Орёл, должны показать пример жестокой борьбы с антисемитизмом внутри себя…

Слушая эти фразы, многие поняли, что этот вопрос может иметь неожиданно серьёзные последствия для обвиняемых, что этот карьерист из породы советского актива, переведя всё на политическую почву, может вынудить тяжёлое нака-

зание. Почувствовал поворот в ходе заседания и сам Проскурняк, ибо он взволнованно сказал:

– Да, ей-Богу, у нас и в мыслях всего того не было, о чём здесь товарищ с Москвы говорит... По батюшке и по матушке мы его обложили – это верно. На морозе первое дело – матом кровушку разогреть, иначе замёрзнешь к чёртовой матери в нашей одеже. А насчёт «жидовской морды» – разве ж это мы по злобе? Разве ж в первый раз? Убыло его, что ль? Да и задарма никогда не ругали, да он, Нахманчик-то, никогда и не обижался. И заявлениев никуда не подавал. Бывало, и он кого из нас кацапской мордой обзывал. Ну так что ж? Ну, на крайний случай, когда слов-то уж не хватало, бока мяли друг дружке. Так, по-приятельски. А так, чтоб в Райпрофсож, да такие слова, что вот энтот товарищ московский выговорил, да за что ж такое, братцы? Об энтом антисемитизме и разговору не было. Это, ей-Богу, московскому товарищу причудилось. Да и сам он в энтом деле – пришей кобыле хвост был. Пристал, как банный лист к заду... Какое его дело?

В комнате опять раздался смех, но Голованов зазвенел стаканом.

– Вы, товарищ Проскурняк, дурачком не прикидывайтесь! – строго осадил он бородача.– Тут вам не маленькие сидят. Им смеяться нет время. На вас Нахмановичем жалоба подана.

– Дык этож он, инструктор, и писал её! Разве ж мы не знаем?

– Не ваше дело. Итак, товарищи, факта оскорбления обвиняемые не отрицают. Какие будут предложения по этому вопросу?

Сталеваров живо протянул руку, Голованов кивнул головой.

– Так что, товарищи, чтобы с корнем выкорчевать остатки позорного антисемитизма, этого гнусного пережитка проклятого царского времени, предлагаю перенести

дело об оскорблении в показательный суд. – Все на секунду примолкли. – Показательный суд в советских условиях является одним из самых суровых видов гласного суда. В него передают дела, по которым заведомо должно быть вынесено строгое наказание – для примера остальному пролетариату и устрашения «классовых врагов». На показательном суде «жидовская морда» могла превратиться в «вылазку классового врага», в «антисоветскую агитацию», в «сеяние национальной розни», в «призыв к погромам» и пр. и пр.

– Ну, ну, а дело-то пахнет жареным! – пробормотал мой сосед.

И бородач понял это.

– Товарищи, – жалобно вмешался он, и председатель не остановил его. – Дык за что ж на показательный-то? Разве ж мы такие виноватые? Столько годов с Нахманчиком вместях ездили, и голодовали, и мёрзли, и по крушениям околачивались. И никогда спору никакого не было, покеда инструктор энтот не ввязался. Да за что же, братцы?

– Так вы же антисемит! – злорадно и язвительно прошипел Сталеваров.

Наступило минутное молчание. Казалось, что в уме каждого из присутствующих, почувствовавших себя «присяжными заседателями», вопрос о виновности или невиновности «жидоедов» колеблется на чашках каких-то весов. Победит нажим дорпрофсожского инструктора или желание вытащить своих ребят из грязного дела?

– Э-э-э... Будя там громкие слова попусту тратить! – решительно отозвался, наконец, старик-кондуктор, сидевший у печки. – «Ан-ти-се-ми-тизм»… Эко здорово завинчено!.. Одно слово, рельсину своротить может... Ну, дурака сваляли ребятишки... Это верно... А ежели их за это на показательный – крышка им будет... Со света сживут...

– Так что ж вы предлагаете? – быстро отозвался Голованов.

– Я-то? А по-моему, по стариковски, объявить им выговор. Ну и что ещё добавить для острастки. Пусть там на морозе по матушке греются, а за другое место не трогают. Да и сам Нахманович, верно, не ждал, чтоб на показательный.

Все глаза повернулись к еврею.

– Да я что ж... Мы завсегда с товарищами хорошо жили, – пробормотал он. – Вот всё, что могу сказать. Я им никакого зла не хочу...

– Так на что ж ты на них заявление писал? – спросили из угла.

Нахманович испуганно и укоризненно посмотрел на московского инструктора и промолчал.

– Да что там порожние составы двигать! Выговор – и концы в воду! – рявкнул чей-то бас, и одобрительные восклицания приветствовали его. В общем хоре возгласов и замечаний фамилия «Сталеваров» прозвучала как-то очень похожей на «Срулеваров»...

Перелом произошёл, и Сталеваров оказался одиноким перед общим фронтом.

Комсомолец-кочегар быстрым движением поднялся с пола и весело покрыл своим звонким юношеским голосом общий шум:

– Предлагаю дополнительно исключить товарищей жидоедов на два месяца с профсоюза*.

Всплеск смеха и аплодисментов опять прошел по комнате. Председатель с полминуты стучал карандашом по стакану, но других признаков председательской власти не проявил.

---

*Наказание почти формальное

– Ладно… Итак, значит, товарищи, есть два предложения: передать дело на показательный и второе – дать выговор и исключить на два месяца из профсоюза. Других предложений нет?

– Товарищ председатель, позвольте мне в защиту своего предложения, – выскочил Сталеваров вперёд.

– Не надо… Чего там!.. В Москве расскажешь! Ясно! – раздались отовсюду неприязненные голоса.

– А и верно, – кивнул головой Голованов. – Чего тут объяснять? Дело ясное, как самовар. А повестка у нас аховая. Ну, так голоснём, товарищи. Кто за первое предложение – на показательный?

Сталеваров стремительно поднял руку и оглянулся. Никто не поддержал его. Насмешливые взгляды были прикованы к его одиноко протянутой руке. Сталеваров негодующе обернулся к Нахмановичу, но тот конфузливо спрятался за спину другого рабочего.

– Ладно… Один…Кто за второе предложение?

С шумом и смехом взметнулись руки. Кто-то дружески хлопнул Проскурняка по спине. Кто-то из сидевшей на полу молодёжи подбил его ноги и уронил вниз. Худое лицо председателя сморщилось в усмешке.

– Ну, вот так, значит, и запишем… Ну, дёшево отделались, ребята…

Стакан зазвенел опять.

– Тут есть ещё внеочередное предложение нашего фотографа Солоневича: пока светло, пойти всем и засняться во дворе. Единогласно?.. Ну, валим… Только чтоб порядок «на ять» был!..

* * *

Топот ног возвращавшихся в дом рабочих замолк. Я продолжал возиться с кассетами и штативом. Неожиданно меня потянули за рукав.

– Може, помочь тебе в чём, хлопче? – раздался голос.

Я обернулся и узнал в говорившем председателя месткома кондукторской бригады Невеличко, кряжистого, низкого хохла, шутника и похабника, любимца рабочих.

Обычно весёлое, смешливое лицо его было теперь озабоченно и смущённо.

– Да ничего, спасибо, товарищ Невеличко, я и сам…

– Ну, ну. Дай-кось я все-таки…– И, нагнувшись, он неуклюже стал складывать ножку штатива, уголком глаза следя за последними уходившими в двери людьми. Потом он выпрямился и шёпотом серьёзно сказал:

– Вот какая история, Солоневич. Этот вот хрен собачий хотит закопать наших ребят. Ему што, он фыкнул, нагадил, нашкодил – и ходу… Ему абы карьеру сделать. Оно, конечно, президиум не выдал ребят, а вот ежели он фотографии ихные в «Гудок» вставит – каюк им будет. Вышибут… Со света сживут, он там такое напишет. Ему больше поверят, он же «с наших», активист, мать его за ногу…Так вот што, Солоневич, уж ты не будь сволотой, не давай ему фотов. Хай ён сгорит, сукин сын. А мы тебя, ежели что, не дадим в обиду. Я уж так, по-честному, по-пролетарскому тебя прошу: будь человеком, не выдай своих…А…

В голосе Невеличко слышались умоляющие нотки. Я молчал, думая, как мне выкрутиться из положения.

– Да ты уж, Солоневич, как-нибудь там устрой, – настойчиво шептал Невеличко.– Ты ведь парень учёный. Тебе што?.. А ребятам зарез будет. Мы уж к тебе, как к человеку интеллигентному… Подмоги, брат, выкрутиться

ребятам. Они ведь люди простяцкие. Дык неужели же из-за жида паршивого им с голоду сдыхать придётся? Сколько такие вот шибздики жизни нам портят! Ну так как?

– Ладно, Невеличко. Что-нибудь изобретём!

Лицо предместкома просияло. Он крепко пожал мне руку своей шершавой, мозолистой рукой и, исчезая в дверях, сказал:

– А ежели будет какой скандал, не дрейфь – подмогнём…

* * *

На следующий день меня вызвали в Райпрофсож. В кабинете председателя с инспекционным видом сидел Сталеваров.

– Ну как, товарищ, сделали фотографию? – быстро спросил он меня.

– Это вчерашней-то группы?

– Нет, нет…Этих вот антисемитов?

– Да вот с пластинкой несчастье вышло… бракованная попалась. При проявлении весь желатин сошёл…

– Как же это так? – обозлился Сталеваров…

– Да что ж, сами знаете, качество продукции...

– Так, может быть, на другую пластинку снимете?

– Да чёрта с два… Они уже в поезде! – вмешался Голованов с рассерженным видом. – Это, товарищ Солоневич, никуда не годится. Если берётесь снимать, так пластинки проверяйте заранее. А то вот такой ответственный и важный снимок… Вот т. Сталеваров хотел его с собой в Москву взять для доклада… Для этого я вас и вызвал… Этак, т. Солоневич, мы вас и на службе держать не будем… Я на президиуме вопрос поставлю – выговор вам вынести... Безобразие!..

Но в глазах Голованова мелькнула одобрительная усмешка…

Обработка душ

На стрельбе

– На линию огня – шагом марш! – звучит команда.

С винтовками в руке мы идём вперед. Далеко перед нами, в 100 метрах, на дворе артиллерийского полка стоят шесть мишеней.

– Ложись... Прямо по мишеням десятью патронами... Заряжай!

Я плотно просовываю левую руку в петлю ружейного ремня, крепко стягиваю её, выковыриваю локтем ямку в снегу и прилаживаю тяжесть винтовки на левой ладони. Блестящие медные патроны один за другим уходят в патронник. Резко звякает затвор...

Левая рука в толстой перчатке подводит винтовку к мишени, ружейный ремень, плотно обвиваясь около руки, крепко вжимает приклад в плечо. Щека слилась с холодным лаком приклада... Лёгкий морозный ветерок холодит правую обнажённую руку... Мушка ровно ложится в прорези и медленно подводится под чёрное яблоко мишени... Ровно... Ровно... Вот между кончиком мушки и яблоком осталась тонкая белая ниточка… Палец начинает плавно давить на спуск... Винтовка вросла в плечо и не шевелится... Спокойно, спокойно... Неожиданный выстрел оглушает. Плечо вздрагивает от отдачи... Кажется, хорошо...

Выстрелы трещат, не переставая. Сбоку от меня лежит юноша, ещё школьник – Ульянцев, длинный и нескладный. Мимоходом я замечаю, как он по-детски выпячивает губы при прицеливании. Слева уверенно и чётко звякает затвором «старик» Ильинский, седой слесарь, участник гражданской войны.

– Встать!.. Положить винтовки! К мишеням шагом марш!

Оживлённой, весёлой гурьбой вместе с красноармейцами мы идём к мишеням. Сегодня – 23 февраля, годовщина основания РККА – военный праздник. И в этом празднике первый номер программы – состязание по стрельбе наших железняков с красноармейцами. Ну-ка, кто кого? «Мух» – попаданий в белое – почти нет. Только у розовощёкого комсомольца Титова – две, да токарь Семёнов, футболист и городошник, упустил одну пулю в двойку.

– Верно, патрон паршивый, – смущённо говорит он. – Да и то, шутка сказать, – на 60 выстрелов две осечки было... А в бою что бы было...

– А ничего ребятишечки пальнули! – довольно говорит парторг района, маленький человечек Курчатов, морской кочегар, неисповедимыми судьбами российской революции вынесенный на партруководство 10000 железняков... – Ежели б такие буржуям – подходяще бы было.

Долговязый Ульянцев сияет: он дал лучший результат – 89 очков из 100 возможных.

– Ишь ты, шкилет снайперский* – беззлобно шутит Ильинский...– Поперёк батьки в мишень сунулся...

Толпа участников и зрителей возвращается назад. Наше место занимают шестеро красноармейцев. Мы с удивлением замечаем, что они не пользуются ружейным ремнём, не калибруют патроны и как-то неуверенно располагаются на линии огня.

– Прямо по мишени!– звучат одна за одной команды, и состязание продолжается.

Через двадцать минут командир полка объявляет результат – команда ж. д. ОАХ** выбила 493 очка, полк – 444.

---

*Снайпер – особо меткий и тренированный стрелок, по мере возможности, вооруженный специальной винтовкой с телескопическим прицелом

**Осоавиахим – общество содействия обороне и авиационному и химическому строительству СССР

– Да что ж, – смущённо шутят красноармейцы,– наше дело шестидюймовое, а не винтовочное. С винтов мы не обязаны здорово стрелять. А по артиллерии держим всесоюзное первенство.

Командир полка, высокий, прямо держащийся человек, в выправке которого как-то чуется старый офицер, подходит к нам.

– Здорово, товарищи, настукали. Молодцы... А вот теперь как-нибудь давайте иначе постреляем: вы из малокалиберок, а мы из тяжёлых орудий.

– Как так?

– А очень просто. Мы для тренировки в манеже вставляем в ствол орудия малокалиберный стволик и стреляем из шестидюймовых орудий шестимиллиметровыми снарядами. Попробуем, что ли?

– Попробуем!

– Ну а теперь давайте из наганов.

По нагану команда комсостава полка обставляет нас вчистую. Утешая друг друга, идём обедать...

Пир

В низком столовом зале уже собралась вся наша ж. д. делегация – этот полк считается нашим подшефным, и человек 40 выделено всеми службами и организациями для посещения полкового праздника.

Тут и рабочие, и школьники, и спортсмены, и женщины. Все рассаживаются вперемешку среди красноармейцев, и после приветственной речи комиссара приступаем к обеду. Для всех нас обед в полку – это большой желудочный праздник, ибо мы знаем, что по сравнению с нашей кормёжкой в рабочих столовках красноармейские обеды – поэма, особенно праздничный обед для гостей.

И, действительно, нам дают по большой миске борща, от которого идёт такой чудесный запах... Мясо, ей-Богу, мясо. И сколько его! И наше обоняние и глаза впитывают невиданные запахи и картинки. А впереди на столе стоят доски с нарезанным хлебом. Сколько угодно хлеба! Чудеса в решете! И разговор гостей замолкает, уступая место голодным челюстям. За борщом следует жирная вкусная каша и затем – миска компота с белым хлебом... Все мы становимся убеждёнными милитаристами.

Сидящие рядом с нами красноармейцы сочувственно не замечают нашей жадности и по мере своих сил стараются подсунуть каждому из нас полную тарелку или новый кусок хлеба... Просить нас не приходится...

Сидящая против меня пожилая работница тихо обращается к красноармейцу, собирающему пустые тарелки:

– Сынок, а можно мне взять хлеба малость – детишкам отнести? Там вот на доске кусочки ещё остались.

– Бери, бери, мамаша, только чтоб не видели...

Он исчезает и через минуту просовывает женщине большой каравай белого хлеба.

– На, тётка, возьми вот ещё, – говорит он, опасливо озираясь по сторонам, – только заверни во что...

– Вот спасибо-то, сынок. Дай тебе Бог здоровья... – И, радостно улыбаясь, женщина заворачивает хлеб в головной платок... Сидящие рядом красноармейцы деликатно делают вид, что ничего не видят...

Она замечает, что я следил за этой сценкой, и наклоняется через стол.

– Право слово, тов. Солоневич, вы, может, не поверите, мой мальчик отродясь белого хлеба не едал... Всё щи, картошка да чёрный хлеб. Радости будет, как на Пасху!

В клубе

После обеда мы собираемся в красном уголке – большой комнате, увешанной портретами «вождей», лозунгами, диаграммами и картами. Стол завален газетами, журналами, шахматными досками, военными играми…

Разговор идёт обо всем: о политике, железке, быте, последних событиях, красноармейской учёбе... Но контакт советского населения с советской армией должен проходить по руслам партийных соизволений. Поэтому между кучками разговаривающих шныряют политруки, вмешиваются, руководят и подслушивают...

– Товарищи, – возвышает голос комиссар, и все смолкают... – Мы сегодня принимаем здесь наших дорогих гостей-пролетариев железной дороги – и демонстрируем этим свою спайку Красной армии и пролетариата... Но вот ещё недавно (молодые красноармейцы этого не помнят) здесь же, в этом доме, тогда называвшемся казармой, тоже жили солдаты проклятого царского времени... Вот пусть кто-нибудь из стариков-рабочих порасскажет нашей молодёжи, как жилось тогда, при царе... Может, кто есть здесь, кто был в царской армии?..

Из кучки гостей чьи-то руки выталкивают Стаканыча. Мельком я замечаю, что руки эти принадлежат парторгу района...

Стаканыч – один из старейших машинистов нашего депо, изъездивший сотни тысяч километров на своём стальном коне...

Низенький, кряжистый и седой, он как-то странно конфузится и всё старается юркнуть обратно в толпу рабочих... Но красноармейцы уже плотно окружают его и начинают уговаривать...

– Да расскажи-ка, дедушка... Да не ломайся... Ну-ка...

Комиссар полка берёт Стаканыча под руку и тащит к столу, на видное место...

– Ну вот и прекрасно, товарищи. Вот старик расскажет нам, как живой свидетель, про царскую армию...

Стаканыч смиряется.

– Да что ж, товарищи, могу я рассказать? – начинает он...– Разве вот в том весь интерес, что я как раз в царское время отбывал свою повинность в этой же самой казарме...

– В этой? Вишь ты!.. А ну-ка, ну-ка! – раздаются восклицания красноармейцев, и всё стихает.

– Да уж, прямо сказать, братцы, плохо тогда жилось... Помню, как брили нам лбы, так и плакали даже многие… А уж матери-то рёвом выли… Пьянка была несусветная… Почитай, всю казёнку выпили. Напоследок даже и стёкла там побили с досады, что водки больше нет… Ну, вот… заперли нас, значит, сюда – и пошло… Были мы все едино, как скот какой бессловесный. Какому фельдфебелю сапоги не так почистил, так он тебя голенищем по морде, по морде… «Я тебя выучу, – кричит, сукин сын, – начальство уважать!..» Ну, и кроет, и кроет… А то вот ещё – провинишься как-нибудь – честь не так отдашь какому старому генералу, с которого песочек сыпется… Вот и попал под ружьё на 12 часиков… И. стой при полной выкладке с винтом на открытом месте… А выкладка-то, братцы мои, 2 пуда пять фунтиков. Вот и стой, как обалдуй… А тут идёт себе какой офицерик с погончиками золотыми... Выспался, хрен моржовый, подвыпил и идет свою роту посмотреть… «Что не так стоишь, сукин сын, мать твою!?» – и раз в рыло... А отвернуться нельзя – Боже избави… В штрафную роту попадёшь, а оттеда выход только ногами вперёд… А он, офицерик-то, раз – с другой руки…Хорошо ещё, ежели кровь с себя пустишь, – тогда отстанет: не любили они своих белых перчаток кровью марать… Небось вечером – опять вечеринки, да танцы с девочками… Вот, братцы вы мои, как живали… Не приведи Бог…

– А кормили-то как? – спросил кто-то из красноармейцев.

– Кормили? – Хуже скота кормили… Чёрного хлеба и то не хватало. Мяса и не видывали. А то всё гнилое, попорченное… Солдат, говорили, не свинья, всё съест… Бывало привезут капусту, а там червяки белые такие так и ползают…

Нажим

Через несколько дней, возвращаясь домой от тупиков товарной станции, я встретил Стаканыча. Он шёл медленно, видимо, сильно устав, и нёс с собой какую-то корзинку.

– Здорово, Стаканыч! – окликнул я его. Старик испуганно вздрогнул и оглянулся. Увидев меня, он успокоено закивал головой.

– Здорово, здорово, герой… Кого это ты там обстреливал своей фотографией?

– Да никого, Стаканыч, ось лопнувшую снимал...

– Беда… – покрутил головой машинист. – Как это мы, машинисты, живыми до сих живём – Бог знает... Не иначе, как Микола, угодник святой, выручает…Слышь-ка, Солоневич, – пониженным тоном сказал он после минуты молчания, – пронеси-ка, брат, ты корзинку эту через станцию. . . Ежели спросят – скажи, что фотоматериалы какие: открывать нельзя – спортятся... Тебя знают – тебе легче…

– А что там? Почему вам нельзя?

– Да не то что нельзя, – поёжился старик. – У меня-то тоже, верно, не посмотрят, а всё на старости лет тяжело… Уголёк, братишка, там… С тендера взял. Надо же дома-то топить чем-нибудь… Не всёж заборы по ночам воровать!

– Ладно, Стаканыч, пронесём… Слушайте-ка, я вот о чём хотел вас спросить: что это вы там. у красноармейцев, врали насчёт царской армии? На что это вам нужно было?..

Старый машинист весело усмехнулся…

– На что? Эх, молод ты, брат, ещё, Солоневич. Мало жизни видал… Вот посуди сам: что мне делать-то было, как не врать?..Вызывают меня давеча в партком. «Тут, Стаканыч, говорят, – скоро праздник Красной армии будет… Ты тоже в гости пойдёшь, как старый пролетарий… Пошамаешь кстати... Ну вот, а апосля обеда, – говорят, – порасскажешь молодым солдатам что-нибудь про царское времечко… А что и как рассказать – это ты сам уж знаешь… Ты, – говорят, – уже не маленький»... И смотрит это так в глаза, сукин сын!

– А вы, значит, и решили такие небылицы плести?

– Ну а что мне, браток, делать-то было?.. Вот ты посуди сам: скоро мобилизация железняков на Приморскую и Уссурийскую дорогу… А кого посылать-то будут? Не лучших же – самим надобны... А тех, кто похуже, да и кто не потрафил начальству… А у меня-то какой выход? Ежели не совру, первым же эшелоном поезжай к чёртовой матери на лёгком катере… А у меня семья, домик махонькой… Что ж мне делать-то? Такая уж планида... Все врут, ну и я вру... Так оно всё и выходит... Оно, конечно, кривдой весь свет пройдёшь, да назад не воротишься... Это верно, конечно... А пока в нашей жизни так оно и выходит. Всё на обмане идёт, а не мне, старику, против рожна лезть... И покрепче нас были, да что...

И Стаканыч устало махнул рукой...

«Чёртова служба»

«Прямо по мишеням… Десятью патронами... Девяносто секунд... Лёжа... Заряжай!..»

Шеренга наших стрелков зашевелилась. Быстрым движением руки скользнули в ременные петли, тела мигом распластались на земле, и дробь выстрелов малокалиберных винтовок застучала в тире.

Первым отстрелялся длинный, костлявый Ильинский, «потомственный почётный пролетарий», когда-то красногвардеец, а теперь рядовой слесарь депо. Он осторожно отложил в сторону винтовку и, не поднимаясь, критическим взором оглядел свою соседку.

Комсомолка Паша, обтирщица паровозов, сосредоточенно и старательно достреливала свои последние патроны, невольно гримасничая и по-детски выпячивая губы.

После свистка-отбоя Ильинский ласково шлёпнул Пашу по спине.

– Ишь, стрельчиха какая! – усмехнулся он, поднимаясь. – А ведь поди ж, верно, очков за 60 всё-таки выстукала!..

– А что ж, дядя? – расплылась Паша в улыбке. – Поживу с твоё – и больше ста выбью...

– Ишь ты, занозистая какая... Поперёд батьки в пекло... Ну-ну. Пойдём поглядим, что ты там наплевала в мишень-то... А, кстати, Солоневич, – обернулся старик ко мне, – чтой-то стрелков наших нету?

«Стрелками» у нас, на железке, называли чинов военизированной охраны, набиравшейся из демобилизованных красноармейцев и охранявших перроны, склады и пути. Постоянных участников наших стрелковых тренировок Закушняка и Янгюльского, действительно, не было.

– Да чёрт их знает... Обещали быть...

Ильинский, видимо, сильно уставший на работе и голодный, сердито заворчал:

– Снайперы тоже!.. Этак мы и состязание продуем. Тута всем, как один, нужно. Шутка сказать – «Динамо»! Не сапогом, небось, сморкаются...

Недовольство его было понятным. Сравнительно недавно мы выиграли два стрелковых состязания по боевой винтовке у красноармейцев и теперь готовились к ответственному и серьёзному состязанию с орловским обществом «Динамо» при ГПУ. И отсутствие постоянных наших стрелков на тренировке нервировало старика, фанатика стрелкового дела.

Мне нечего было ответить Ильинскому, ибо причин отсутствия охранников я не знал. К моему удивлению, Паша, снимая ремень с руки и любовно оглаживая свою кокетливо жёлтую винтовку, беззаботно отозвалась:

– Не дрейфь, дядя Ильинский... Никакого состязания вовсе и не будет...

– Это почему такое?

– А потому – динамовцам теперь не до состязаний!

– И что это ты брешешь, Пашка? И откудова тебе знать? От горшка два вершка – а поди как знает всё...

Паша лукаво усмехнулась.

– Да ты не фырчи, Ильинский... Значит, знаю, если говорю.

– Да ты не тяни кота за хвост, Пашка. Говори толком, коли знаешь.

Комсомолка искоса опасливо оглянулась на стоявшего в стороне инструктора Осоавиахима Александрова, типичного партийного активиста, и, понизив голос, ответила:

– А забастовки помнишь?

Недавние забастовки нескольких заводов из-за снятия со снабжения членов семей помнили мы все. Забастовки эти были сейчас же прекращены самими рабочими, по-

лучившими сейчас же полное удовлетворение своих требований.

– Помню... Ну так что?

– Ну и ну... Доковыриваются до зачинщиков... Теперь пойдут вылавливать кого нужно...

Ильинский нахмурился и промолчал, задумчиво наворачивая тряпку на шомпол.

– Ну и что? – спросил он уже тихим голосом.

– Да ничего... Сам понимаешь, небось... Не маленький! Мобилизация всех сил. Теперь им не до стрельб... малокалиберных... Другие стрельбы пойдут...

К нам подходил Александров. Все замолкли, и старик-слесарь со злобой нажал на неподдававшийся шомпол.

* * *

Вечером я позвонил в штаб ВОХР'а. Там пошли узнать, и через минуту дежурный по штабу ответил:

– Ничего, товарищ Солоневич, нельзя сделать. Уж придётся вам обойтиться пока без наших стрелков. Этые дни есть специальная работа оперативного характера.

О подробностях я, конечно, не спрашивал.

* * *

В последние недели от вокзала по городу растекались одиночками и группами оборванные, худые, истощенные фигуры украинских крестьян, приехавших со своих черноземных полей сюда за хлебом. Они ходили по улицам, стучали в окна и просили: «Хоть шматочек хлиба». И эти «шматочки» давали. Я не видел случая, чтобы такого крестьянина отогнали от окна. Давали не от излишков своих: отрывали от своего полуголодного пайка то картошку, то луковку, то горсть крупы, то корочку хлеба. Было страшно и трога-

тельно видеть худые участливые лица рабочих, хмуро расспрашивающих крестьян о жизни украинских сёл. И этот кусок хлеба казался не подаянием, а братской помощью. Члены «четвертого интернационала» (гимн «четвёртого интернационала» звучит так: «Я голодный!») проявляли свою солидарность...

Те из крестьян, у кого уже не было сил ходить по дворам и улицам, пробирались к мусорным ящикам и оттуда выгребали пищевые отбросы. Эти обессилевшие люди назывались среди коренного населения города полным больной иронии термином – «санитарная комиссия». И обычно члены этих «санитарных комиссий», добравшись до далёкого от изобилия советского мусорного ящика, уже не отходили от него живыми. Отвыкшие от пищи желудки не выдерживали качества советских объедков и отбросов.

И их тела-скелеты обычно по нескольку дней лежали по дворам, пока не являлась подвода и не увозила их в братскую яму. Из человеческих костей строился «фундамент здания социализма»...

Постоянно мотаясь по всему узлу и городу, я успел втихомолку сделать несколько снимков с этих страшных картин. Снимки эти были с нами во время второго побега.

Мы не успели переправить их вовремя за границу, и так как, с точки зрения ГПУ, такие снимки были абсолютно достаточным материалом для расстрела, то во время побега они были помещены в самом безопасном месте.

Этим местом считался у нас задний карман Юриных трусиков – не брюк, а трусиков.

«Пока-де там что – меня будут обыскивать последним. На крайний случай я даже съем их»,– уверенно говорил Юра, когда мы обсуждали возможности провала.

Мы не учли одного, что после ареста нас могут заковать в ручные кандалы. И я видел потом, как бледен был Юра, когда наручники связали кисти его рук и он не мог добраться до заднего кармана...

Но, когда нас по ленинградским улицам везли на Шпалерную в ДПЗ, он улыбался.

– Олл райт, – коротко ответил он на тихий вопрос о снимках.

Уже потом, когда мы после приговора сидели в пересыльной тюрьме, Юра сообщил, как ценой мучительного напряжения и выворачивания рук всё же ухитрился достать эти снимки из кармана и опустить их...

– Куда? В уборную?

Похудевшее, осунувшееся лицо Юры, такое странное без обычной взлохмаченной копны чёрных волос, осклабилось.

– В уборную? Ну нет... Какой-нибудь путевой сторож найдёт, и что дальше? Сдаст по начальству. И там долго ли догадаться? Я их засунул за окно вагона – туда, где будут опущены вторые, зимние, рамы. Выцарапай-ка их оттуда!..

Так роковой вагон № 13 и до сих по ездит с этими фотографиями трупов украинских мужиков, около 6 миллионов которых погибло во время очередного советского голода 1933 года...

За зиму 1932 – 33 г. и весну 1933 г. – на Украине умерло от голода и болезней, связанных с недоеданием, от 5 до 6 миллионов людей. Цифры взяты по данным Комитета д-ра Амменде из Вены.

Такие картины, сотнями и тысячами прошедшие перед глазами каждого из людей, бывших в СССР, лучше всех рассуждений и доказательств выметают из души все оттенки примиренчества и оборончества...

Мы можем простить смерти в бою, но этих миллионов смертей – мы простить и забыть не имеем права...

Пока будет существовать большевизм, будут и такие картины.

Умершие от голода мальчики. Фотографии сделаны одним из немецких специалистов, проезжавшим весной 1933 г. по сёлам Украины.

* * *

Немного дней спустя, когда выяснилось, что действительно состязания откладываются, ибо ГПУ занято арестами «бунтовщиков», я был послан на станцию Куракино для фотосъёмки какого-то изобретения путевого сторожа. Изобретение оказалось пустяковым: палка, на которой прикреплён механизм, скользящий по рельсе. Путевой сторож идёт, а молоточки ударяют по рельсе. И если где-нибудь в рельсе есть трещина, сторож по звуку должен это узнать. Как узнать – это оставалось секретом. То ли объяснить циркуляром, какой звук должен быть у здоровой и какой у больной рельсы, то ли устраивать специальные курсы для распознавания этого звука...

Скоро на станцию пришёл товарно-пассажирский поезд, тот самый «максимка», с медлительностью которого

связано столько юмористических рассказов и неприличных анекдотов.

Был яркий, почти летний день. Поезд должен был стоять 12 минут; платформа наполнилась ободранным советским людом из вагонов 4-го класса. Кипятку не было, и станционный кран был мигом облеплен чёрной толпой жаждущих.

Из здания вокзала вышел патруль охраны и зашагал к головному вагону. В числе стрелков патруля я узнал Закушняка и Ямпольского.

– Куда это, ребята? Кого ловите?

Закушняк, стройный молодой парень из провинциальных рабочих, как-то передёрнул плечами.

– Да вот, на облаве...

– Ну, я вижу... А на кого?..

– Да вот бегунков, которые на Москву прутся, вылавливаем.

Патруль прошёл вперёд. Незаметно для них я пошёл сзади.

Дойдя до переднего вагона, стрелки разделились. Трое вошли в вагон, а остальные разместились по сторонам. Через несколько минут из вагона была высажена какая-то семья: старуха, крепкая, кряжистая, с каким-то восковым, пергаментным лицом, молодой крестьянин и двое ребятишек 7 – 8 лет. Не обращая внимания на их жалобы и мольбы и на посыпавшиеся со всех сторон вопросы, патруль повёл задержанных в станционный сарай, где один из патрульных и остался на страже.

Потом остальные стрелки так же медленно, молчаливо и мрачно пошли в следующий вагон.

К моменту отправления поезда вагона три-четыре было «очищено» от крестьян. Зная, что через полчаса вслед за «максимкой» идет скорый, я решил остаться, что-

бы посмотреть, что будет со снятыми с поезда крестьянами.

В станционном сарае после отхода поезда выловленных оказалось человек двенадцать. В их числе были две женщины и трое ребятишек. Измождённые, оборванные и молчаливые, они понуро сидели на цементе, и, видимо, ничто уже не могло вывести их из отупения.

Через несколько минут подошёл уполномоченный ДТОГПУ*.

Он тоже молча оглядел крестьян и отрывисто спросил:

– Откуда?

Старуха медленно подняла голову:

– С пид Золотоноши, сыночку...

– А какого чёрта сюда притопали?

Старуха удивлённо подняла голову, с плохо скрытым недоброжелательством посмотрела на откормленное лицо чекиста и тихо ответила:

– А куды ж податься?.. Хиба ж так умираты, як скотина? Мабудь, вси вже поумиралы в сели... Мы и пиихалы хлиба шукаты...

– От дура!.. Да разве ж здесь хлеба больше?..

– А я знаю? – устало и тихо ответила старуха, опять уронив голову. – Нам вже всё равно…

Крестьянин помоложе обратился к уполномоченному, и в его голосе прозвучала нотка надежды.

куда хотите, только на поезд не цепляйтесь.

– Так куда ж нам итти? – удивлённо спросила старуха.

– А може, нас в турму загонять?

– Ну, вот ещё!.. Возиться, да кормить вас! Идите.

– А моё какое дело?.. На все четыре стороны. Ну, пойдём пока, товарищи, – сказал он стрелкам, и все вышли.

---

*Дорожно-транспортный отдел ОГПУ

Закушняк задержался и, выходя последним, сунул старухе два рубля.

– Спасибо, сыночек... А може, хлиб е?

– Уж не знаю, бабушка. Ежели достану – принесу...

– Сыночек, сыночек, – с внезапным припадком отчаяния вскрикнула старуха, судорожно схватив его за полу шинели. – Куды ж нам податься?

– Да вот, идите в деревню... Вот там, версты с две, деревня есть... Может, там покормят...

И, осторожно высвободив край шинели из костлявых пальцев старухи, стрелок торопливо вышел из сарая.

Несколько шагов мы шли молча.

– Слушай, Закушняк, в самом деле, куда ж им деться?

Стрелок повернул ко мне своё искажённое мучительной усмешкой лицо.

– Куда? А я знаю?.. Тут все деревни, почитай, переполнены. Самим есть-то почти ни хрена нет. Куда ж кормить?.. Может, что и дадут, только навряд что...

– А чего в тюрьму словно просились?

– Да вот, видишь, при ихней жизни им и тюрьма вроде дома кажется. После украинских сел всё раем будет. Думают, паёк им давать будут... Разве ж они знают, что в тюрьмах деется? Да потом, разве ж тюрем да пайков хватит на такую голодную ораву? Эх, да и так все, почитай, можно считать, в тюрьме сидим... А мы вот, видишь, вроде как тюремщики. Чёртова служба!

Он торопливо пожал мне руку и, со злобой перекинув винтовку через плечо, исчез в дверях станции.

К перрону, блестя зеркальными стёклами вагона-ресторана, подходил скорый поезд.

Чистка мозгов

Поздно вечером в окно моей комнатки осторожно постучались.

– Кто там? Заходи со двора...

В темноте за окном маячили две фигуры. Глухо донеслось:

– Выйди-ка на минутку, товарищ Солоневич.

На улице стояли двое военных. В одном из них я узнал Морозова, помкомбата железнодорожной охраны. Другой, тоже военный, был не знаком.

– У тебя, Солоневич, никого нет?

– Нет... Один.

– А можно к тебе залезть на часок?

– Ну, ну... Вали…

Дома при тусклом свете коптилочки Морозов представил мне своего товарища:

– Карпов... Политрук нашего артполка (фамилии вымышлены).

Худощавый молодой политрук, видимо, был очень смущён. Он нервно мял в руках какой-то сверток и не знал, с чего начать.

Морозов, бывалый парень, красный партизан, постоянный мой сотоварищ по стрелковым тренировкам, взял сразу быка за рога:

– Мы, вишь, Солоневич, к тебе пришли... так сказать, по политическому делу... Ну, а чтоб веселей было, литровочку и закусон притащили. Колесо немазаное не вертится, так что ж говорить про разговор-то?.. А мы к тебе с душевными разговорами...

Минут через 10 полбутылки было высосано, и Морозов, сделав серьезный вид, приступил:

– Ну, ладно... Пришли мы к тебе, Солоневич, чтоб ты нам объяснил – что это за хреновина в городе происходит.

Вопрос был не из простых. Весной 1933 года у нас, в Орле, резко ухудшилось продовольственное положение, и со снабжения сперва сняли пенсионеров, потом членов семей служащих и, наконец, членов семей рабочих. И тогда началась волна забастовок. Стали заводы: чугунолитейный, машино-строительный, маслодельный. Забастовка охватила до 10000 рабочих. Требования были просты – дайте хлеба семьям...

Я рассказал про всё это.

Внимательные лица моих гостей хмурились всё больше.

– Да, такие вот слухи и шли… Да ничего толком не было известно, – тихо сказал политрук. – Знали только, что волнения...

– Да разве вам, политсоставу, не сообщили, в чём дело?

– Куда там.. Просто все части были объявлены на военном положении... Все отпуска побоку, двери на запор ...

– Так чем же вам объяснили всё это?

Загорелое лицо Морозова насмешливо ухмыльнулось:

– Объяснили? Как же, держи карман шире. Они объяснят… Просто «в ружье» – и всё тут... Видно, боялись, что одного ГПУ не хватит. Тогда бы нас взяли.

– А вы бы пошли?

– Иди ты к чёртовой матери, Солоневич, с такими вопросами. Выпей лучше да расскажи дальше... Мы ведь к тебе как к интеллигентному человеку пришли – по-хорошему... Ты уж лучше сам расскажи, а не нас спрашивай... Да не дрейфь – мы не сволочи... За Карпова, – он качнул головой в сторону понурившегося политрука, – я не только головой, а и чем другим, что подороже, ручаюсь...

– Но как же это вышло? – задумчиво спросил Карпов. – Ведь в прошлом году рекорд был… 6 миллиардов 200 миллионов тонн зерна собрали... Переплюнули все ранние рекорды. И в мирное время до этого не долезали. Как же так? Неужто врали?

Я пожал плечами, а Морозов фыркнул:

– От видишь сам, Солоневич, какие ещё сосунки водятся... Я-то уж хоть не политик, а в советские газеты давно не верю. Не зря ведь говорят: «Врёт, как «Правда»»... А этот хрен моржовый, видишь сам, всем сказкам верит... Шесть миллиардов... Как же... Разевай рот поширше...

– Постой, Морозыч... Не валяй дурака... Давай умного человека послушаем... Вы уж, т. Солоневич, не серчайте. Объясните толком, попроще, в чём тут дело?.. Верьте слову – как на луне живем. Вот что в городе делается – и то толком не знаем... Красноармейцу одно объясняешь по инструкции, а у самого в голове путаница и каша. Оно как будто так, а в жизни выходит что-то не так. Как всё спокойно – так и ПУР * выходит, прав... А как чуть что – так всё в голове и смешалось. Что к чему – и не разберешь... Я знаю – вы у нас за подозрительного идёте. Да вот Морозыч ручается за вас – свой, говорит, парень. Так, может, вам всё это яснее?.. А?

– Крой, Солоневич, Бога нет... – подбодрил Морозов, уже немного захмелевший. – Будь, как поп на исповеди, для этого полит сосунка. Разжуй ему да положи в рот... Да вот стаканом водки залей. Крути, Гаврила, ей-Богу, свои люди... Ну, «пли»...

Поздно вечером, уходя, поддерживаемый крепкой рукой Морозова, политрук говорил:

– Ну, спасибо, тов. Солоневич, спасибо... А то вот чуется, что что-то тут не то, а никак не поймёшь... Заморачивают голову... И не бойтесь, не выдадим. Может, как ещё завернём... Мозги прочистить... Ох и дуреют же мозги от всего этого!.. Как в тумане бродим...

Фигуры «командиров Рабоче-Крестьянской Красной Армии» скрылись в темноте...

---

*Полит.Управление Кр. Армии

«Партейная панихида»

Как-то ранним утром я со своей фотопушкой за спиной делал очередной обход депо. Темы для снимков были в изобилии: то лучшая, то худшая паровозная бригада, то какой-нибудь особо любопытный случай поломки, то красочная картина электросварки, то новый изобретатель или рационализатор, то какой-нибудь сверх ударник, фото-снимок которого через месяц будет фигурировать на чёрной доске, словом, для моей световой газеты тем находилось множество.

Проходя по огромному полукругу депо, в одном из стойл я заметил у паровоза кучку суетящихся рабочих. Кто-то из них увидел меня и поманил к себе.

Громадный товарный паровоз серии «Э – у» стоял в среднем ремонте. Крышки золотниковых коробок были сняты, и, видимо, предстоял процесс надевания на поршни вместо сработанных новых золотниковых колец.

Момент был ответственный. Поршневая бригада, суетясь, в последний раз примеривала блестящие чугунные кольца и явно волновалась. Хозяин паровоза, крепкий низкорослый машинист Волков, с напряжённым, злым лицом поддерживал шток. В кучке наблюдающих был и весь треугольник депо*.

– Ну как, деда, начинать, что ль? – спросил наконец бригадир, обтирая замасленные руки о штаны. – Ведь примеряй, не примеряй – всё едино раз в петлю лезть.

– Ладно, – согласился начальник депо, старый, седоусый машинист Чернявский. – Раз погибать, два раза жить... С Богом, Нилыч!..

---

*Советский производственный треугольник – это коллегия управления: представители администрации, партии и профсоюза. Такие треугольники имеются даже в двигающихся поездах

Нилыч, худой старый рабочий, стал со своим помощником, осторожно разгибая кольцо, надевать его на поршень. Медленно, медленно надвигалась блестящая полоска на почти полуметровый по диаметру поршень. Все замерли. Тараканьи усы Волкова как-то ощерились ещё больше, и весь он застыл в неудобной позе, поддерживая шток поршня и не спуская глаз с двигающегося к пазам кольца. В тишине слышалось только натужное пыхтенье бригадира и его помощника.

Внезапно в этой тишине раздался какой-то звенящий звук, похожий на звук раздавливаемого стекла, и в руках рабочих остались две половинки кольца.

Молчание продолжалось ещё секунду, которой я воспользовался для снимка.

Потом Волков шумно вздохнул и крепко обматерился:

– Вот сукины дети, тра-та-та... Опять! Который раз!

Начальник депо покрутил головой и повернулся ко мне.

– Это ты, Солоневич, подходяще снял. Пошли срочно, браток, этот снимок в «Гудок». Пусть их там, стервецов, пропечатают хорошенько.

– А кто тут провинился?

– Да вот десятый день бьёмся, чтобы паршивые 6 золотниковых колец надеть. Четыре надели кой-как, а два – хоть бы штык! Как надевать – хрясь, и ваших нет... Начинай сначала... А паровоз стоит, как на свадьбе. С такой работушкой весь график* к чёртовой матери окончательно слезет.

– График, график! – раздраженно вскрикнул Волков. – Хрен мне с ним, графиком-то вашим. У меня вот моя машина стоит. Шутки сказать – десятый день под таким хреновым ремонтом. А кто мне покилометровые платить будет? Илья-пророк, что ли?

– Не кирпичись, не кирпичись, Волкыч! Не тебе одному все это в печенках сидит.

---

*Порядок движения поездов

Я стал расспрашивать. Оказалось, что московский завод имени Войкова посылает в депо болванки из специального мягкого чугуна для выточки поршневых колец. Из болванок нарезаются круги, которые потом на токарном станке превращаются в кольца. На всю эту процедуру по выделке одного кольца уходит от 6 до 8 часов. И потом – при надевании этих колец на поршни – кольца лопаются.

– А почему?

На мой вопрос Волков сплюнул и ворчливо обматерился опять. Ответил токарь, протачивавший это кольцо:

– Да оченно просто – металл некондиционный. То ли сплав неправильный, то ли раковины внутри есть. Хто его знает, а только вот не меньше, как 75 процентов, браку...

Волков был в состоянии, близком к ярости.

– Продукция, мать их!.. Этой бы болванкой да этих бы болванов по чугунным черепам. Вот и налаживай после этого транспорт. Составы на путях травой зарастают, сердешные... Тьфу, дьявольщина!..

– Ну, ну, ничего, Волкыч,– примирительно заметил парторг депо. – Мы сверхурочно ещё пару сгрохаем. Авось влезут. Слышь, Петруха, может, ещё с какой новой болванки можно нарезать?

Токарь развел руками:

– Да скудова взять-то другую? Болванок царского времени давно уже не осталось. А энти все под один манер. Сверху оно как быдто и ничего, а потом оно вот хрясь – и напополам. Чисто стекло... И восемь часов работы как корове под хвост...

– Дерьмо советское! – проворчал Волков, с размаху бросив под колесо кусок пакли и смачно сплюнув на осколки колец. – Америку догнать захотели... На сивках, что ль?..

В эту минуту к нему подбежала девочка и взволнованно стала что-то шептать ему на ухо.

– Неужто? – обеспокоенно переспросил Волков и молча, не попрощавшись ни с кем, зашагал к выходу.

– Ишь как взъерепенился Волкыч-то наш! – усмехнулся в седые усы начальник депо. – Прямо страх!

– А и то... Что же, простой его по карману во как бьет... Шутки сказать, десятые сутки... А у него, кажись, отец-то при смерти...

– Да-а-а-а... Жаль старикана,– меланхолично заметил Чернявский. – Подходящий дед был... Сколько годов вместе ездили... А может, ещё и выживет – семейка у них крепкая, не чета чугуну-то этому...

– Где уж тыг вытянуть! – скептически махнул рукой токарь, подбирая осколки кольца.– Старикану под 80, да тута воспаление лёгких. А питание известно какое – черный хлебушко да картошка... Это когда-то птичье молоко да коровьи яйца жрали, оно и вытягали... А теперя старикам дорога известная – на погост без пересадки...

* * *

Дня через два, вернувшись из поездки по линии, я нашёл у себя дома записочку:

«Тов. Солоневич. Приди-ка, пожалуйста, покойника снять. Хочу памятку иметь. Волков».

Я переменил пластинки и поспешил по указанному адресу. Маленький, одноэтажный домик Волкова, выстроенный его отцом, был окружён людьми. Готовился вынос гроба. Я стал с трудом протискиваться в комнату и с удивлением услышал доносившееся оттуда церковное пение. Когда я уже почти добрался сквозь толпу до порога, старческий голос священника произнес:

– И сотвори ему вечную память...

Все стали опускаться на колени и подпевать хору.

– Идеже несть... – раздался за моей спиной хрипловатый густой голос. Я оглянулся. С задумчивым лицом, держа в руках тоненькую восковую свечку, стоял на коленях предмест-

кома Михаленко, старый красногвардеец и член партии, и тихо выводил:

– Ни-и-и-и воздыха-а-ания... Но-о-о жизнь бесконечная...

* * *

На следующий день ко мне вбежал белобрысый комсомолец Селивёрстов, секретарь нашей железнодорожной газеты «Рельсы Гудят».

– Здорово, Солоневич. Ты, кажись, снимал вчерась похороны?

– Какие похороны?

– Да Волковского старика-то?

– Снимал.

– Да, да, мне сказали. Там, кажись, и поп снимался у гроба, и Волков со свечкой.

– Я-то покойника снимал, а кто там дальше стоял – не помню...

– Ну, всё едино. – Дай-ка нам, браток, в редакцию эту фоту.

– Да зачем вам покойник вдруг понадобился?

– Да хрен с ним, с покойником-то. Мы самого Волкова раскатать хочем за его панихиду. А с фотой оно не в пример эффектнее будет...

– Да я фотографии уже Волкову отдал!

Круглое лицо комсомольца разочарованно вытянулось.

– Как же так?.. Ведь вчерась только дело было!

– Да у меня, брат, быстро...

– Так-то оно так... Большевицкие темпы... Но, может, хотя стекло осталось? Может, ещё одну копию сгрохаешь? Ей-Богу, сам парторг района звонил...

– А на кой чёрт мне стекло от покойника? Я всё Волкову отдал. Что ж ты, дурья твоя голова, вчера не сказал... Теперь у Волкова негатив достань – тогда отпечатаю...

– Ну как же, – разочарованно протянул Селивёрстов, даст он!.. Держи карман шире... Дурака тоже нашли... И как это я всамделе не догадался тебе вчерась сказать?.. Экая незадача...

* * *

Утром наша «Рельсы Гудят» вышла с заголовком:

«Во власти религиозного дурмана».

«Вчера, – писала газетка, – машинист депо Орел 1 т. Волков опозорил звание члена партии, похоронив своего отца, старого пролетария, тоже члена партии, по церковному обряду. Отказавшись от торжественных гражданских похорон с оркестром клуба, Волков предпочёл омрачить последние часы прощания старых товарищей с покойным завываниями и заклинаниями попа и церковными песнопениями о вечной жизни...

Стыд и позор пролетарию, на 17-м году победы марксизма над церковным мракобесием идущему на поводу у представителей культа.

Райпрофсожу следует обратить внимание на проникновение в среду рабочих церковного влияния, а парторгу района – вывести соответствующие выводы из поступка члена партии.

Аллилуйщикам не место в рядах коммунистической партии».

* * *

Через несколько дней меня вызвали на съёмку работ по исправлению уклона у станции Стишь. Засняв всё, что полагалось, я вернулся на станцию и стал поджидать очередного поезда, чтобы отправиться обратно в Орёл. Первым попавшимся поездом оказался товарный. Когда я уже лез на тормозную площадку, кто-то окликнул меня:

– Эй, Солоневич! Сыпь сюда, – кричал человек, высунувшись из правого окна паровоза.– Сигай сюда. Теплей будет...

Кричал Волков. Я с удовольствием забрался на паровоз, и мы поехали. На паровозе кроме Волкова и меня оказался только кочегар, молодой комсомолец, стрелок нашей осоавиахимовской команды.

– Ага, знакомы? – довольно заметил Волков, не отрываясь от рычагов, когда услышал наши приветствия.

– Своя, значит, компания?.. Это хорошо!.. По крайности, потолкуем по душам...

Когда мы выехали за семафор, Волков оторвался от лицезрения монометра и одобрительно похлопал меня по плечу:

– А это ты, Солоневич, правильно сделал, что мою фотографию не дал в «Рельсы Гудят»...

– А кто вам сказал?

– Дык ко мне каких-то шкетов прислали – фабзауч*, – мол, просит, чтобы на память об образцовом старом машинисте осталось. В альбом... Ну, я и удивился. Чтой-то при жизни – нуль внимания, а теперь... «Какую, – спрашиваю, – фотографию?» «Да ту, – говорят, – что вам фотограф дал». «Так мне она самому нужна! Идите к нему, ежели вам так нужна».

А шкет мой путается. «Дык он сказал, что вам и стекло уже отдал...»

Тут я и смекнул, что дело нечисто, что ты тут на тормозах что-то ведешь... Погнал я их. А наутро – глянькось – взгрели меня в газете. Вот я и догадался, что они у тебя замок поцеловали и ни хрена не получили...

– Но из партии вас-то ведь выставили? Я постановление читал...

---

*ФЗУ – фабзауч – школа фабрично-заводского ученичества, профессионально-ремесленная школа при производстве

– Ну, на это мне, браток, наплевать... Моё дело – вот составы возить по-хорошему. А партейная книжка, так она этим только молокососам да общественникам нужна, которые без книжки никуда... Да ты не серчай, Петька,– обернулся он к кочегару, приостановившему свою работу лопатой. – Я не про то, что ты – сукин сын. Только тебе ведь без комсомольского билета никуда ходу нет. Не век же уголь шуровать...

– Да это уж что и говорить. Я вот на рабфак хочу податься!

– Ну, вот видишь, Солоневич, – обрадовался Волков. – Тут, брат, живот говорит, а не душа. А мне что ж? Таких машинистов, не вря говорю, с огнём поискать... Царского производства...

Мы подъезжали к большому спуску перед Орлом. Волков с озабоченным лицом стал давать гудки для торможения и с беспокойством высовывался то в одно, то в другое окно.

– Чёрт его знает! – ворчал он. – Эти пустые составы – смерть одна!

– Почему это?

– Да вот, хрен их знает, составителей, как они его сляпали. А может, где пара гружёных вагонов в хвосте сидит?

– Ну так что?

– Что?.. Да так, браток, крушения-то и бывают. Видишь, какой спуск-то извилистый... Я-то вот торможу, но ведь до автотормозов, чтобы каждый вагон сам по себе тормозил, мы не скоро доживём. Вот и выходит – паровоз идёт с тормозом. Вагоны легкие, а сзади тяжелые поднапирают. Вот на спуске и повороте эти гружёные вагоны и выпихнут из середки какую-нибудь пустышку. Вот те и крушение. А разве на кондукторскую бригаду да на ихние ручные тормоза можно надеяться?

– Так что же вы можете сделать?

– Вот в этом-то, брат, и наше искусство, чтобы так вести и так тормозить, чтобы напряжение и инерции, и тормозов было ровным и постоянным. Этого мне никакая партейная книжка не даст...

Когда мы миновали спуск, Волков просиял:

– Ну вот, благодаря Богу, и съехали. Хотел бы я посмотреть, как наркомпуть наш хреновый съехал бы или даже парторг... Тоже понаставили начальников. А нам, настоящим железнякам, чхать на партейную книжку. Мы и сами с усами. Мы своё дело делаем, а не языки чешем. Всё едино без нас не обойтись... Уж там будет, али не будет мировая революция, выйдет что с социализма али нет – это всё хреновина. Потому машинисты, которые настоящие, а не по партбилету, всё равно нужны. А ежели вышибли – ну и чёрт с ними... Мне мороки меньше. Смерть не люблю по заседаниям ходить!

– Так почему же вы в партию поступили?

– Да чёрт его знает. Привязались уж сильно! Старый пролетарий, мол. Дай пример молодым. Оно, положим, и верно – рабочая масса, пролетариат... советская власть. Только не лежит что-то сердце.

Волков покосился на комсомольца и выглянул в окно.

– Да вот ещё, товарищ Волков, о чем я вас хотел спросить: зачем вы, коммунист, пригласили священника на похороны?

Волков с заметным смущением потёр небритую щетину подбородка.

– Да чёрт его знает... Как-то оно... знаешь, словно как-то голо выходит человека просто в яму сбросить. Словно бы как собаку. А так с попом – оно как-то душевней. А ведь хороший старик у меня был. Не то чтобы религиозный, тоже член партии, а всё-таки, как помирал, исповедывался, все честь честью... Спокойно, мирно помер, Царствие ему небесное...

Волков снял шапку и перекрестился. К моему удивлению, Петька-кочегар последовал его примеру.

– Ну, конечно, опять же бабы очень уж выли на счёт попа-то. И верно, оно как-то благообразнее вышло. А то живёшь вот, как воробей на навозе: клюнул, облегчился и спать. День и ночь – сутки прочь. А о душе, браток, некогда подумать. А без души – волчья жизнь. Вот веришь, Солоневич, старый я

человек, и воевал я много, много кровушки и горя видал на своём веку. Сердце вроде как кремень должно было быть. А вот запели «вечную память», так в душе и защипало. Даже слёзы, признаться, полезли, и на душе легче стало. Хрен его знает, а может, и в самом деле вечная жизнь есть. Оно, как подумаешь об этом, так легче и эту собачью жизнь переносить.

Внезапно под усами Волкова мелькнула усмешка.

– А не заметил, как другие партейцы себя вели? Потом, конечное дело, измывались, сукины дети, – «партейная панихида». А на панихиде-то этой самой словно дети были, тихенько так стояли, как на Пасху малые в церкви. Нет, браток, под партейной шкурой да билетом ещё многое есть, что и не снится никому. А насчёт билета, чхать я на него хочу. В кармане он у меня, а не в душе.

Старый машинист потянулся за рычагом свистка, и мощный трубный звук пронёсся над нами. Вдали белело громадное здание вокзала.

* * *

Через два месяца, под предлогом перевыполнения плана перевозок, Волков был восстановлен в правах члена коммунистической партии.

На двух ступеньках

Григорий Иванович

В одном из очерков я уже описывал жизнь моего соседа – слесаря депо Григория Ивановича Котова. Жизнь эта была невесёлой. На заработную плату прожить не было возможности, и я не раз видывал, как мой сосед возвращался из города то с водопроводной трубой, то с инстру-

ментами, то с каким-нибудь позеленевшим старым примусом.

– Что, Григорий Иванович, подрабатываете?– как – то спросил я его.

Утомлённое небритое лицо слесаря осветилось чуть виноватой усмешкой.

– Да что ж делать-то? Надо ж как-то семью кормить?

– А не боитесь, что накроют? Ведь время-то служебное!

– Ништо... Всякой же понимает. Наша вся бригада, почитай, так и работает: две трети на работе, а треть на «отхожем промысле». Иначе как же прожить? А бригадиру мы кое-что подбрасываем из своего приработка. Вот все как-то и крутимся, как ... щепки в проруби. Одно слово – советская жизнь...

– А много подрабатываете, если не секрет?

Григорий Иванович пожал плечами.

– Ну какой же секрет? А когда как. Ежели подвернётся работёнка – и два, и три целкача в день. Только так – редко. А то вот завсегда какой-либо ремонт – знаете сами, дома расползаются. Там смотришь – водопровод, там электричество, а то машину швейную, то примуса... Мало – ли что?.. А то вот недавно (слесарь усмехнулся) зубодёрную машину исправлял... И где, спросите? В тюрьме...

– Своих мастеров там не нашлось?

– А шут их разберёт... Похоже, что так. Оно и верно – наша железка к себе всех лучших рабочих позабирала. Как у нас ни плохо, а всё лучше, как в других местах. У нас хоть паёк регулярно идёт. Пока не выгнали, знаешь, кажинный день кусок хлеба иметь будешь. А на других заводах да мастерских и того, бывает, нет. Так, пояс подтянут и втыкают голодными...

– Так что, вы специалист по всем отраслям?

– Приходится. Мне, ежели б сказали теперь дамские часики чинить, я бы взялся.

– Справились бы?

Слесарь лукаво подмигнул.

– Да ежели б в старое время – ни хрена не вышло бы. А теперя мы такие спецы, что страсть. И паровозы, и часики – всё справим. Когда в животе заурчит от голодухи, так такой умный делаешься, что просто страх... Ребята с Тулы рассказывали, что у них там на каком-то заводе немцы выписанные работали. А может, перебежчики – кто их знает – дураков, видать, и в загранице ещё подходяще есть. Так прямо, говорили, смех один! Как что машина ли станет, материалов ли каких нет, или ещё что – ну, так они и сели маком. И никуда податься не могут. А наши русские, чёрт их знает, то ли проволочкой что подвяжут, то где-нибудь что сопрут, то подменят – оно, смотришь, работа и шевелится.

– Не пропадают ребята?

Григорий Иванович самоуверенно тряхнул головой.

– Ну, вот ещё – «пропадать»! Нам, товарищ Солоневич, пропадать не резон. Нация у нас ядрёная – её голыми руками не возьмёшь. Даже советской властью пополам не перешибёшь. Косточка такая внутри есть – насчёт выкручивания.

Тёплое чувство гордости за этого простого человека, даже в условиях своей голодной, нищенской жизни не потерявшего веры в свой народ, охватило моё сердце.

– Так, значит, все мы выкрутимся, Григорий Иванович?

– А то как же?.. Уж хуже, кажись, быть не может. Значит, Бог даст, будет лучше... А насчёт нашего пролетариату бояться, ей-Богу, нечего. Гвозди – не ребята – стали. Блоху на золотые подковки поставят, чёрта в ступе придумают-дай только малость вздохнуть...

Лицо слесаря омрачилось.

– Оно, конечное дело, теперя шибко тяжело. Но ведь не век же кабаку быть. Настанут и хорошие времена. Поглядите хоть на Ольгу Иванну. Восемьдесят годочков с гаком отстукала старушенция, а до советских времён голода да горюшка и не знала. Так что ж? «Они» хотят нам голову задурить, что прежде плохо было? Так что ж, мне вот – а я слесарь не плохой – мне что ж, примуса под полой чинить да гайки с депо воровать? Это что ль – порядок? Я вот теперя втыкаю по 12, по 14 часов в сутки, чтоб только-только хлеба заработать. Да дай ты мне такой порядок, как в старину был, так я теперя с моей изворотливостью чудеса наделаю. Оно, конечно, тов. Солоневич, вы вот человек образованный – так и то вынуждены дураков всяких снимать. Разве-ж это для вас работа? Так вот и все: все не на своих полочках стоят, да и работать как следует никому неохота. А ведь дай только толку да хорошего хозяина – так вся наша шатия такого наворочает, что Европам жарко будет. Поумнел народ, это что и говорить. И пропадать нам никак не приходится... Как это говорится, за битого двух небитых дают... Так и теперя – за нашего советского полдюжины каких французей свободно брать можно. Что они, суки моржовые, знают об настоящей жизни? Да пусти нас теперя к настоящей работе – так мы им не то что сто, да, почитай, и тысячу очков вперёд дадим и обставим, как миленьких. Дай только нам команду хорошую, да чтоб люди наши на своих местах стояли. А пропадать – это уж, извините, не на таковских напали. Оно, конечно, тяжело теперь – что и говорить, да самое главное уже, кажись, переболели. Дураки, почитай, все перемёрли, а умные даже чёрта не боятся, не то что нашей «рабочей власти».

В голосе слесаря прозвучали нотки презрительной уверенности.

«Доклад Правительства»

Через несколько дней по узлу были развешены плакаты о приезде «Члена Советского Правительства Н. А. Семашко для отчётного доклада перед собранием рабочих узла».

Собрание было назначено в большом зале клуба – длинном, мрачном здании, обитом листами старой жести, за что это здание и получило прозвище «Броневик»... В этом «Броневике» насчитывалось в «порядке селёдочного уплотнения» до 1000 мест. А в узле было около 10000 рабочих и служащих. Поэтому и командирование слушателей на «отчётное собрание» было произведено по всем правилам советской техники: от каждого месткома мастерских и бригад были «выдвинуты» небольшие группы своих людей, которым негласно вменялось в обязанность не задавать вопросов и принимать самое деятельное участие в овациях.

Всем назначенным лицам были выданы специальные билеты, и без них никто попасть в зал не мог.

Как читатели, конечно, предугадывают, я и без билета очутился в «Броневике» и со своей фотопушкой занимал одну из «командных высот» невдалеке от трибуны.

Речи советских вождей вообще тем характерны, что их почти невозможно запомнить. Они составляются по такому надоевшему трафарету, что в каждой из них уже давно нет индивидуальных чёрточек, остающихся в памяти.

Семашко, помню, говорил о небывалых победах социализма, об успехах советской дипломатии, о росте коммунизма во всём мире, о крепнущих симпатиях пролетариев всего мира к единственному отечеству всех трудящихся – к СССР, о росте обороноспособности страны, о небывалом расцвете благосостояния трудящихся, стонавших раньше под пятой проклятого царского режима, о нежной

заботе о пролетариате гениального и лучезарного вождя, о мощи и всеведении карающего меча пролетариата – ОГПУ, о высоко вздымающихся волнах соцсоревнования и ударничества, ну и прочее, и прочее.

Первые ряды, состоявшие из председателей месткомов и самого «активного актива», прерывали речь Семашко, словно по команде, аплодисментами, которые послушно подхватывал зал. Оратор победоносно и удовлетворённо оглядывал слушателей и продолжал убеждать собравшихся, что все они живут в самой счастливой стране строящегося социализма. Всё шло, словом, по всем правилам «советского демократизма».

После доклада были заданы заранее подготовленные «вопросы с мест», потом выступило 5– 6 ораторов, восхвалявших заботу советской власти о рабочем классе, были высказаны кое-какие пожелания по второстепенным вопросам, и «отчётный доклад правительства» был благополучно закончен.

Бывший нарком

На следующий день я навёл возможный блеск на свою наружность и пошёл к Семашко. Его вагон стоял на запасных путях, и с обеих его сторон дежурили стрелки железнодорожной охраны с винтовками.

– Кати мимо, Солоневич, – предупредил один из них меня, когда я направился к вагону. – Сюда нельзя.

– Да я как раз от «Рельсы Гудят» и направлен Семашко снять!

– От «Рельсов»? Ну, ну, не знаю... Постой-ка, брат, я спрошу.

Стрелок легонько ударил прикладом в дверь. Оттуда высунулась голова какого-то молодого парня с пронзительными глазами.

– Что надо?

– Да вот наш фотограф из газеты к Семашко пришёл.

Начались препирательства. Пускать меня не хотели. Я заявил, что газета не может пустить отчёт о докладе без фотографии Семашко и что если здесь, в вагоне, они имеют эту фотографию, то я могу отступиться и не требовать свидания с докладчиком.

Моя ставка выгорела. Фотографии у них не оказалось, и я был допущен пред светлые очи «самого».

Нужно сказать, что Семашко уже несколько лет тому назад был снят с поста Наркомздрава и переброшен Заместителем Председателя Осоавиахима (Эйдемана, ныне расстрелянного за шпионаж). Почему собственно Семашко очутился в вождях ОАХ и почему он выступил как представитель правительства, остаётся загадкой советского кабака.

Итак, я был введён в салон, перекинулся незначительными фразами с Семашко и сфотографировал его под пристальным наблюдением каких-то двух чрезвычайно чекистски пахнущих молодых людей.

Когда официальная часть закончилась, я рискнул перейти к личным темам.

– Кстати, Николай Александрович, вы меня лично не узнаёте?

Все насторожились. Семашко вгляделся в меня и покачал головой.

– А ведь лет 6 – 7 тому назад я не раз бывал у вас с докладами.

Обрюзглое лицо Семашко немного оживилось.

– А по какому случаю?

– Да вы тогда были наркомом (щека Семашко дёрнулась), а я – инспектором флота. Тогда вы мне, как главному судье Всесоюзных состязаний по боксу, давали директивы насчёт врачебного контроля... Не помните?

– Что-то смутно...

– А тогда ещё как раз на научно-методической конференции поднялся вопрос о нокаутах в боксе*, и целый скандал вышел. Вы тогда и сказали мне: «Возьмите вы, тов. Солоневич, комиссию врачей и выясните этот вопрос раз и навсегда, а то мне тут покою не дают с этим боксом – буржуазное, мол, зверство»...

Лицо Семашко оживлялось всё больше. Он смотрел на меня и, очевидно, вспоминал времена своей власти.

– Да, да, верно. Врачебная комиссия тогда ещё полностью реабилитировала бокс... Помню, помню... Что-то десятка два нокаутов было у вас там... Самый длительный что-то больше 3 минут. И никаких вредных последствий... Вспоминаю... А вы, значит, Солоневич? Что-то потом, кажется, с вами случилось...

– Да, маленькая неприятность... Поехал на Соловки.

Лицо Семашко опять как-то словно застыло в недоверчивой сдержанности. В это время вмешались «секретари».

– Разрешите, тов. Солоневич, считать интервью законченным. Для личных разговоров у тов. Семашко времени нет.

Когда я прощался с бывшим наркомом, мне показалось, что под его седыми щетинистыми усами мелькает сочувственно-ироническая усмешка.

Поворот пресса

Через несколько дней «Гудок» и «Рельсы Гудят» запестрели свирепыми заголовками:

«Ударим по разгильдяям красного транспорта»,

---

*Бессознательное состояние после удара, длящееся больше 10 секунд

«Вычистим железной метлой из наших рядов прогульщиков и лодырей»,

«Высоко держать знамя краснознаменной Курской дороги! Выше темпы работы! Выше производительность труда!»

Дальше был опубликован новый закон о прогульщиках. По этому закону рабочий, опоздавший на несколько минут на работу, терял половину дневного заработка, а не вышедший по неуважительной причине на работу увольнялся со службы с отнятием продовольственной карточки, лишением казённой квартиры и отметкой в трудовом списке.

Закон был чрезвычайно суровым, и в первые дни лицо Григория Ивановича было весьма мрачным.

– Ну, как теперь с приработками? – спросил я его, когда мы с ним как-то столкнулись в калитке нашего дома.

Слесари депо Орёл. Чтение газеты с группарторгом, 30-е гг.

– С приработками? – угрюмо переспросил он.– Да хуже быть не может. Прижмали, что и говорить. Некуда теперь податься. Все волками смотрят, кто на кого первый донесёт. Службу-то потерять – это хрен ветер, хорошего слесаря везде примут. Но вот карточки да трудсписок – это уже хужей...

– Так как же теперь на ваши 75 рублей жить будете?

Слесарь задумчиво покачал головой.

– Да что ж. Пока там что – подтянем пояс. Но это только ведь на первое время-то. Пока закон новый. Обойдём и его. Разве ж на таких дурацких законах можно жизнь настоящую строить? Этак только путать да портить жизнь можно. На это советская власть – спец. Ну, конечно, первое время кое-кому попадёт. Да только ведь, ежели все подработкой занимаются, так кто же за исполнением законов следить-то будет? Извернёмся, т. Солоневич... Не так страшен советский чёрт, как его малюют. Французик какой уже в гробу был бы, да с живота у него лопух бы рос. А нам ништо – и это обвернём. Найдём дорогу кругом. Жизнь своё возьмет...

Советская изворотливость

Как-то недели через две моя старушка Ольга Ивановна с сокрушённым видом доложила мне, что мой примус перестал работать.

Беспокойство хозяйки и моё было обоснованным. В советском раю примус – это основное оборудование каждого семейного и холостого хозяйства. При перенаселённости жилплощади, при беспорядочности советской жизни примус – это спаситель и утешение, превращающее картошку, воду и селёдку в суп, мясо с душком – в жаркое,

кипятящее подозрительную воду и даже согревающее комнату. Немудрено, что Ольга Ивановна забеспокоилась.

– Ну что ж... Попросите Григория Ивановича. Он у нас на все руки мастер. Починит мигом...

Успокоенная старушка зашлёпала к соседу.

Слесарь оказался дома и пришёл ко мне с руками, замазанными в масле и ржавчине.

– Что это вы, Григорий Иванович, не на работе? Выходной сегодня?

Рабочий ухмыльнулся.

– Не то чтобы выходной, а вроде как выходной. Моя очередь на приработок.

– Как это очередь?

– Да вот, помните закон-то наш новый о прогульщиках? Ну, так вот мы и надумали обойти его стороной. Потому как каждому надо что-то на стороне приработать, мы и установили очередь: в нашей бригаде кроме своего выходного каждый имеет ещё один день. А остальные покрывают.

– А попасться не боитесь?

– Да все же – как один! И бригадир тоже, ему честно процент даём: ему отлучиться никуда нельзя. А насчёт остальных – плёвое дело – отбрехаться. Бригадир скажет при проверке: послал, мол, такого-то в инструментальную за какими-то лекалами – и всё тут... Пойди укуси... А нам – опять жизнь есть. Сегодня вот в парикмахерской машинки точил; денег у них не было, так зав мне старые ботинки для дочки дал; вот, глядишь, Анечка и в школу потопать сможет...

– Здорово!..

Слесарь, заматывая асбестовой лентой трубку примуса, насмешливо поднял брови.

– Уж ежели мы на семнадцатом году такой власти не научимся выкручиваться, так уж лучше прямо в гроб ложиться да крышкой прикрываться – клади, мол, нас в землю, потому тут мы не жильцы... Жалко вот, что меня на Семашку не пустили, я бы задал пару вопросов.

– А почему не пустили?

– Ну, вот ещё! Сами, небось, не без понятия, т. Солоневич, какая там публика нужна. Резолюцию-то ведь надо единогласно принимать. А такие ребята, как я, могли бы что и напортить. Да оно и хорошо, что я не попал, может, скипидар в заду взыгрался бы, ну, и сам себе, и им напортил бы. Им-то что? Всё едино не словами управляется советская страна – другие для этого вещи есть. А мне был бы каюк – за зад и в конверт. Ну их!.. А то сказал бы я орателю этому: «А ну-ка, товарищ Семашко! Вы, кажись, ещё в мирное время против царского правительства бомбы бросали. Скажете: для блага пролетариата! Ну так поглядите, мол, как я теперя живу. Что, так живал рабочий народ в то, как это вы говорите, «проклятое время»? Что? Скоро будет лучше? Будя арапа заправлять! Такие слова уже, почитай, скоро 20 лет слышим. А что толку? Уж признались бы откровенно, дурака, мол, сваляли, и надо отбой давать.

Слесарь с сожалением покрутил головой.

– Оно бы хорошо отбой дать... Только куда же им-то отбой этот поворачивать? Кашу-то, может, и не так трудно было заварить – дураками были мы тогда... А теперя расхлебать трудненько будет... Но, Бог даст, расхлебаем и без ихней помощи. Ведь, ей-Богу же, товарищ Солоневич, до чего же народ поумнел! Сила! Дай нам теперя хозяин, да порядок – пальца в рот больше никто не положит!..

«Интузиасты в два лица»

Большой день

«Сегодня в 20 часов в клубе имени Коминтерна состоится экстренное собрание паровозных бригад узла. Явка обязательна».

Такое объявление появилось на первой странице нашей газетки «Рельсы Гудят» и аршинными буквами закричало с плаката на привокзальной площади.

Наш завклуб в этот день был в явно взволнованном состоянии. Он то сидел в канцелярии и по телефону согласовывал какие-то вопросы, то бегал по клубу и торопил изготовление плакатов, лозунгов и «оформление» зала.

Увидев меня, он озабоченно бросил:

Ты, Солоневич, тоже приведи свою пушку в боевое состояние. Работы будет много. Президиум заснять сможешь?

– Магния нет.

– Ах, чёрт побери!.. Как же так?..

– Да магния только в Москве по блату достать можно... Устрой мне туда командировочку – достану. А то вот, видишь сам, когда нужно – осечка.

– Ладно, ладно... Я скажу в Райпрофсоже. Но сегодня ты всё-таки засними, хоть как-нибудь!

– А электричество будет?

– Обещали после 9. Как скорые на Москву пройдут – тогда на станции накал уменьшат и нам в клуб свет дадут. А ты уж там постарайся... Сегодня – большой день. Наш второй район вверх полезет.

– А в чём дело?

Покорский довольно погладил свою бороду.

– Сурприз... Не велено говорить до поры до времени...

Вызов на соцсоревнование

К 8 часам маленький зал нашего клуба был переполнен. При тусклом свете полдюжины керосиновых ламп везде видны были усталые, небритые лица машинистов, помощников и кочегаров в своей замасленной «прозодежде».

На сцене, освещённой более ярко, стоял большой стол, прикрытый красной материей, и наверху белыми буквами по красному фону шли слова лозунгов:

«Профсоюзы – школа коммунизма».

«Социалистическое соревнование – путь к победе над буржуазией».

«Лучшие пролетарии узла – становитесь на путь ударничества».

«Не отдадим первенства дороги другому району»...

Наконец прозвенел звонок, и на сцену вышел Покорский.

– Внимание, товарищи! Для ведения настоящего собрания прошу выбрать президиум. Правление клуба предлагает от парткома – тов. Курчатова, от Райпрофсожа – тов. Голованова, от клуба – тов. Покорского, от месткома парбригад* – тов. Волкова, от «Рельсов» – тов. Селивёрстова... Пять человек – как, товарищи, довольно?

– Довольно, довольно, – загудел зал.

– Значит, против пяти человек нет возражений?.. Какие имеются добавления?..

– Да что там!.. Сойдёт!.. Довольно канителить... – донеслись голоса.

– Так нет, товарищи, возражений? Голосую: кто за принятие списка в целом?

Внизу поднялся лес рук...

– Ладно, значит, можно считать, единогласно.. Товарищи, прошу занять места.

---

*Паровозных бригад

Из зала стали подниматься на сцену вызванные члены президиума. Низенький весельчак, парторг Курчатов, сразу без всякого стеснения взялся за колокольчик и самоизбрался председателем. Он перекинулся несколькими словами с сидящими рядом и решительно поднялся.

– Итак, товарищи, позвольте считать собрание ударников парбригад узла открытым. В повестке дня: доклад тов. Корнеичева о вызове на соцсоревнование других районов дороги и текучее*. Возражений нет?.. Слово для доклада предоставляется Корнеичеву. Вали, Клим!

Из-за кулис показалась высокая, худая фигура машиниста одного из наших товарных паровозов, ещё молодого парня, который был известен в узле как человек, успешно продвигающийся к высотам власти.

Докладчик медленно подошёл к трибуне, неуверенно откашлялся и начал.

– Товарищи... Потому как наш, значит, второй район ещё в прошлом годе выиграл переходящее знамя дороги, то мы, конечное дело, значит, должны во что бы то ни стало удержать его при себе, в нашем районе. Это мы могём сделать, только работая по-большевицки, по указаниям нашего дорогого и любимого вождя тов. Сталина. Наше социалистическое строительство под его, значит, гениальным руководством идёт, товарищи, от победы к победе. Мы на нашем участке этого великого соцстроительства, на железке тоже, значит, должны дать все силы для нашей общей победы. Мы должны показать новые методы работы, чтобы утереть нос всяким там другим районам...

В зале раздались смех и аплодисменты. Подбодренный Корнеичев продолжал более смело:

– Да, конечное дело, товарищи, мы не должны успокаиваться на достигнутых победах и показать новые формы труда. Потому вот я от имени месткома парбрига предлагаю вы-

---

*Текущие дела

звать все остальные дороги нашей Курочки на соцсоревнование по лучшему обслуживанию паровозов. На наших товарных паровозах сыздавна, товарищи, ездили бригады по три человека. Это было ещё тогда, когда наши железки были в распоряжении эксплоататорского царского правительства. А теперя, значит, когда дороги перешли во владение рабочего классу, мы должны показать всему миру, товарищи, что для себя рабочий класс работает в сколько-то раз лучше. Поэтому мы и предлагаем, чтобы машина обслуживалась только двумя людьми, а освободившиеся были переброшены на ремонт.

– Мы должны, товарищи, показать, что ежели при гнусной эксплоатации всяких там буржуев и помещиков мы работали по трое на паровозе, то теперя, в советской стране, при социализме, мы могём работать лучше -потому что работаем для самих себя, товарищи...

Такая расстановка сил даст большую экономию в человеческой силе, и опять же мы будем инициаторами новой формы соцтруда. Этое наше новое нововведение бессомненно будет учтено в Управлении дороги и даст нам славу первого района на всей Курочке...

Корнеичев вытер вспотевший лоб и под жидкие аплодисменты отошёл от кафедры.

– Слово для предложения имеет секретарь комсомольской ячейки парбригад товарищ Малов.

Низенький крепыш, курносый, смешливый Малов сразу «взял быка за рога»:

– Чтоб зря, товарищи, тута не трепаться, предлагаю: доклад тов. Корнеичева одобрить и сейчас же объявить запись бригад, желающих ездить в два лица. Со своей стороны комсомольская ячейка парбригад выделяет из себя следующие бригады в два лица: Коротенюк, Власов, Жилявский...

Малов перечислил десятка два фамилий и с самым победоносным видом сошёл с трибуны.

Опять поднялся Курнатов.

– Ну что ж, товарищи. Дело ясное. Ячейки парбригад уже одобрили предложение Корнеичева... Будем преть, что ли? Или просто объявим запись бригад? А?

Комсомольцы-активисты заголосили.

– Чего там преть?.. Ясно и так... Запись!..

Ни один из старых машинистов не выступил с возражениями, и через полчаса три четверти всех бригад оказались записанными в новый список под названием «Интузиасты в два лица».

Увековечивание

Когда шла запись бригад, внезапно вспыхнул электрический свет, и у стола президиума сгруппировались для фотоснимка ударники-машинисты.

Одного из них заставили склониться у стола с пером в руках над бумагой, и я, установив фотоаппарат, приготовился снимать.

– Слышь, Солоневич, а долго так придётся стоять? – с ноткой испуга спросил машинист.

– Да минутки полторы.

– Ах, мать моя родная! Так я же не выдержу!..

– Ничего, ничего, Пахомыч, – хлопнул его по спине парторг.– Выдержишь как-нибудь. А вы, молодёжь, ежели кто заржёт, вот попомните меня, пропечатаю в «Рельсах» за недисциплинированность.

– Ну, вали, Солоневич... Ребята, делай умные лица и не шевелись.

После конца заседания Покорений оставил полдюжины лучших, уже ранее премированных машинистов для индивидуальных съёмок. В их числе оказался и мой приятель Стаканыч. Поздно вечером мы с ним возвращались домой вместе. Я попросил у него объяснить смысл происшедшего.

Старик с раздражением махнул рукой.

– Да просто вот: «цыплёнки тоже хочут жить».

Карьеру, сукины сыны, делают. Ты не машинист, да и то должен же понять, что ежели в царское время три человека только-только управлялись, так теперь шесть надо поставить.

– Разве ж с такой машиной, как наши «Э», вдвоём управиться? Белены они объелись. Ты, верно, заметил – никто из опытных машинистов ни слова в защиту не сказал…

– А почему же вы молчали?

– А что ж тут сделаешь? Уж ежели парторг да ячейки решили – так разве им наперекор пойдёшь? Сомнут! Саботаж пришьют. Ну и молчим, и записываемся...

– Так что же из этого выйдет?

– Что выйдет? Да ни черта хорошего... Вот увидишь... Только машины понапортят... Но зато эти вот активисты карьеру сделают. Глядишь – и фотографии в газетах, и договоры, и речи. Словом – «соцстроители»... Как это по-научному называется: «новаторы», что ль? Эх... Завернем разве ко мне, Борис? У меня там литровочка стоит в запасе. Дёрнем с горя за скорейший упокой души таких хозяев!

Процент

У нас, в Орловском депо, числилось 72 паровоза, из которых часть постоянно стояла в ремонте. Я не знаю нормы ремонтирующихся машин в мирное время, но помню, что в Орле в период 1932 – 33 года этот процент обычно колебался между 19 и 23. Пробеги паровозов были до Курска – на юг, и до Скуратова – на север, около 180 километров в каждую сторону.

История, о которой я рассказываю, произошла приблизительно в марте 33 года, и в течение недели около 75 проц. бригад были охвачены «новыми формами соц-труда». Вместо машиниста, его помощника и кочегара на товарных паровозах стали ездить только по двое – машинист и кочегар. Этим «интузиастам» сейчас же выдали внеочередные пайки, снабжение и всяческие премиальные. Договор о соцсоревновании был

послан по всем районам, речи активистов были напечатаны в местных газетах и «Гудке», их фотографии запестрили на страницах, и, грешным делом должен признаться, что и я немало подработал на гонораре за эти фотосъёмки «интузиастов».

Через две недели процент паровозов, ставших в ремонт, стал неуклонно повышаться. Когда он дошёл до 27, забили тревогу. Начались ударники по ремонту паровозов. Депо превратилось в «прорывное место». Но с частью ремонта своими силами уже справиться было нельзя. Несколько машин послали в Москву в «капитальный ремонт». Но, несмотря на все усилия и нажим, процент больных паровозов неуклонно рос. Наконец он дошёл до цифры в 37 и стал срывать график движения. Бригады, прикреплённые к паровозам, днём и ночью сидели за ремонтом (ибо стоянка машин била их по карману), а бригады здоровых паровозов выбивались из сил, стремясь обслужить нормальное движение поездов пониженным количеством паровозов.

Наконец из Москвы пришла телеграмма: «Отменить езду в два лица». И всё вернулось на круги своя.

Большевицкая жизнь

Как-то на Первомайском параде Курнатов поманил меня к себе:

– Приди-ка, друже, пожалуйста, сегодня ко мне на дом. Заснять кое-что нужно. Свободен?

– Ладно. А что снимать-то?

– Да вот тёща окачурилась не вовремя... Тут работы невпроворот, а вот хорони её. Жена просит фотографию сделать. Так придёшь?..

Курнатов жил в небольшом казённом домике недалеко от товарной станции. Со своей семьёй – женой и двумя детьми – он помещался в двух небольших комнатках, что по советским масштабам считалось большой роскошью. Я помню,

как в 1926 году мне пришлось по делам службы быть у Начальника Морских Сил СССР Зофа, на Арбате; оказалось, что он занимал с семьёй в 9 человек квартиру из трех небольших комнат...

Встретила меня заплаканная маленькая женщина. Курнатова не было дома. Мы присели на скамеечку у дома и разговорились. Маленькая женщина сообщила, что сам Курнатов – кочегар Балтийского флота. Они были женаты с 1918 года. Потом несколько лет Курнатов перебрасывался с фронта на фронт, и жена не знала не только, где он, но даже и жив ли он. После конца Гражданской войны Курнатов с семьёй объездил всю Россию по нарядам партии и теперь вот полгода был парторгом района.

– А раньше он работал на железной дороге?

– Откуда?– словно удивилась его жена. – Да он где только не служил: и в Донбассе, и на Магнитке, и на Кубани… И на заводах, и в деревне, и на стройках, и в армии... Где только он не был...

– А вы все с ним вместе ездите?

Маленькая женщина устало вздохнула.

– Да что ж делать-то?.. Прямо как будто ветер нас гоняет, как перекати-поле. Покоя нигде нет. Больше полгода нигде не жили...

– Что разворковались? – раздался в это время весёлый голос Курнатова. Его маленькая, коренастая фигура показалась в калитке. Круглое курносое лицо приветливо улыбалось.

– А ты, Солоневич, видать, мастак по бабьей части. Душевные разговорчики умеешь заводить!.. Ну да ладно – это я так себе, шучу только... Ну, пойдём, пойдём.

В передней комнатке на стеле стоял гроб, просто и бедно убранный бумажными кружевами. Ни свечей, ни икон не было.

– По гражданскому обряду будете хоронить?

– Ну а как же иначе? – спокойно отозвался Курнатов.– Ведь ком-родственница...

Жена парторга тяжело вздохнула.

– Ну что, Маня, опять скулить будешь насчёт попа? Брось это! Никак нельзя... А ты вот что – вышибись, голубка, к чёртовой матери, пока там что. Мы с Солоневичем без тебя быстрее всё провернём...

Когда жена вышла, парторг облегчённо сказал:

– Беда с этими бабами! Сердце у них что сироп. Как что – так и тает... Ну, умерла старушка... Как это говорится – Бог прибрал... Все там будем... Хотя, пожалуй, что и не все… «Кому быть расстрелянному, тот не дома умрёт»... Ну, так как тебе удобнее стать будет?

Единственное окно давало очень мало света. Я с трудом расставил свой штатив и прицелился. Лицо покойницы было видно очень плохо.

– Так мы её повернём, – непринужденно сказал Курнатов. – Это дело поправимое.

Он подошёл к гробу и стал поднимать голову покойницы повыше.

– Так тебе удобнее?

– Видно-то лучше. Но не будете же вы держать голову руками во время снимка.

– И это дело тоже не страшное. Погоди минутку.

– Он принёс из соседней комнатки несколько толстых книг и стал подкладывать их под голову покойницы.

– Оно, конечно, тёща моя и во сне не видела, что когда-то на Ленине будет лежать...

– Почему на Ленине?

– Да вот, Собрание сочинений пригодилось...

Парторг бесцеремонно повернул туловище и голову покойницы и подложил под голову несколько томов.

– Ну, как теперь? Хорошо... Ну, снимай. Потом обратно в порядок положим... А ничего баба была, душевная... Ну да что ж – была, да вся вышла...

Опыт

После съёмки во дворе Курнатов угостил меня чаем с чёрным хлебом. Мы разговорились.

– Послушайте, товарищ Курнатов, что это вышло с этой самой «ездой в два лица»? Почему так бесславно всё это кончилось?

Беззаботное лицо парторга поморщилось.

– Да вот, на поверку вышло, что дурака сваляли ребята... Да разве ж кто тогда знал?

– Я говорил со старыми машинистами – они сразу сказали, что это чепуха и ни черта из этого, кроме плохого, не выйдет...

– Да вишь, Солоневич, старых слушать – это, браток, к каменному веку вернуться. Прогрессу не будет никакого. А мы ищем своих путей. После революции всё вверх тормашками перевернулось. Нужно новое выдумывать. Вот мы и пытаемся что сделать!

– А почему вы сразу, без проверки, поддержали все это дело?

– А мы, брат, ребята смелые... Делать, так делать... А мне лично откуда знать, как там и что? Разве ж я железняк? Топка да лопата – это моя специальность...

А тут – хрен его знает, как оно отзовётся. Без риска ни черта не идёт вперёд.

– Но ведь столько паровозов угробили!

– Ну и что ж... Вывезем, выкрутимся... Ничего, товарищ. Надо же опыта набирать. Пусть молодые учатся, как надо.

– И как не надо...

Курнатов весело усмехнулся.

– Ну, и как не надо... На то мы, браток, первый в мире опыт делаем. А без расходов ничего не делается. Так сказать, издержки революции... Научимся, ничего!.. Дороговато, правда, учёба обходится, но перед этим останавливаться тоже не приходится. На той революция...

«К позорному пролетарскому столбу»

Дело было давно... Когда я ещё по развёрстке совета физической культуры был закреплен за морским флотом и в должности инспектора физической культуры плавал в Чёрном море на одном из быстрейших крейсеров – «Коминтерне» – раньше «Память Меркурия» (постройки «времён Очакова и покоренья Крыма»).

В один из знойных дней конца лета, когда эскадра стояла на рейде Тендровской косы недалеко от Херсона и Николаева, сонно-размеренная жизнь военморов* была взволнована телеграммой Наморси**: «Выслать на военно-спортивные состязания УВО*** команду Флота». Приказано – и точка. Недели через две канлодка «Красный Аджаристан», сопровождаемая звуками оркестра и завистливыми взглядами остававшихся моряков, уходила с рейда на Николаев. На её палубе шумели и дурачились 40 загорелых здоровяков, ликующих перед перспективой поездки в Киев. В каше улыбавшихся лиц, белоснежных бескозырок и форменок этакими увальнями ходили массивные гиревики, сутулой гориллообразной походкой «топали» борцы, прямо и уверенно смотрели стрелки, косолапили футболисты, благодушно ухмылялись кряжистые гребцы, порывисто и нервно двигались легкоатлеты... «Всякой твари по паре» было на борту «Аджаристана»...

– Не выдавай, братишечки!.. Не подгадь!..– неслись издалека благопожелания остававшихся..

– Не дрейфь, ребята!.. Распластаем их в дым.. Уже насыпем крупе этой соли на хвост. – уверяли представители

---

*Военных моряков

**Начальник морских сил

***Украинского военного округа

морсилчерноазморей*. Начальником всей команды был партийный человечек крошечного роста, командир флотского экипажа Татаринов – раньше переплетчик, потом, в Гражданскую войну, комполка и ныне комсос (лицо командного состава) в ранге адмирала. Это был желчный полуграмотный человечек, с сухим лицом и тонкими губами. В его поведении странно сквозил фрейдовский «комплекс неполноценности»: он болезненно воспринимал все оттенки недостаточно почтительного к себе отношения, держался сухо и повелительно, старался быть среди здоровяков спортсменов надменным начальником и в общей веселой компании казался лицом другой породы. Его прозвали «наша татарка», но это прозвище было скорее презрительным, чем дружеским.

Его не любили. Когда в поезде он воспользовался своим правом высшего комсостава на место в вагоне второго класса и приходил проверить наш гудящий смехом и оживлением III-классный вагон, все как-то смолкало...

Через несколько дней мы были в Киеве и начали спортивный бой со всеми частями УВО. Разумеется, моряки легко выиграли и греблю, и плаванье. Хорошо прошла и стрельба. Но во всех остальных сухопутных видах спорта и военно-прикладных упражнений мы оказались, мягко выражаясь, не на первых местах. Несколько подправилась наша слава на футболе. Но тут-то как раз и разыгрался трагикомический инцидент, который, собственно, и является гвоздём этого очерка.

По счастью спортивной жеребьёвки нам выпало играть полуфинальный матч с самой сильной командой – 51-м Перекопским полком.

Бой был жестокий. Футболисты поймут напряжение матча, если я скажу, что я лично потерял в этом бою 2 килограмма – не крови, конечно, а веса (по официальным медицинским данным).

---

*Морских сил Черного и Азовского морей

Но бой мы всё-таки выиграли – 2:1. Назавтра предстоял финал с заведомо слабым противником. Все мы заранее торжествовали победу. Даже «наша татарка» выглядел именинником: так сказать, «мы пахали!»

Но вот тут-то и вышла заковыка. После матча к нам пришла депутация конфетной фабрики с просьбой прийти на их «банкет». Моряков в Киеве не видывали со времён гражданской войны, и, разумеется, вся «партийно-пролетарская общественность» нарасхват тащила нас на свои вечера. Я заупрямился – нам-де завтра финал играть, но «наша татарка» посмотрел на это приглашение с высоты «высшей политики» и «приказал».

Я был зол, но нужно честно сказать: мои футболисты направились на вечер с сияющими глазами, разгладив свои «клещи»». Известно было, что на конфетной фабрике работает несколько сот девушек, а эти перспективы для молодого парня, пробывшего на палубах кораблей, на морском воздухе и хорошей жратве несколько месяцев, имеют некоторые приятные стороны, намного перевешивающие интересы футбольного матча...

Словом, только часть игроков часа в 2 ночи мне удалось увести в казарму. Других найти не могли...

Короче говоря, проиграли мы матч... Половина игроков бегали, как сонные мухи, и видно было, что их «победоносные стремления» были исчерпаны где-то в другом месте...

«Татарка» рвал и метал. Его маленькое, сухое лицо искажалось от досады, и он вполголоса пускал «третий загиб» и обещал показать этим «жеребцам», где раки зимуют...

В минорно-философическом оживлении пустились мы в обратный путь, в котором к довершению беды выяснилось, что двое наших футболистов были награждены «встречей с родной сестрой»... «Ежели не повезёт»... как говорится среди мужчин...

Когда мы прибыли в Севастополь, наши «счастливцы» были немедленно списаны в венерологическое отделение моргоспиталя, а через неделю после приезда я увидел на дверях «Морклуба имени лейтенанта Шмидта» большой плакат:

«Показательный суд над моряками Табеевым и Лукиным»…

Прочитав этот плакат, я встревожился. Смешное романтическое злоключение ребят грозило перерасти в большое и неприятное политическое дело... Показательные суды Красной Армии – это, по идее, звено воспитательной системы. Разбирая особо характерные поступки против дисциплины или «коммунистической морали», эти суды обычно очень сурово, для примера, карают виновных.

Помню, зал был полон до отказа. На сцене сидели члены суда и «присяжные заседатели» – пятеро моряков-комсомольцев, а на местах для оркестра виднелись смущенные физиономии наших «преступников».

Настроение в зале было смешливым и бурным, и администрация с трудом держала массу моряков в рамках, приличествующих «судебному заседанию».

Суд был открыт вступительным словом комиссара флота Кара, сухого длинного человека кавказской наружности. Согнувшись наподобие скрипки над залом, он проскрипел несколько слов об общественном значении данного суда и передал слово обвинителю.

К нашему удивлению, обвинителем выступил сам Татаринов. Напряжённо и как-то озлобленно он начал:

«Товарищи!.. Преступление, которое вы здесь будете разбирать, – оно, товарищи, и оченно показательно, потому как наследие проклятого царского прошлого продолжает, товарищи, отравлять нас и сейчас. Вот этие товарищи, которые сидят там на скамье подсудимых, – так они забы-

Борис Солоневич.
Вторая половина 1930-х годов.

ли дисциплину красного, революционного, значит, моряка и ослабили наш флот».

«Опять же, товарищи, обвиняемые забыли, что ихнее здоровье – это не только ихнее, но и всего рабоче-крестьянского красного флота и что они не имеют никоторого права злоупотреблять им. А они, как видите, злоупотребили и сейчас ослабили наши ряды своей болезнью. Что футбол продули – это ещё пустяк, хотя опять же авторитет флота. А что, ежели бы вдруг грянула война и наше советское правительство вместе с нашей пролетарской коммунистической партией позвало бы нас на защиту завоеваний революции?»

«Что тогда?.. Этые вене... венерские больные сидели бы тогда в тёплой палате в то время, когда остальные проливали бы свою честную пролетарскую кровь за завоевания великого Октября?»...

«А потом, опять же, поступок обвиняемых должен быть осуждён и как не пролетарский, потому как случайные половые связи унижают достоинство пролетарской женщины»...

«Вот потому, товарищи, – закончил Татарка, – я обвиняю товарищей Табеева и Лукина, что они подорвали силу нашего рабоче-крестьянского красного флота и уронили до-

стоинство красных моряков, спутавшись с неизвестными женщинами, которые их пригласили, как дорогих гостей».

«Итак, товарищи, я требую пригвоздить виновных к позорному общественному пролетарскому столбу»...

Дело запахло серьёзным. Сквозь смешки зала почувствовалось беспокойство за наших ребят.

– А ещё и в самом деле что-нибудь впаяют, – сказал вполголоса сидевший рядом со мной центр-форвард Волков. – Чёрт же их знает! С них сдуру станется...

Очевидно, эта же мысль мелькнула у многих, ибо зал стал более серьёзен и внимателен.

Допрос свидетелей дал мало. Да, были на вечере, танцевали, кое-кто «потишма» выпил... Ну да, без флирта не обошлось... Сад у них там большой и «подходящий»... Да, сердце – не камень... Голод – не тётка...

Потом выступил «эксперт» – профессор венеролог Вентцель, худенький старикашка с седой козлиной бородкой. Он долго бубнил о гонококках, профилактике, лечении, научно обосновал необходимость полового воздержания (ребята зафыркали) и, наконец, неожиданно замолк, вытер лоб платком и сел.

– Слово предоставляется подсудимому Лукину, – возгласил Кара.

Лукин, тяжеловесный, массивный крепыш, мой товарищ по защите футбольных ворот, встал и немного растерянно оглянулся на зал.

– Да что ж мне сказать-то? – медленно начал он. – Ну что ж! Был грех, что тут скрывать! Но чтоб из-за этого судить – я не знаю... Разве ж я, скажем, нарочно заболел?.. Или, может, я ногу где сломаю или лёгкими заболею – так меня тоже судить будут?.. Я вот четыре года на флоте, а до сих пор ни разу не был под судом.– Даже выговора ни одного не было... Конечное дело, можете и судить, только я не знаю... – Он пожал своими широкими плечами и сел.

Табеев, живой загорелый парень, с какими-то долями татарской крови, затейник и смешняк, вскочил, как на пружинах. Его круглое лицо откровенно смеялось.

– Признаю себя виновным, – громко начал он, – и в том, что ослабил мощь нашего родного рабочее-крестьянского флота (он чуть утрировал пафос этих «татаркиных» слов, и улыбки сразу поползли по лицам), и в том, что уронил достоинство конфетчиц... Всё это было... Нечего тут откручиваться. Шила в мешке не утаишь... Может, у кого шила и нет вовсе (ядовитый взгляд в сторону «Татарки» и смех в зале), но у нас, видать... мешок, что ль, плохой...

Комиссар флота, он же председатель, остановил Табеева:

– Вы, товарищ Табеев, держитесь сути дела, а не шутите зря!..

– Так это же суть и есть! – невинно отозвался Табеев, и опять улыбки поползли по лицам. Даже сухое лицо Кара сморщилось в усмешке.

– Я про суть-то и говорю... Вот, может, товарищ профессор нам дал бы какое вспрыскивание против конфетчиц – дело было б лучше… А что насчет воздержания – оно ему, ясное дело, легко, но мы ведь молодые, не деревянные...

«Татарка» запротестовал. Опять выговор Табееву. Но серьёзное настроение в зале, созданное «Татаркой» и профессором, уже улетучилось. Шум, всплески смеха и шуток то и дело стали прерывать речь Табеева.

– Потом вот опять же насчёт достоинства, как говорил тов. Татаринов, – я, ей-Богу, ни сном, ни духом... Разве-ж я силком ухаживал? Что ж, ей пять лет было? Уж ежели она мне чайник прицепила – значит, баба бывалая была... Да потом, разве ж я один или вот с Лукиным грешил?.. Небось, многие согрешили, да счастливо... Может, вот тов. Татаринов и не грешил – а я знаю?..

(Опять строгий выговор).

– А вот ежели насчёт боевой способности, так это зря, – серьёзно продолжал подсудимый. – Заверяю суд своим честным комсомольским словом, чго, будь война, – мы аккурат в полутонге* доспринцевались бы... Так что...

Под общий хохот Кара прервал Табеева и лишил слова.

После нескольких заключительных слов комиссара, прослушанных без особого внимания, «суд» удалился на совещание и через пятнадцать минут вынес приговор:

«Две недели гауптвахты и принудительное лечение».

Чемпион БРИЗ-а

«Две большие заразницы»

В паровозном депо прозвучал обеденный гудок, и через пять минут узкий коридор перед кассой рабочей столовки был переполнен. Усталые, грязные рабочие спешили, толкались и ругались. Пёстрая, специфически советская, оборванная и голодная толпа выливалась из коридорчика в зал столовой и, спеша, рассаживалась за столами.

Так как наше депо было узловым и до некоторой степени «показательным», то и в столовых было как в «столицах» – обед брали не сами рабочие, а блюда разносили подавальщицы. И когда за столом набиралось шесть человек, подавальщица забирала талоны и минут через 15 – 20 приносила обед – сразу два блюда. На первое обычно варьировались щи и суп. На второе всегда подавалась ро-

*Броневое отделение корабля с орудиями

димая и всех и вся выручающая российская каша. Или всё меню выражалось в летучей советской фразе: «ячкаша и персуп»...

За столом я очутился в компании с четырьмя молодыми рабочими и стариком-машинистом со странной фамилией – Круг.

Когда подавальщица пошла за заказом, старик не спеша, поднялся и пошёл к буфетной стойке.

Молодые переглянулись.

– Кутит наш Митрич... – с оттенком зависти пробурчал какой-то белобрысый парень, из-под кепки которого светлой струйкой по грязному лбу стекал пот.

– На то и квалификация! – важно отозвался другой.

В это время старик вернулся к столу с куском колбасы в руке, вынул из кармана старый перочинный нож, годившийся по своим размерам для снимания шкуры со слона и для завинчивания всех винтов паровоза, и стал крошить колбасу на кусок газеты.

– Много дал? – коротко спросил сосед.

– Рупь, – так же коротко ответил машинист.

– Ишь ты!.. Хотя и конское, а всё, что ни говори, мясо...

– Жеребятина, а не подступишься...

Старик не ответил. Кусочки колбасы ровными кружками ложились на газету, и все молодые глаза не отрывались от кучки мяса.

– Да, хорошо тебе, Митрич!.. Ты вот двести целкачей выколачиваешь... Тебе можно и колбасу жрать... А нам вот, которые по 70– 80 бумажек еле-еле получают,– тут не раскрутишься на колбасу...

Старик молчал.

– А и верно, Митрич... Ты вот одинокий... Тебе рубля четыре в сутки прожрать – можно и сытым быть.

В голосе молодых был словно какой-то вызов. Старик медленно поднял голову и расправил свои полуседые, полурыжие усы.

– Двести? – с какой-то мягкой хрипотцой передразнил он... – Что вы понимаете, щенята, в том, что такое «двести»?.. Я и в мирное время двести получал... Настоящих двести. Так и домик себе сгрохал, семь детей в люди выпустил, в банке не одну тысячу имел и горюшка не знал... А покажь мне кто тогда эту вот колбасу – так я бы тому морду этой колбасой измызгал...

– Ишь какой гордый! – вызывающе откликнулся кто-то. – Так тебе кто и поверил... Будя врать-то!

Старик насмешливо и устало усмехнулся.

– Ну и не верь.– Дураки – оно всегда так: пока носом их во что не тыкнут, никогда не верят...

– Да ты не измывайся, дядя, над Колькой, – примирительно сказал паренёк постарше. – Но всё ж таки неужто тогда, в царское-то время, за двести целкачей так жили?

– А ты почитай что... литературу: хоть бы Толстого али Чехова – вот тебе и узнаешь.

– Это что – читать... Ты вот лучше расскажи сам!

– Ишь ты, расскажи да расскажи. Что я вам, докладчик с парткома?

– Ну а всё же: неужто за 200 рублей так жили?

Старик не без оттенка мечтательности качнул головой:

– Рубль, ребята, рублю рознь.

В это время принесли чашки с супом. Машинист вывалил туда нарезанную колбасу и стал есть. Кто-то из молодёжи, видимо, ещё не до конца понявший рассказ старика, внезапно спросил:

– А вот ты, Митрич, сказал, что у тебя в банке тысячи были. Где ж они теперь делись?

Машинист словно удивленно поднял голову, взглянул мельком на спрашивавшего и молча продолжал есть.

За нашей спиной уже стояли рабочие, ждавшие очереди на столик, и мы молча докончили свой обед.

Лучшие изобретатели

Недели через две после этого разговора меня вызвали снимать премированных изобретателей БРИЗ'а (бюро рабочего изобретательства). Председатель БРИЗ'а, маленький партиец, присланный к нам из Москвы, особенно суетился около Круга.

– Ты, брат фотограф, вот этого нам получше засними – в «Гудок» пойдёт.

Для фотоснимка Митрич прихорошился, подбрился, поправил свои усы типа «Люи каторз пятнадцатый» (напоминавшие мне по какой-то странной ассоциации усы мушкетера Портоса) и вообще навёл полный блеск на свою личность.

После съёмок пред-БРИЗ'а так же хлопотливо уговаривал меня:

– Только, пожалуйста, чтоб получше вышло!

– Что это – он у вас именинник?

– Да не в том дело... Голова у него золотая. Недавно вот изобрёл аппарат для протачивания бандажей на паровозных колёсах без разбора всей машины... Сколько экономии! Столько лет бились ещё с царского времени над этим делом, а он – бах! – и готово... А ведь не токарь, не техник, не инженер... Зо-о-о-о-лотая башка, – убеждённо закончил председатель. – Первую премию по дороге получил.

– А какую?

– Да, верно, не меньше, как тысячи полторы.

В обнимку с женой

Как-то ночью в окно комнаты моей хозяйки постучались. Кто-то неясно ответил на вопрос Ольги Ивановны.

– Ох, ты, Господи!.. Поспать не дадут... Вот наказание Божье с этими советскими делами... Борис Лукьяныч, а Борис Лукьяныч!

– Что там?..

– Партейный комиссар вас вызывает куда-то с аппаратом вашим...

Минут через десять я шёл к депо. Было, кажется, июньское новолуние. Всё было погружено в мягкую, бархатную тьму. Над слабо освещённым вокзалом и депо чудесно сияли звёзды, и мягкий, тёплый ветерок доносился с цветущих полей. Прелесть поэтической ночи унесла мою досаду за прерванный сон.

– Не знаете ли, в чем дело? – спросил я у своего проводника.

Тот хмыкнул.

– А кажись, смешное что-то. Не знаю точно. Но как в наряде сказали про Солоневича, так гогот такой пошёл, что аж свет чуть не потух...

В наряде, маленькой комнатке – распределителе машин и людей – сидели дежурные машинисты. Среди них был и маленький курносый парторг Курнатов.

– Ну, вот и «внутренний враг номер первый», – весело приветствовал он меня. – Чёртов порошок для ночных съёмок имеешь? Да? Ну, пойдем, товарищи. Только чур – тихо. Кто зашумит – ей-Богу, пропечатаю...

Мы тихонько, почти крадучись, вышли из депо и скоро подошли к чёрному громадному паровозу, казавшемуся колоссальным силуэтом на фоне осыпанного звёздами неба. Паровоз был под парами. Внутри что-то

шипело, и внизу под топкой виднелся слабый отблеск горящего пламени.

– Ты здеся, Порохов? – тихо спросил парторг.

– Здесь...

– Не проснулся?

– Кажись, и не шелохнулся... Как в обнимку с бабой своей!

– Ну, ставь свою пушку, Солоневич.

– А что снимать?

– Вот целься на этое вот колесо. Потом сам увидишь.

Я расставил аппарат и приготовил магний. Глаза скоро привыкли ко тьме, и я увидел, что под лесенкой паровоза, у самого колеса лежит человеческое тело. Изредка из тьмы доносился звучный уютный храп, и тогда мои спутники фыркали в кулак.

Наведя на фокус по зажжённой спичке, я запечатлел редкостную картину.

Лжеударники

На одном рабочем вечере шла моя световая газета с отделом «лжеударники». Мне было приказано приготовить диапозитивы с определённых фотографий, и председатель месткома паровозных бригад рассказывал о провинностях каждого лица, появившегося на экране.

Наконец, на полотне появилась и моя ночная фотография. На земле, у колеса паровоза, лежал машинист Круг. Рука его мирно и как-то нежно охватила обод колеса, и по счастливой случайности блаженная физиономия пьяного была видна особенно отчётливо.

Зал загрохотал от смеха. Докладчик начал свое «воспитательное слово» об убытках, наносимых социалистическому

хозяйству такими вот лжеударниками и пьяницами, но в зале всё время то и дело прокатывались заглушенные смешки.

«Для того, чтобы примерно наказать товарища Круга, – закончил докладчик, – приказом начальника депо Круг переведён в кочегары сроком на два месяца со строгим выговором в трудовом списке».

Когда в зале дали свет, я увидел, что в первом ряду сидит сам «виновник происшествия» и весело смеётся.

Внутренняя эмиграция

Как-то недели через две на узкой улочке нашего железнодорожного посёлка я встретил Круга.

– Иван Митрич, вы уж, пожалуйста, не сердитесь на меня, что я вас тогда так ядовито снял.

Заросшее седой щетиной лицо старика приветливо осклабилось.

– Да пустяки, Солоневич. Ежели партначальство нажмёт – так и не то снимешь... Тебе вот заработок, а мне – хрен ветер... Ты ничем не занят сейчас?

– Нет, вечер свободен.

– Ну, так айда ко мне водку пить. Ещё премиальные остались!

По дороге домой старик рассказал мне, что его произвели уже в помощники машиниста.

– Что это так скоро?

– Эх, Солоневич! Глаза бы мои не глядели на всё это! Бросил бы всё это к чёртовой матери, да вот к железке привык, сердце без неё щемит. В прошлый год пытался месяца два торчать в деревне – сын у меня там учителем, да не вынес. Там линия верстах в пяти проходит. Как хороший ветер – так гудки и слышатся. Ну, и не вытерпел...

– А как это вас с поста кочегара наверх переместили?

Старик опять усмехнулся.

– Да вот недели две ездил кочегаром в комсомольской бригаде. Ну, как кочегаром – так в пути я управляю. А как к станции подъезжать – так Гришка за рычаг берётся… Смех один. А повысили меня вот за что. Стояли мы под Скуратово. Пришла телеграмма – два вагона где-то оторвались и сюда прутся. А пути все заняты. Куда их принять? Ну, паника, конечное дело. Вот я и вызвался навстречу вагонам выехать, остановить. Ребята мои обделались – и ни в какую. Ну, а я один выехал. Профиль в тех местах я знаю, как свои пять пальцев. На маленький подъем вагоны-то не шибко идут. Вот тут-то я их и встретил.

– Как это – «встретил»?

– Да просто стал от них удирать что было мочи. А когда сравнялся с их скоростью, стал сдавать. Ну, а как принял полегоньку на буфера – тогда дело пустяк: тихонько тормоза, и «стоп-машина – кочегар лопнул». Так и привел целым... Вот за это и чин дали...

Через час в маленькой комнатке такого же маленького домика, в каком жил и я, на столе стояли бутылки. Старый машинист, очевидно, был рад моему присутствию.

– Спасибо тебе, Борис, что пришёл. А то одному с бутылкой как-то скучно выпивать. А пригласить кого боишься. Знаешь сам – выпьешь, да и ляпнешь что. А потом какую контру пришьют. Теперь ведь сексот на сексоте сидит.

– А почему я не сексот?

Машинист хитро прищурился.

– А у нас, браток, такой советский нюх есть. Уж кого-кого, а советских мы за три версты чуем... А ты парень свой.

И старик стал наливать новые стаканы.

– И этак вы, Митрич, часто выпиваете?

– Часто? – переспросил он. – Не так уж часто, а каждый день...

– Да ведь этак здоровье ко всем чертям себе испортите!

– Испортите? – Острые глаза старого машиниста хитро сощурились. – Испортите? А кому нужно этоё моё здоровье? Семье? Так нет её у меня. Государству? Да пропади оно пропадом такое государство! Мне самому? Да кому я нужен? Проживу ещё вот пару лет – а потом на пенсию: рублей двадцать дадут, и голодай конец жизни. Ну её к лешему – такую жизнь! А тут, как вот выпьешь какой шкалик, оно словно и старые хорошие времена вернулись.

Старик взялся за бутылку. Его рука уже дрожала.

– Помнишь вот намедни – ребята желторотые. Им хорошо... Да, да, ты не смейся! Им, щенятам, не с чем сравнивать. Они лучшего не видали. Им дай кус конской колбасы да белого хлеба ломоть – так они будут считать, что рай земной пришёл... А нам, старикам, куда денешься от памяти? Её, браток, не выкинешь в окошко... Ты вот сам подумай – мне 67 годов. Мало что не полвека провёл на железке. Всего видал на родимой. Но того, что сейчас, – и не думал, и во сне не снилось, чтобы до этого докатиться... А опять же сердце должно чем жить. Что – жениться? Стара стала, слаба стала... Ружьё купить, зайчишек постреливать? -тоже, браток, ноги тягать не будут. В карты играть, что-ли? Нет, я уж лучше к родимой сорокаградусной. Она никогда не выдаст. Хорошо на сердце – она с тобой посмеется. Тяжело – она, смотришь, утешит. Одинокому старику – куда же деться?.. Была бы настоящая жизнь на железке – отдал бы ей последние свои силы. А так – для кого работать? Для сволочей этих? Может, щенята верят в социализм, а я, брат, стреляный воробей – меня на красной мякине не проведёшь... А ведь жить-то чем надо? Вот и выходит, что от жизни этой советской хоть куда уйти надо... Слыхал я, что люди в тайгу или хоть к чёрту на кулички идут. Так-то молодые. А мне куда? В могилу, а до могилы – в Госспирт. Вылакаешь родименькую – оно, сердце, и запоёт!.

Старик-машинист пытался сказать свои последние слова с залихватской весёлостью, но неожиданная слеза поползла по его небритой щеке.

«Рельсы Гудят» 24 июня

«Вчера паровозные машинисты чествовали своего товарища, старого пролетария, Круга, получившего только что первый приз за своё новое изобретение – автоматический открыватель топочных дверок. В торжественном заседании отличившемуся товарищу были вручены почетная грамота и денежная премия".

«Рельсы Гудят» 1 июля

«*На чёрную доску прогульщиков.*

За беспробудное пьянство в течение целой недели с невыходом на работу машинист товарного Э-у-608-14 И. М. Круг переводится на должность кочегара со строгим выговором».

«Октябрины»

Как быть?

На одной из низких дверей нашего Райпрофсожа (я уже устал переводить это слово на русский язык) висел кусок бумаги, прибитый почему-то сапожными гвоздями. На бумаге, достаточно грязной и оборванной с края (вероятно, для «технических надобностей»), были тщательно выписаны два слова:

«Рельсы Гудят».

Говоря по Гоголю, это было «то гнездо, откуда вылетали»... только не запорожские орлы, а советские утки. Или, объясняя прозаичнее, в комнатёнке этой ютилась редакция нашей районной железнодорожной газеты, носившей поэтическое наименование «Рельсы Гудят» (товарищи из мужского сословия благоволят подставить вместо буквы “Г“ другую и узнать неофициальное прозвище этого листка).

Когда я вошёл в комнату, кучка людей, сгруппировавшаяся около стола, не обратила на меня никакого внимания. Шла какая-то дискуссия.

– Ой, вставят нам перо за этое дело, Макарьянц!– с беспокойством сказал Селивёрстов, комсомольский секретарь редакции.

– Чэго ты паникуешь, Ванька? – лениво возразил Макарьянц, ответственный редактор, низенький пожилой человечек с сине-чёрной щетиной небритой бороды.

– Вэчно ты чэго-то навыдумываешь!..

– Да ты же пойми, армянская твоя башка, – горячился Селивёрстов, – ведь скандал-то будет!

– Э э-э... Аткуда скандал? Нам парторг дал. Нашэ какое дэло?

Комсомолка Паша, принёсшая какую-то заметку в редакцию, поддержала Селивёрстова.

– Нет, ребята! (Макарьянцу было под 50) «це дило треба разжуваты». Как ни говори, а ведь слова, то самого Сталина... Как бы тоё...

В это время Селивёрстов заметил меня.

– Вот свежий парень, – обрадовался он. – Пойди сюда, Солоневич. Мы тут глаза друг другу скоро повыдёргиваем. Как это говорится: три дурака – хорошо, а четыре – и того лучше... Ничего, не лезь в бутылку.. Дело такое: лозунг тут пришел – Сталинский. «Техника в период реконструкции решает все». Лозунг, сам знаешь, известный. Но

тут вот Курчатов (парторг района) решил его малость изменить. Раз дело о транспорте идёт, вот он и создал такой вариант: «Техника в период реконструкции транспорта – решает всё»... Тут-то, братишечка, собака с кошкой и зарыта. Оно, конечное дело, по существу правильно все это. На нашем фронте дело о транспорте идёт, да только вот беда – нахлобучку могут дать: лишнее слово, отсебятина, что ни говори. А? Как, по твоему?

– Да что это вы ко мне обратились? Тоже эксперта нашли!..

– Да ты не отвиливай, Солоневич. Ты у нас вроде как профессор чёрной и белой магии. Ты все превзошёл. Тебе через твою фотопушку всё видать...

Комсомолец широко осклабился и тряхнул белокурым чубом.

– Не дрейфь – посоветуй!..

– Ну уж, если дело, по-вашему, такое важное, доложите Курнатову, пусть он сам решит и даст распоряжение... письменное.

Селивёрстов обрадовался.

– Ай в самом деле, Макарьянц, – пойди в партком и потолкуй там.

Армянин рассердился.

– А ну тебя к чёрту, Ванька! Пускай так!.. На мою голову. Некогда мне тут дискуссии с тобой водить. Гони так! А я на бюро потопал...

Редактор сердито выкатился из комнаты, а мы переглянулись.

– Ему хорошо, чёрту армянскому, – огрызнулся Селивёрстов. – У меня за этот год уже четыре редактора сменилось. Его только перебросят за такую штуку*, а расхлёбывать-то ведь мне!

Рука комсомольца почесала затылок.

---

*Так потом и случилось

– Вот хреновина... Как тут быть? Пашка, как ты думаешь?

Пашка передёрнула своими крепкими плечами.

– Ну и чёрт с ним. Пусть сам и расхлёбывает... А ты, Ванька, позвони на всякий случай Курнатову, что ты, мол, сомневаешься... А потом – твоё какое дело? Лишь бы перестраховка была!

– А и то! – ободрился комсомолец... – Что тут думать! У меня что получше есть. – Круглое лицо Ваньки расплылось в смущённой и счастливой улыбке.

– Только ты, слышь, Солоневич, не откажи... Через неделю забронируй для меня лучшую пластинку. Я детёнка вот-вот жду... Снимешь тогда?

– Ладно, Ваня... С великим удовольствием и гарантией.

– Не так, как Нахмановича? – лукаво съязвил секретарь.

Я сделал вид, что не понял намёка.

– Теперь пластинки лучше попались... Не бойся, Ваня, всё будет в порядке...

– Ну то-то же!.. А то ведь все соберутся. Как говорят умные люди: раз родиться – два раза умирать... Пущай человечек потом вспомянет свои «октябрины»...

– А ты, небось, цельный праздник устроишь? – презрительно спросила Паша. – Своё «произведение искусства» показывать будешь?

– Ну а что ж?– вызывающе ответил комсомолец.– Мне он тоже не даром достался – попотеть пришлось. Почему же мне и не порадоваться?

Паша опять презрительно усмехнулась и двинулась к двери.

– Эх ты, а ещё комсомолец! Домик, кинарейка, пелёночки... Мещанство это одно...

И девушка, не попрощавшись, ушла.

Селивёрстов проводил её насмешливым взглядом и сказал:

– Видал миндал?.. У самой нет, так другим завидно... «Никто замуж не берёт – только лапают»... Хорошая она баба... Только бабьей специальности в ней нет... Так придёшь?

На фотострельбу

В гуще большого железнодорожного посёлка, окружавшего станцию, по существу, не было улиц. Маленькие, приземистые домики были разбросаны как попало, и между ними были проходы, которыми незнакомый человек опасался пользоваться. Поэтому в день «октябрин» за мной прибежал фабзайчёнок*, братишка Ваньки. Он торжественно доложил мне, что родилась девочка, как он с гордостью выразился, «вполне подходящая», и что гости уже «собравшись» и ждут меня с моей фотопушкой.

Когда я брал аппарат, фабзайчонок умильно потрогал футляр и робко попросил:

– Товарищ Солоневич, может, мне дадите поднести? Я – осторожно... Ей-Богу, осторожно!

Так с оруженосцем впереди я проследовал в дебри посёлка.

В небольшом садике, за тремя составленными столами, уже сидели гости – несколько машинистов и рабочих, среди которых высилась нескладная фигура парторга парбригад Корнеичева. Из женщин была одна лишь Пашка.

Меня встретили приветственными возгласами:

– А-а-а-а!..

Ванька выбежал мне навстречу и озабоченно спросил:

– Ну как, Солоневич? Не осрамишься? А?

– Не дрефь, Ваня, всё в порядке будет.

– Ну то-то. А то ведь второго сколько-то ждать.

---

*Ученик школы фабрично-заводского ученичества

– А думаешь уже о втором?

Комсомолец весело ухмыльнулся...

– А оно, знаешь, Солоневич, как-то веселей, когда ребятёнки вокруг ползают... Пущай... Нам смена будет!

Обряд октябрин

– Ну, значит, все в сборе? – озабоченно поглядел вокруг хозяин.– Ты тут, Солоневич, прицеливайся, а я вытащу все из дома, и, пока светло, заснимемся.

Он со своим братом захлопотали, и скоро на столах под деревьями появились несколько литров водки, огурцы, хлеб и картошка. В качестве деликатеса с некоторой долей торжественности была принесена тарелка с ландринами.

Все зашевелились и разобрали стаканчики.

– Будет тебе, Ванька, томить-то! Давай сюды своё производство. Окрестим – и всё тута! – с ворчливой весёлостью сказал кто-то.

– Ну, ну, Петра, – укоризненно остановил его Корнеичев.– Спешка только для ловли блох нужна. А тут дело торжественное – шутка сказать: первенец. А вот насчёт света, оно и верно – сниматься поскорее надо. Баба-то твоя, Ванька, уже поздоровела совсем?

– А что ей станется? – весело отозвался комсомолец. – Она у меня как огурчик. Раз – и ваших нет. Сейчас выйдет. Верно, пелёнку меняет. Дело несознательное. « Правды» под боком нет...

Скоро из дверей домика вышла сама молодая мать – розовощёкая, кругленькая женщина со спокойными, мягкими голубыми глазами. В её руках шевелился «виновник торжества».

Появление их встретили весёлым «ура», и все гости двинулись из-за стола навстречу хозяйке. Я воспользовал-

ся моментом и щелкнул затвором. Ванька с испугом оглянулся на меня.

– Что ты, Солоневич? Неужто снял?.. Да мы ещё и стать-то как следует не успели...

– Вот это-то и хорошо. Посмотришь сам, как выйдет. А теперь ставь всех, как хочешь.

После съёмок все опять уселись за стол. Корнеичев ударом ладони артистически (предмет моей зависти – сколько набил я себе рук на этой безуспешной учёбе!) откупорил пару литровых бутылок и стал разливать водку. Когда эта молчаливая операция была закончена, долговязый машинист откашлялся:

– Нус! Теперича, значит, товарищи, разрешите поздравить новорождённого от имени наших парбригад... Много ребетёнков родилось в нашем узле за все энти годы, но опять же только вот энти ребята, сталинское, значит, поколение, Бог даст, увидят окончательную победу социализма. А мы, рабочие сталинской, значит, стройки, приветствуем молодых хозяевов, которые стряхнули с себя путы религиозного дурмана и решили обойтиться без попов. Но опять же, товарищи, потому как водка стынет и градус из ей уходит безвозвратно, опять же детёнок тоже, может, кое-чего хотит, так давайте выпьем за евонное здоровье. Ура, товарищи!

Прошумело «ура», звякнули стаканы, и все полезли чокаться к Селивёрстову. Тот со счастливым лицом протягивал свой стакан и не замечал, что, по существу, все гости, чокаясь с ним, смотрели на чудесную картину улыбающейся молодой матери, нежно обнимавшей своего первенца. Заросшие худые лица старых рабочих как-то смягчались, они перемигивались друг с другом и круглым умелым движением опрокидывали стаканчики в свои глотки.

– Ну вот, – удовлетворённо сказал Корнеичев. – Здоровье теперя обеспечено навек. Проспиртовали новорож-

дённого, что надо. А теперя, Ванька, ты скажи, что ты ему за имячко выдумал?

По лицу белобрысого комсомольца было видно, что он готовит какой-то сюрприз. Он бережно взял свёрток с ребёнком и удовлетворенно кивнул головой, когда парторг взялся наливать следующие порции.

– Насчёт имени – трудненько, товарищи, было. Но всё-таки выдумали. И самое новомодное – «Дотина».

На лицах гостей выразилась некоторая неуверенность.

– Как? Как ты сказал?

– «Дотина» – имя такое будет. А почему – вот почему. Потому как мы живём теперь во время техники и науки, и даже сам Сталин сказал «техника в период реконструкции решает всё», вот мы и решили, что имя будет такое: «дочь техники и науки» или, по-советски, сокращённо, Дотина...

Комсомолец торжествующе оглядел гостей.

– Вот и ладно! – отозвалась Паша. – Не всё равно, как зваться? А теперь, товарищи, давайте единогласно за «Дотину»... Ну-ка: раз, два, три!

Стаканчики опрокинулись с большим единодушием.

Я заснял ребёнка крупным планом, и мамаша ушла домой со своим свёртком. Я подсел к Паше и после пятой или шестой порции спросил немного захмелевшую комсомолку:

– Слушай, Паша, а почему это здесь женщин никого больше нет? Уж, кажется, куда-куда, а на крещенье им бы только и приходить.

Девушка презрительно поглядела на меня.

– «Крещенье»! – Передразнила она. – Эх ты, а ещё образованный! Тут «Ок-тябри-ны», а никакое не крещенье... Тут советский дух, а не опиум... А бабы оттого не пришли, что для них это, как нож острый в сердце. Небось,

каждая хочет и на венчаньи в церкви покрутиться, а потом и крещенье с попом справлять. Оттого-то и нет их...

– Но жена Ваньки ведь согласилась «октябриться»? Ей, видно, всё равно?

– Да как сказать... Ей-то тоже, конечно, хотелось бы с попом. Да Ваньке неудобно. Ответработник, ничего не сделаешь. А она – что? Так – бабье мясо. А по специальности – жена своего мужа.

– Разве это плохая специальность?

Паша с оттенком злобы поглядела на меня.

– Ох, сколько ж в тебе старой закваски, Солоневич!.. Что ж, так и сидеть дома и рожать детей? Как это... там, где цыплята выводятся...

– Инкубатор?

– Вот-вот... Что это за жизнь? Что я – наседка человечья или человек?

Старый рабочий, с неодобрением прислушивавшийся к словам Паши, неожиданно спросил:

– А вам вот, гражданочка, не хотится такого пупса иметь, как вот у Ваньки?

Паша как-то дёрнулась.

– А какое вам дело? У меня тоже, может, были бы, да я сама не захотела... Другие дела в жизни есть поважнее...

– А какие ж это дела? – всё так же спокойно спросил собеседник, пожилой рабочий, угрюмо и насмешливо улыбнувшись...

– Вообще... – запальчиво ответила Паша. – Да и что вы пристали? Вот, действительно, словно только и дела, как влюбляться да рожать... Мы для социализма должны работать...

– А вы сами-то, позвольте спросить, что в депо делаете?

– Я-то?.. Паровозы обтираю...

– Ах, паровозы? Значит, для социализма так работаете? А может, эта вот жена Ваньки, которая хорошего ребенка родила – для социализма больше вашего сделала? А?

Старый рабочий насмешливо улыбался. Паша вспыхнула:

– Идите вы к чёрту! Чего привязались?

И нервным движением стала наливать стакан.

В это время в домике что-то пискнуло, и через секунду полились трели детского плача. Рука Паши дрогнула, и она задержала бутылку в воздухе.

– Ишь ты, заливается-то как! – тихо сказала она, и внезапно её мужественное курносое лицо осветилось светлой, ласковой улыбкой. Прозрачная струя водки лилась на скатерть, но комсомолка не замечала этого. За столом молчали и улыбались.

– Ишь ты! – одобрительно крякнул Корнеичев. – Гудок, видать, у него подходящий. Хоть и советского производства, а орёт, что надо!..

«Принцесса Грёза»

О «громадной культурной работе», проводимой в рядах Красной Армии, восторженно захлёбываясь, пишет вся советская военная пресса. Там-де из деревенских и рабочих чурбанчиков выковывают сознательных, культурных... ну, и так далее. Как и что реально выковывается – можно спорить. А сейчас – насчёт красноармейских культурных развлечений.

В течение моих последних советских лет, будучи в ссылке в Орле, я часто бывал в местных военных частях. Знакомства по линии фотоаппарата, футбола и борьбы завязыва-

лись быстро, и удачно принимаемый облик «своего рубахи парня» помогал проникнуть во многие щели военной жизни.

С культурными развлечениями в нашем железнодорожном узле дело обстояло «шибко не густо». Изредка силами «самодеятельного кружка» ставились пьесы ходульно-революционного репертуара да раза 2 – 3 в месяц шла какая-нибудь кинокартина. Словом, жизнь была не так чтобы очень веселой. Поэтому я всегда с удовольствием принимал приглашения своих приятелей из рядом расквартированного арт-полка и шёл туда на «киношку».

Кинофильмы в клубе полка шли много чаще, чем в городе, – обычно раз в неделю. Соответственно этому зрителей было – не продохнуть. Отпуска красноармейцам давали редко и неохотно – куда же деваться?..

Помню, вытащили меня как-то на какой-то «грандиозный фильм» «Стальная душа». Название было, с одной стороны, как будто революционным. В сталинское время термин «стальной» – это уже символ. Но, с другой стороны, – душа. Словом, чудилась какая-то политическая неувязка. Но опять же даровому коню, как известно, в зубы не смотрят... И я пошел.

Большой зал полкового клуба был полон. Стриженые головы всех мастей нетерпеливо вертелись над зелёным фоном военных гимнастёрок, и только в первых рядах виднелись шевелюры командного состава да прически «полковых дам». Было весело и оживлённо в предвкушении «стального кинолакомства».

Вот, наконец, свет потух, и под вздохи нетерпеливой молодёжи на экране показался тупорылый ствол... пулемета... Оказалось, фильм был посвящён конструкции и работе этой «стальной души»... Разочарованные вздохи и насмешки понеслись по залу, и в перерыве зелёная волна бросилась к дверям. Я был в этой волне... Потом мне говорили, что к концу сеанса в зале остались только самые «показательные красноармейцы»...

В другой раз меня вытащили на «Песнь о первой девушке»...

– Это, братишка, тебе не липовая «стальная душа», – говорил, довольно поблёскивая глазами-щёлками, Буравленко – белобрысый крепыш, мой приятель, талантливый, хотя и полуграмотный, шахматист.

– Это, кажись, о настоящей жизни, как она есть... О революции и ни мур-мур...

Розовощёкий «чалдонец» Синюшко был в ажиотаже.

– Ей-Богу, мне монтёр говорил по секрету, что это о любви... «Первая девушка» – куды ж дальше! Хоча душу отведём от политграмоты, язви ее душу. Осточертела она, пропади она пропадом... А вот тута на девочек посмотрим. Сердце тоже, видать, и у режиссёров не камень. Покажут что хорошее...

Название и меня заинтриговало. Правда, как биолога меня ввела в некоторое сомнение романтическая неувязка слов: «первая» и «девушка»...

«Собственно, – думал я, – первый мужчина заслуживает быть отмеченным. Он может быть какой-то вехой романтического порядка... Но «первая девушка»... Не знаю»...

Своих сомнений я, впрочем, своим приятелем не высказал, но и сам с большим любопытством ждал, о чём запоет песня...

Морозов, помкомбат железки, скептик и «смешняк», недоверчиво посмеивался.

– Любви захотелось понюхать? – насмешливо встречал он розовые надежды красноармейцев. – Ну, ну... Чёрта с два будут вас тут любвями потчевать... Не иначе, как халтурка какая... Для романтики, по-ихнему, время ещё не доспело...

Он оказался прав. «Песнь» оказалась историей крестьянской девушки, первой пошедшей в деревенский комсомол. В фильме фигурировали толстые кулаки с жирными затылками и оскаленными зубами. Классово-революционное содержание было выдержано до конца. «Революционная правда» торже-

ствовала под звуки отдалённого залпа, закончившего картину и жизнь кулаков.

Как особенный контраст запомнилось мне, как однажды я прочёл в плакате красноармейского вечера, что в конце программы пойдёт фильм «Принцесса Грёза».

Помню, даже глазу приятно было читать эти строчки. Повеяло чем-то забытым, средневековым, лирично-героическим. Почудился аромат легенды, предания, сказки... Из подсознания стали выплывать тени каменных громад старинных замков, великолепные турниры закованных в железо рыцарей, песни менестрелей, звон победных кубков и прочее, и прочее... И над всем этим поэтическая головка прекрасной принцессы...

Красноармейцы были живо заинтригованы картиной.

– Слышь-ка, Солоневич, скажь, а чтой-то такое принцесса?

Я объяснил.

– Ага... Не так чтобы королева, а рангом пожиже.

– Вроде, ежели, скажем, Сталин – король, так принцесса – это ворошиловская дочка?

– И по штату, видать, хорошенькая должна быть... Ну, а «грёза» – это что за штука такая? С чем её едят?

– Ага, вот оно что!.. Вроде как такое этакое, – и добродушный артиллерист пошевелил толстыми пальцами, пытаясь передать мечтательность. – Оно словно бы и есть, а вроде как и нет... Один туман али вроде как радуга – оно и видать, а не уколупнёшь...

Начался фильм, и при напряжённом ожидании всех на экране появилась... толстая морда премированной коровы... Она-то и оказалась «Принцессой Грёзой». А фильм был посвящён молочному хозяйству...

Под колесом машины

В тот день, помню, наш центр-хавбек играл из рук вон плохо. Центральная тройка красноармейской команды доходила до защиты, как «по пустому месту». Я со своим партнером, токарем Семёновым, с трудом сдерживали напор и буквально разрывались на части. В минуты, когда удавалось отыграться «на аут» или хотя бы «на корнер», рассерженный Семёнов крыл Масленникова, хотя и неслышно для рефери, но весьма нелестно.

Сам Масленников, высокий крепкий парень лет 22, был как-то безучастен и к напору противника, и к руготне своего товарища. Он играл безучастно и как-то механически, не вкладывая в свою активность ни частички «футбольной души». А какая же игра без души?..

К перерыву мы проиграли 3:0. В лагерной красноармейской палатке, заменявшей нам раздевалку, Семёнов яростно набросился на Масленникова:

– Что ты сегодня, Петька, как вошь по мокрому месту лазаешь? Перепил вчерась, что ль, али молодоженом заделался?.. Признался бы честно, по-пролетарски, перед игрой – мы тебя подсменили бы, чёрта... А то так – цельный мешок голов домой прикатим!.. Бабы засмеют!..

Красивое лицо Масленникова не выразило ни обиды, ни смущения. Он как-то с досадой шевельнул плечами и буркнул:

– А ну тебя к чёрту, Семёныч! Подсменяй... Мне теперь не до футбола...

Но сменить Петьку было некем, и мы торжественно повезли домой полдюжины, правда, не сухих. На обратном пути из лагеря выражение лица Масленникова оставалось безучастным, и упрёки и шутки игроков как-то прекратились сами собой.

– Ну, ладно,– мрачно сказал, наконец, Семёнов, когда мы уже подходили к железнодорожному клубу имени Дзер-

жинского. – Проиграли – ну и хрен с ним. Ещё отыграемся как-нибудь... Мировая революция от этого не пострадает...

* * *

Комсомолец Масленников был одним из лучших наших спорстменов и одновременно – что не часто встречалось – много раз премированным производственником. Года три назад он был командирован в Москву на курсы электросварки и, вернувшись, организовал первую мастерскую в районе: подобрал себе полдюжины боевых ребят, отвоевал закоулок в депо и стал разворачиваться. Через несколько месяцев электросварка победила автогенную, и бригада Масленникова стала выдвигаться на первые места по выполнению количественных и качественных показателей. Надо сказать, что спортсмен Масленников сумел ввести в работу своей бригады футбольные принципы – дружную спайку коллектива, напор и дисциплину. А так как ребята были к тому же и весёлые, и жизнерадостные, не мудрено, что я частенько, человек грешный, засиживался в их мастерской, отогревая своё задёрганное советское сердце в веселой температуре молодого задора и зубоскальства...

* * *

На следующий день, совершая свой очередной обход депо, я, как обычно, заглянул в сварочную. Масленникова не было.

– Где Масло? – переспросил комсомолец Горохов, отрываясь от чистки металлической части. – А вон тама, в уголке бандаж наваривает.

– Что он – здоров?

– Петька-то? А что ему делается? Да об него и паровоз споткнется… Кажись, ничего...

– А что-то он вчера мрачный был?..

Замазанное угольной сажей лицо Горохова повернулось ко мне.

– Дело весеннее... Чего не бывает?.. Может, Манька недоцеловала!..

На чёрном фоне запачканной физиономии Горохова блеснул весёлый оскал белых зубов.

* * *

В полутёмном углу депо, у громадного силуэта мощного пассажирского паровоза С-У, внизу, копошилась человеческая фигура, около которой вспыхивали искры. Масленников сидел на каком-то ящике в больших кожаных рукавицах, с синими консервами на носу и сосредоточенно возился над бандажом большого колеса. На месте касания его электродов что-то шипело, трещало, фыркало и искрилось.

– Ну, как ноги после вчерашнего? – прокричал я Масленникову на ухо.

Он выключил ток, повернулся ко мне и снял очки. Лицо его было непривычно серьёзно.

– Ноги-то что... Не в ногах дело... Слышь-ка, Солоневич, приди-ка сюда через этак полчаса, дело есть...

Я взглянул в слесарную, снял там какого-то ударника за ремонтом колхозного плуга и, предвкушая гонорар с «Гудка»* за эффектный снимок с надписью «Социалистический плуг в социалистическом ремонте», вернулся в депо.

Масленников уже ждал меня у выхода. Только теперь я заметил, что по его лбу прошли новые, незнакомые морщины озабоченности и подавленности. Молодое лицо комсомольца как-то осунулось и постарело.

---

*Центральный орган НКПС

– Да что ты, Петька, словно покойником смотришь? Болен, что ли?

– Хотел бы я поглядеть, как это ты смотрел бы на моём месте!

– А что такое?..

Масленников оглянулся кругом, помолчал несколько секунд и сказал глухо:

– Да вот – выдвигают, брат, меня...

* * *

Мрачность комсомольца сразу сделалась понятной. В условиях советской жизни быть выдвинутым – это прежде всего значит быть оторванным от налаженной работы, карьеры, перспектив.

Когда это «выдвижение» касается человека, ничего в своем активе, кроме парт- или комсомольского билета, не имеющего и не обременённого хотя бы минимальными запасами трудолюбия, знаний и порядочности, – это явление, не ломающее жизни, а даже чреватое возможностями карьеры по линии «советского актива». В числе выдвиженцев людей такого типа большинство, и они вовсе не являются, как считает «Глава» одной из эмигрантских партий, «элитой нации, выдвигающейся вверх, вопреки советскому прессу», а представляют собой своеобразное нагноение на внешней поверхности советской жизни. И термин «выдвиженец» в Советской России всегда полон презрительной иронии.

И если где-нибудь в учреждении вы натыкаетесь на невежду, или в магазине вам не смогут точно сосчитать сумму, или стрелочник окажется не знающим правил своего дела, или молодой советский врач «залечит» человека, или молодой инженер построит дом, к концу своего строительства уже нуждающийся в ремонте, – то термин «выдвиженец» сразу же объясняет советскому гражданину все. И

возмущение сразу же переносится с физического виновника на систему советского руководства, «выдвигающего» таких работников на ответственные места не по их квалификации, а по принципу «классового отбора и пролетарской сознательности». Конечно, выражать свое возмущение советскими порядками не будет никто...

Но если угроза «выдвижения» нависла над человеком, желающим учиться, работать и прогрессировать в избранном им самим направлении, тогда выдвиженчество для него – синоним рокового несчастья.

Поэтому-то я сразу понял, что в молодой жизни Масленникова наметился резкий перелом к худшему.

– Эк тебя угораздило! Куда же тебя пихают?

– А чёрт их знает! Я по секрету узнал от ребят. Вообще... На общественно-политическую работу... Бюро уже постановило...

– Вот чертовщина! И кто это тебя подсидел?

– Да разве сразу узнаешь?.. Небось, каждому неохота... Да всё равно – уже запротоколено.

– А назначение уже есть?

– В том-то моё счастье, что пока ещё нет. Вот поэтому-то я и хотел с тобой потолковать. Может быть, ты что выдумаешь, Солоневич. Ты ведь везде мотаешься. Может, что выищешь подходящее?

Масленников глядел на меня умоляюще. Задача была не из легких.

Нужно было выдумать ему какую-нибудь «общественно-политическую нагрузку» самого захудалого сорта, второстепенную халтуру, «синюю куру», как говаривала молодёжь, чтобы оттуда было бы потом его легче всего выцарапать обратно, на производство, на учёбу, на дело...

Опыт в этом отношении у меня был, и за проектами дело не стало.

– Да тебе, Петька, самое разлюбезное, брат, дело – по спорту пойти.

– А в какую дырку?

– Да вот у нас месяца через полтора дорожная спартакиада. Тут дело пойдёт на самолюбие, чтобы район не подкачал. Нужно будет нечто вроде спортивного комитета устроить... Самое тебе бы место – председателем…

– Ну, а дальше?

– А спартакиада пройдёт, всё самораспустится, вот ты опять и стрельнёшь на производство. Задание выполнено, мол.

Лицо комсомольца просветлело.

– А ведь, пожалуй, и верно. Так сказать, врид*-работа. Ну, и головастый же ты, Солоневич. Не зря – «контра».

– Какая контра?

– Ну, антисоветский элемент...

– Что ты чепуху городишь, Петька! Откуда у тебя такое мнение?

Масленников хитро прищурился.

– Да ты не дрейфь, Солоневич. Это ты старикам свою фотохалтуру строй. А нас, молодняк, не проведёшь... Мы, брат, чуем, кто по-настоящему к жизни относится...

– Как это «по-настоящему»?

– Ну... по настоящему, – замялся Масленников. – Чтобы дело настоящее было, а не липа стопроцентная. Чтобы жизнь сама по себе текла, а не по циркулярам партии. Да не об этом сейчас речь, Солоневич. Совет твой, ей-Богу, подходящий. Проверни это дело, голуба, будь другом. Иначе совсем пропаду я к чёртовой матери без пересадки. Думал вот через год в технологический поехать по развёрстке райбюро. А тут вот тебе и здрасьте – выдвигаться. И вся учеба, все мозги и всё производство по боку... А здесь, вер-

---

*Врид – временно исполняющий должность

но, – маленькая физхалтурка, оно и опять перебьёмся. Дело опять будем делать...

Петька крепко потряс мне руку и ухмыльнулся так, что его запачканные копотью щёки совсем закрыли смеющиеся глаза...

* * *

Вначале все шло по-хорошему, как на свадьбе, как выразился Семёнов. Было «создано общественное мнение» около спартакиады, «большевицкими темпами» проведена подготовка, в ударном порядке проведена мобилизация лучших спортсменов, найдены какие-то фонды для покупки спортинвентаря, произведено «будирование масс» в нашей «Рельсы Гудят», – словом, подготовительно-халтурная работа, окружающая все советские ударные начинания.

Петька разворачивался весело и удачливо. Для него, как он верил, этот период был нечто вроде отпуска. Он мотался, «орательствовал», «организировал», «брал на буксир отстающие производства», ругался с завклубами – словом, проявил уйму молодой энергии, достойной лучшего применения.

Спартакиаду мы, впрочем, всё-таки проиграли. Из Москвы – I район нашей Курочки – приехали такие звери, что и сборной СССР впору. Наши провинциальные спортсмены были подавлены превосходством класса москвичей-железнодорожников и отыгрывались только на победах над Курском, Нижним, Тулой и Ельцом.

Тайна чемпионов I района была выяснена случайно, так сказать, благодаря помощи стихии. Как-то раз, уныло плетясь на поле, чтобы качать второй хавтайм футбольного матча, уже имея в сетке пять штук голов и готовясь выцарапывать из того же места ещё полдюжины, мы услышали издалека, из-за здания вокзала (площадка была недалеко от станции), короткие паровозные гудки. Через несколько секунд к этим гудкам при-

соединились все стоявшие под парами другие паровозы узла, и заревела сирена электростанции.

Мы сломя голову бросились одеваться.

Капитан команды I района, гроза наших ворот, коренастый волосатый битюг, удивлённо спросил:

– Что это вы – белены объелись? Куда вас черти несут?

Семёнов в свою очередь удивленно поглядел на него.

– Куда? Да ты глухой, чтоль? Не слышишь?

– Чего это?

– Да гудков-то?

– Ну и хрен с ними! Хай забавляются, ежели им делать нечего. У них медные глотки, казённые. А нам-то что?

– Да ты с луны, что ль, сорвался? – свирепо огрызнулся Семёнов.– Железняки тоже выискались... мать вашу... то-то мы и глядим... Сигнала пожара даже не знаете... Сволочи продажные…

Ещё несколько мелочей потом ясно доказали, что большая часть чемпионов I района была приглашена на гастроли из других клубов Москвы и к железке имеет отношение пассажирское...

Мы хотели ругаться и протестовать... Но наш райпрофсож сказал «ша», и мы умолкли... Куда пойдёшь, кому скажешь?..

– Сволочи, – ворчал суровый Семёнов.– На честность берут – кто кого обманет... Такое хорошее дело и то загадили.

* * *

Масленников сиял. Спартакиада, куда съехались 5 районов нашей Курской ж. дороги, прошла на славу. Пусть на «советскую славу», но ведь всё в мире относительно. Пусть на пять футбольных команд было только два комплекта бутс, но всё-таки особенных пьянок, особенного мордобоя не было. Даже хулиганство в вагоне с чубаровщиной в миниатюре,

происшедшее во время путешествия одной из команд в Орёл, удалось замазать и затушевать...

Словом, всё было закончено благополучно.

– Ещё какую неделю потреплюсь – и конец. Вернусь на производство, а потом и в Москву, на учёбу. Что ведь ни говори, свою партнагрузку я выполнил на «ять»! – радостно говорил комсомолец и торжествующим жестом поднимал вверх кулак с оттопыренным большим пальцем.

* * *

Через неделю после конца спартакиады Масленников опять зашёл ко мне. От его сияющего вида ничего не оставалось.

– Что с тобой, Петька?

– Да вот на посевную еду... – уныло прозвучал его голос.

– Значит, обратно на производство не пустили?

– Куда там... Ты, говорят, прекрасный организатор. Интересы государства, борьба с остатками кулачества... Вот, говорят, съездишь в деревню, проведёшь там всё, что надо, тогда отпустим на производство... Сволочи!

– Так что ж ты теперь думаешь делать?

– Да за меня эти гады думают... Что мне думать-то?.. Мне податься некуда. Чуть что – вылетишь, как пробка, к чёртовой матери, с волчьим билетом. А у меня мать – старуха. Тоже, браток, не сразу забузишь…

– А после деревни обещали твёрдо?

– Обещать-то обещали. И насчет пятилеток – тоже обещали. Да не в том дело – выходу у меня другого нет. Комсомолец… Партейная дисциплина... Без комсомола в институт не пропрёшься. А в комсомоле, вот видишь, – пожалуйте, нагрузочку. Нос вытащил – хвост увяз, хвост вытащил – хрен увяз... Так оно и идёт всё...

– А что в деревне делать будешь?

Лицо Масленникова нахмурилось.

– Что? Я им теперь покажу, мать их... работу. В бюро смеются – хорошо работать умеешь, Масленников. Теперь вот в деревне свои оргталанты покажи... Вот тут и старайся... Это у Крылова тоже, кажись, такое было. Про соловья, которому всё на волю хотелось, так он тоже, кусок идиёта, честно заработать её хотел. Ну и:

«Чем пел он лучше и слышней,
Тем стерегли его плотней».

Тут старайся, как хочешь, а на этом деле всё равно они выиграют, на своём поставят... Машина...

– Значит, всё-таки едешь?

Лицо парня опять потемнело.

– Куда ж мне деться? Поеду. Только хрена с два они с меня теперь работы дождутся. Саботировать на полный ход буду...

– А не вляпаешься?

Масленников пожал плечами, молча пожал мне руку и ушёл.

* * *

Прошёл месяц. Как-то на стрелковой тренировке Семёнов окликнул меня.

– А Петька-то наш... А?

– А что?

– Не слыхал разве? Он свой билет комсомольский в морду бюро бросил.

– Вот это да! С чего это он?

– Да мне ребята сказывали. Его, вишь, после посевной ещё куда-то запречь хотели. Он и взорвался.

– Ему же обещали опять на производство отпустить?

Семёнов пожал плечами. Его худое небритое лицо было угрюмо.

– Обещали. Собака лает – ветер носит. Ихние обещания – вчерашний сероводород. Петька в деревне, кажись, не очень-то надсаживался на работе. Ему и сказали: ты, брат, видать, хороший организатор, но хозяйственник с тебя, как с навоза пуля... И послали, как выдвиженца, в ТПО*.

– Он и взбесился?

– Ещё как! Он, сам знаешь, парень с норовом. Сорвался, видно, со стержня. Тормоза не выдержали. А нынче без тормозов, сам знаешь...

– Так что теперь будет?

Семёнов опять скептически пожал плечами.

– Сам знаешь, Солоневич, что с непокорным делают! Сомнут парня – и всё тут. Нам, беспартейным, и то ужом виться нужно. А ежели лбом биться, напролом идти – так это всё равно, что под паровоз ногу подставлять, чтоб остановить... Тут, брат, прицел другой надо. Между колёсами изворачиваться надо. А Петьке – и без комсомольского билета никуда не денешься, и с ним, вот видишь, тоже не сладко...

– Вот и учись тут!.. Думаешь, им учёные люди нужны? Аппарат им нужен, чтобы колёсики – одно к одному. Сто шестерёнок сломают, а сто первая стальной станет. Машина нужна... А люди, что! – Семёнов махнул рукой.

– А жаль парня. И старуху евонную жаль и Маньку...

– Какую Маньку?

– Да разве ты не примечал? Эх ты, четырёхглазый! Да где же это видано, чтобы у парня 22 лет, кровь с молоком, спортсмена, да зазнобушки не было? Что он – полено дубовое, что ль?.. Да всё равно – теперь ему крышка... Со света сживут... Не выплыть уже Петьке на фарватер...

* * *

---

*Транспортное потребительское общество

И Масленников, действительно, не выплыл. Через несколько дней он зашёл ко мне попрощаться.

– Да куда это, Петя?

– Далеко, товарищ Солоневич, – устало ответил он. – На Приморскую.

– Неужто нельзя было выкрутиться?

– Мне, может, и можно было бы... Руки молодые...

С голоду бы не помер и с волчьим билетом. А вот мать-то куда денется?.. Если не поеду – вышибут меня со службы с пометкой в трудсписке: «за бузотёрство» – куда денешься? Это ведь за скандал меня на Приморскую. Конечно, могу отказаться, я-то с голоду не сдохну, ну а мамка куда? Прямо на погост? Нет, теперь уж что! Всё равно жизнь уже пропащая! Видно, не всем можно, как скотам бессловесным, жить. Или как машинные части... Я вот не выдержал. За то и сломали, гады. Думал, инженером буду. Но, видно, кто не гнётся, тому у нас наверху места нету...

Комсомолец тяжело поднялся.

– Ну, прощайте, Солоневич, хороший вы парень, дарма, что с интеллигентов... Спасибо вам... Давайте поцелуемся на прощанье.

– Ну, ну, Петя... Ещё, Бог даст, увидимся.

– Не верю я что-то. Оборвалось внутри. Словно жила какая. Веры-то в лучшее нету. Пустота одна. С чего я теперь работать буду? Ну, мать прокормлю, пока живая. А дальше что?

– Да вот в комсомоле восстановитесь.

Масленников медленно повернул голову ко мне, и плечи его напряглись, словно для драки.

– В комсомол? – очень медленно переспросил он... – В комсомол? Им я теперь свою жизнь и кровь отдавать буду? Нет уж... С комсомолом, Бог даст, мы иначе поговорим. Душа-то ведь раз в жизни хрустит. Кто послабже – того раздавят. А кто посильнее – тот зубы сожмёт. Куда я попаду – не знаю, Солоневич. Может, и найду ещё свою полочку. А теперь, ей-

Богу, жить-то нечем. Сломали что-то... Ну да ладно. Наскулил вам тут, друже. Уж не сердитесь. Я пойду. Надо ещё с Манькой попрощаться…

– А она к вам не приедет?

– Это за двенадцать-то тысяч километров? Не верю я что-то. Ни во что больше не верю... Да и на какие деньги приехать-то? Даже мать не дали разрешения взять с собой. В порядке мобилизации, экстренным порядком… говорят... А мать потом отправим...

Лицо комсомольца исказилось.

– Знаем мы это – «потом». Мне уже два раза «потом» говорили. Когда-то, дурак, верил...

Он нахлобучил свою кепку и тихо и угрюмо добавил:

– Ну что ж... Ладно... Придет когда и наше потом...

«Истощатые кишки»

В тире

– Вот что, ребята... Всё говорят: «техника, техника». А вот поверьте старому солдату: ни хрена эта техника не стоит, ежели против неё хорошие стрелки есть. Вот взять меня, к примеру: да я не только, скажем, на 300 метров пулей любую голову оторву, а, почитай, по заказу в любой глаз запалить могу...

Наша группа стрелков, ожидавшая начала тренировки, всё теснее окружала начальника дивизиона войск ОГПУ*, высокого богатыря с роскошными рыжими усами. От командира пахло водкой, и он был особенно словоохотлив. Наши ребята подогревали его своими вопросами.

---

*В войсках ОГПУ роты называются дивизионами

– Значит, вам, товарищ Запорожец, много-таки пришлось пострелять на своем веку?

Комдив усмехнулся и довольным жестом погладил пышные усы.

– Да ежели мне кто скажет, что я за свою жизнь меньше миллиона боевых патронов спалил, ей-Богу, морду набью! Почитай, с 1914 года, как взяли меня на военную, так только тем и занимаюсь, что стреляю...

– Так что, и по живым мишеням тоже пострелять пришлось?

– Не без того... Да, так вот, хотел я сказать вам, молодёжи. Все энти пулемёты, миномёты, огнемёты, газомёты, хреномёты – всё это так, дополнительно. Это всё для тех, кто как следует хорошего винта в руках держать не умеет. Оно, конечно, и все эти сволочные штучки народ тоже калечат. Но что всё это стоит перед хорошим стрелком? Там – что? – Вроде мётлы, али брансбоя – всё свинцом заливать. А ежели парень не дурак да схорониться хорошенько умеет, так ты его, как клопа из щели, никаким каком не выудишь. А он тебе своим винтом такого наделает, что небу жарко. Помните, может, как на русско-японской войне раз какой-то сибирячок на сопку влез во время атаки. Так он в два часа 200 япошек перекокал. Вот это да!.. А представьте себе, что таких сибирячков десятки или сотни, – так это тебе прямо «смерть мухам, гроза тараканам»... Нет, ребятишечки! Техника техникой, а дай мне хороший винт да пару приятелей с хорошими нервами – так я, ей-Богу, и чёрта не побоюсь, будь он распрочетырежды чёртов сын... Нет, что, матушка, ни говори, а хороший винт в толковых руках – б-а-а-а-льшое дело. У нас, в царской армии, певали:

«Наши жёны -
Ружья заряжёны»...

Ха, ха, ха!.. Не бойся, Пашка, тебе винт не конкуренция. Ты ведь по стрельбе глазами – самый чемпион!

Пашка, наша «баб-чемпионка», круглолицая обтирщица паровозов, задорно фыркала.

– Буде брехать-то, Запорожец! Дались тебе мои глаза! Готовь лучше винтовку – сейчас стрелять начнём...

– Ладно! Вот что, ребята, я уж первым отстреляюсь – у меня сейчас ячейка. А где, кстати, Семёнов да Клунь?

– А они на сверхурочной... Шефство над деревней заворачивают.

– А-а... Знаю, знаю. На днях пробный выезд в поле... Ну, ладно, пусть втыкают. А жаль всё-таки – я им хотел показать кое-что тута по стрельбе...

Спец

– Готово?

– Есть!

После минутной темноты вспыхнул свет. В нашем зимнем тире – большой комнате – впереди, на расстоянии 25 метров, на фоне нарисованного поля и кустов медленно поползли маленькие фигурки.

Запорожец молниеносным движением заряжал свою малокалиберную винтовку и стрелял почти навскидку. И после каждого выстрела с лёгким металлическим звоном падала какая-нибудь фигурка... Так продолжалось около минуты. Потом свет погас и через несколько секунд зажёгся снова.

Комдив медленно встал и вместе с нами пошёл к мишеням. Они были устроены очень просто. За лежавшей шпалой на несколько брусов были привинчены чугунные фигурки на шарнирах, которые падали от попадания пули. Передвигали их простым ручным, способом за привязанный к брускам шпагат. Но издали, с линии огня, получа-

лась довольно ясная иллюзия поля боя: движения всадников, перебегающих солдат, рассыпанных в кустах стрелков и даже танков.

Двенадцать фигурок были сбиты.

– Ну и бьёшь же ты, Запорожец! – с искренней завистью сказала Паша. – А сколько патронов спалил?

– Да, кажись, тринадцать. Одну мазу дал.

– Ну и здорово! – восхищённо переговаривались наши стрелки.

Комдив довольно гладил усы.

– Вот я и говорю, ребята. Тренируйтесь, потому, право слово, легче на свете этом дурацком жить, когда знаешь, что вот: дай тебе винта, так куда глаз въется туда моментом и пуля влезет. Дай мне винта – так мне и чёрт не брат!

– А в кого стрелять-то?

– А про то начальству лучше знать! – отмахнулся от вопроса комдив и, хлопнув Пашку по спине, ушёл.

Колхозные плуги

Проходя на следующий день по депо, я зашёл к нашим стрелкам и футболистам – Семёнову и Клуню. В слесарной мастерской было темно. Грязные стёкла окон, во многих местах заменённые фанерой, давали очень мало света. Дюжина рабочих возились над двумя или тремя плугами. Среди них были и мои приятели.

– Что это, Семёныч, новую специальность избрали?

Злое небритое лицо Семёнова ощерилось

– Да вот навязали, матери их чёрт.

– Разве не платят?

– Ну вот тоже! Это что же: за колхозные глазки задарма работать? Платить-то платят. Да это не моя специальность –

плуги чинить. У меня своей работы хватает. Да вы только посмотрите, что от них осталось!

Действительно, плуги были в весьма неважном состоянии. Заржавленные, помятые, они больше годились в лом, чем на поля «социалистического сектора».

– Н-да... Вид у них «пожматый». Спешная, что ли, работа?

– Вот то-то и дело. Всю зиму, сукины дети, ни хрена не думали об инвентаре. А когда на поле ехать – тогда вспомнили о плугах. «Хо-зя-е-ва», одно слово.

В это время в слесарную вошёл высокий худой человек в старом городском пальто и шапке с наушниками.

– Ага,– обрадовался он, увидев плуги. – Вот они, голубчики! Насилу нашёл!

– А вам-то что? – грубо спросил Семёнов.

– Да я предколхоза энтого. Пришёл поторопить.

– Идите вы к ангеловой бабушке со своим торопленией! – огрызнулся кто-то из слесарей.

– Да вы, ребята, не серчайте, – миролюбиво отозвался предколхоза. – Я ведь тоже с рабочей бражки – с Коломны. Мобилизованный на село. И кручусь вот, как навоз в проруби. Надо ж делать что-то...

– Так почему ж вы, сукины дети, раньше о плугах не думали?

– Да я здесь вовсе и не был! Меня сюда с Украины перебросили. Да, ей-Богу, ребята, вы того... не обижайтесь! Все люди, все человеки, к чему такому приставлены. Кажный своё тянет!

И потом он добавил более робко:

– Ну, а как к воскресенью-то... плуги будут?

– Чтоб ты, маленький, сдох со своими плугами и своим воскресеньем! Понасадили таких вот хозяевов, а потом думают – хлеб им будет...

– Ну, ну, ничего. Так как всё-таки?

– Да сделаем – что ж: приказ парткома. Ночью работать будем, а сделаем.

Но председатель колхоза не уходил, топтался на месте и, видимо, о чём-то хотел попросить.

– Ну, что ещё? – сурово спросил Семёнов.

– Да вот ещё что, дорогие товарищи... – несмело ответил предколхоза.– Может, у вас где завалялся кусок какой старой стали на лемехи. А то, верите слову, с энтим качеством – горе одно: то тупятся, то просто гнутся лемехи. Я уж знаю эту марку! Так вот, не найдёте ли кусок стали?.. Царского времени...

– А советская, что ль, хуже?

–Да я не про то, что хуже. А то крестьяне говорят: «оно способнее со старым лемехом». Известное дело – невежество! Разве они, мужики, что понимают? Так как, товарищи? Может, найдётся? А то у меня посевная на носу.

– Иди, иди. Моли Бога, ежели к воскресенью и так коекак сделаем. Царская сталь нам, брат, и самим нужна. Катись... Нашёлся ещё тоже просильщик!

Раскулаченные крестьяне в киргизской степи

В колхоз

В воскресенье в подшефные колхозы собралась группа железнодорожников человек в 50–60. От конторы станции мы все вышли рядами во главе с оркестром, но, как только последние здания депо оказались сзади, весь строй мгновенно рассыпался. Музыканты закинули инструменты за спину, и все пошли «по способности». Идти было километров восемь.

Был хмурый весенний день. Серые облака низко стлались по небу, и за городом стал дуть резкий, пронизывающий ветер. Был конец марта.

Я устроил мешок для перезаряжания кассет в виде муфты, поднял воротник своего знаменитого морского бушлата выдачи 1923 года, который побывал со мной и в Соловках, и в Сибири, и уныло думал о том, как в такую дождливую погоду я буду снимать. А для меня неудачные снимки были вопросом моей карьеры, ибо моя обязанность была снять «подходяще». Я сам выдумал себе свою должность «рукрайсветгаза» и сохранял в фотоискусстве вид таинственного жреца, незаменимого спеца и парня, который не выдаст...

И вот теперь я думал о том, что выйдет на советских пластинках при этакой погодке.

Кто-то окликнул меня сзади. Семёнов, радостно ухмыляясь, догонял меня, поскальзываясь по мокрой чёрной земле.

– Что, на свои произведения пришёл посмотреть?

– Какие это?

– Да вот, плуги.

Семёнов поморщился.

– Да ну их к ... Сдали, и хрен с ними. А просто от месткома мастерских назначили... Эх, сатана – тут бы в футбол сгрохать или пострелять, а тут вот прись на эту колхозную лавочку...

– Почему лавочку?

– Да разве ж я не знаю? В прошлом году уже был. Это вот сам увидишь – и бестолочь, и кабак будет, и боль-

ше ничего. Сам же видал хозяина с Коломенского завода! Из породы двадцатипятитысячников!* Он недавно плуг от бороны стал отличать, а тут с колхозом справиться!

– А что это за пробный выезд?

– Да вот вроде генеральной репетиции. Проверка тягла, машин, сбруи, посевного материала. Ежели толково сделать – так штука не вредная. А тут...

Семёнов безнадёжно махнул рукой.

«Пробный выезд»

Советское село уже много раз описывали. Возьмите старую деревню, представьте себе, что её избы и строения не ремонтировались два десятка лет, покройте всё это флёром грязи, запустения и пыли, наполните улицы рваными, согнувшимися, истощёнными крестьянами – и вы получите слабое отражение «сталинской деревни»...

Наш подшефный колхоз назывался «Красный Перекоп». На большой площади, покрытой чернозёмной грязью, перед домом сельского Совета уже выстроились «экзаменующиеся»: десятка три лошадей с плугами, боронами, телегами, наполненными инвентарём и мешками. Погода становилась все хуже и хуже, и, наконец, посыпал снежок. Понурые лошади, согнувшиеся фигуры крестьян, грязь и слякоть кругом создавали гнетущее впечатление.

Около крыльца сельсовета собрались гости – железнодорожники и «вожди» колхоза. После хозяйского приветствия и «Интернационала» «экзаменационная комиссия» стала обходить колхозный строй. Осматривали сбрую – в большинстве верёвочную, трижды перечиненную, щупали согнутые ноги лошадей, встряхивали ржавые плуги, осматривали зерно.

---

*В эпоху расцвета коллективизации на работу в колхозах было брошено 25 000 рабочих, занявших «командные посты» в деревнях

Я пытался сперва снимать лучших ударников по указанию комиссии, но потом гениальная мысль пришла мне в голову, и в дальнейшем я только щёлкал затвором, не открывая кассет. У меня дома было не меньше сотни негативов на всякие колхозные темы. А кто-нибудь разберёт, того ли колхозника и ту ли лошадь я заснял? Ведь всё равно снимки пойдут в московский «Гудок» или в нашу газету. И никакой колхозник не увидит её... А кто из этой комиссии придерётся к тому, что такой-то «премиальный ударник» не похож на самого себя!..

После осмотра комиссия с гостями ушли в сельсовет, а крестьяне продолжали мёрзнуть на площади под снежным ветром.

В большой комнате Совета началось торжественное заседание. Были ещё и ещё приветствия – и от железнодорожников, и от райкома города, и от исполкома, и от газет, и от комсомольских ячеек, и от пионеров, и прочее, и прочее.

Потом с большим докладом об успехах колхозного «строительства» выступил сам предколхоза.

«Товарищи... Потому как мы победоносно сбросили ярмо капитализма и сами стали строить свою пролетарскую жизнь, то и социалистические поля, сметши кулаков, теперь идут полным ходом к полной коллективизации»...

Наговорив таких заученных фраз, оратор приступил к анализу сегодняшнего «пробного выезда».

– Сегодня, товарищи, мы произвели генеральный осмотр нашей готовности к весеннему севу. Оно, конечно, что и говорить, не всё в порядке. Но это, товарищи, болезни роста. А насчёт весеннего сева, то вы, пролетарии города, можете заверить всех, что колхоз «Красный Перекоп» свой план выполнит на большой палец... Оно, конечно, недостатки есть. Возьмем, к примеру, плуги. Бесхозяйственность, товарищи. Всю зиму они лежали под снегом, и ржа проела их насквозь. Опять же лемехи, по правде сказать, железные – трудно им будет. Потом опять же конское тягло. Есть кони, которые ещё кое-как телепаются. А есть те, у которых животные кишки такие исто-

щалые, что они еле-еле стоят, а уж куды там до пахоты! Но мы заверяем пролетарскую общественность своим честным пролетарским словом, что все планы партии и правительства будут выполнены полностью.

– Да здравствует наш любимый вождь товарищ Сталин, который ведёт нас своей мудрёной рукой от победы к победе!..

В полузанесённые снегом окна была видна тёмная масса понурых людей и лошадей, стоявшая на площади. Рабочие обменивались сочувственными замечаниями, и когда на «трибуну» стали подниматься с предложениями о соцсоревновании с соседними колхозами разные активисты, гости сразу забузили...

– Довольно языки трепать-то! Кончай! – донеслись отовсюду приглушённые голоса. Наш парторг тоже понял рабочих. Он скомкал собрание, приказал оркестру сыграть пару маршей, и на этом «весенний смотр» был закончен.

На колхозном дворе

(По статистике самого Сталина: в 1914 г. в России было 35,1 миллиона лошадей; в 1933–16,6 мил.; в 1935 г. – 15,9 мил.)

Прославиться в веках!

Когда мы уже собирались уходить, ко мне бочком подобрался секретарь сельсовета, молодой вихрастый комсомолец. Он умильно поглядел на мой аппарат и несмело сказал:

– А вы, товарищ, с города?

– От железнодорожного узла.

– Так, так... Так вот вы, значит, сегодня всех снимали? А что, карточку можно будет у вас получить?

– Да вот не знаю, как выйдет...

– Да это ничего. Было бы видать! Так вот что, товарищок, будьте такие добренькие, сделайте мне карточку. А я вам, – снизил он шёпот, – картошки с пуд достану... Ей-Богу, вот вам крест!..

– Ладно. Приходите на станцию, там меня всякий знает, скажите – фотограф в очках... Там и договоримся.

Лицо комсомольца просияло.

Кусок хлеба

Уже смеркалось, когда я с Семёновым выходили из деревни.

– Ну что, видал, Солоневич, хозяйство наше? Я с этим хреном собачьим говорил. Он такой же слесарь, как и я. В Коломне гайки нарезал. А теперь, вишь, «сельский хозяин». Ну, вот ты сам посуди. Вот тута, в колхозе, такой слесарь сидит. А в нашем депо начальником – простой машинист, хоть там инженера нужно. Вот и идет так все из кулька в рогожку... Эх, глаза бы мои не глядели!

Из калитки последней хаты к нам навстречу вышла какая-то баба.

– Вы, гражданы, с городу?

– Да, тётка.

– Кажите, будьте милостивы... Там, говорят, хлиб стали продавать. Кажуть, пивтора рубли кило. Правда то, али, может, брешуть?

– Правда, тётка. В трёх местах продают. И напротив вокзала тоже киоск есть...

– Ну, значит, правда, шо мни казалы. Вот те слава Господи! А то на картохе тий сил нияких ужо нету... Завтра пийшлю дочку: нехай стоить у очереди – може, што достане. Вот спасибочки, люди добрые, што утешили... Дай вам Бог!..

Всю обратную дорогу мы шли молча.

Комсомольское Рождество

– Наша задача, товарищи, задача клуба – организовать комсомольское Рождество так, чтобы, значит, безбожникам было весело, а Господу Богу – скучно...

Так начал свою речь на совещании Покорский, наш завклуб. Его обросшее бородищей лицо было самодовольно и уверенно. Как ответственный работник, он всегда трепетал и боялся всяких ошибок в проведении чисто политических кампаний, но тут дело было «ясное, как самовар». Никаких уклонов можно было не опасаться. В сторону религии можно было плевать сколько угодно... Это тебе не троцкисты, в травле которых нужно было быть сугубо осторожным, – а вдруг, неровён час, ошибёшься... И сегодняшний уклонист завтра будет твоим же начальником...

– И как мы только что подписали соцсоревнование с 1-м районом на проведение лучшей культ-парт-полит-просветработы, то мы, конечное дело, должны им утереть нос. Предлагаю товарищам заведующим секциями и кружками доложить, что они могут дать к Рождеству.

В итоге длительного совещания решено было устроить митинг на привокзальной площади, затем с оркестром и святочными фигурами пройти по улицам, устроить карнавал на катке и потом пьесу в клубе.

Мне было поручено устроить каток к Сочельнику и заснять карнавал.

Я пытался всеми силами отбрыкаться от всяких нагрузок, но мне это не удалось. У нас при клубе был специальный инструктор спорта, на которого я и хотел возложить устройство катка.

– Да брось, Солоневич, Янкеля крутить! – сказал сердито Покорский. – Тоже нашел кому ответственную работу передать! Да он же «выдвиженец»...

Пришлось «скрипя сердцем» принять нагрузку: я был штатным работником клуба, и отказаться было нельзя...

О том, чтобы устроить каток для молодёжи вообще, вне карнавала, нечего было и думать – для этого денег, разумеется, не нашлось бы. Но для «политической кампании» касса была открыта. Райпрофсож отпустил даже средства на покупку (о, роскошь!) 7 пар ботинок с коньками.

Я утешался тем, что карнавал пройдёт «как с белых яблонь дым», а коньки и каток останутся для «молодёжного пролетариата» на всю зиму. А иметь каток было дело в нашей сероватой жизни весьма приятное.

С катком я кое-как справился. Мне дали двух инвалидов, старые шланги из пожарной команды, предоставили двор учебно-допризывного пункта и ударную работу ком-

сомольцев. Последних я не жалел, и поэтому к Сочельнику кое-какой каток, размером в теннисную площадку, был готов.

За дня два до Сочельника на вокзальной площади был выставлен громадный плакат об антирождественском карнавале, и меня вызвали сфотографировать его. У плаката суетился Покорений и горделиво оглядывал свое размалеванное всеми цветами радуги детище.

– А как ты думаешь, Солоневич, а ведь всё-таки здорово вышло? А? В Дорпрофсоже отметят?..

– Должны отметить.. А скажи, Покорений, что это за пьеса пойдёт вечером?

– Да, сам видишь – «Как 14-я дивизия в рай шла»...

– Да я вижу... Но что это за штука такая? Интересно?

Покорений покровительственно усмехнулся.

– Оно, конечно, мы её малость переделали. Демьян-то Бедный её для больших театров ставил Нам не справиться. Мы её окарнали со всех сторон. Но выйдет здорово!

– А о чём там?

– А ты анекдот, как старушка в рай шла, знаешь?

– Нет, не слыхал.

– Ишь ты, невинный какой… Неужели не слыхал?.. А ведь потеха!

Оказалось, что Демьян Бедный использовал для пьесы старый кавалерийский анекдот о старушке, которая забралась в рай только благодаря протекции эскадрона солдат. Анекдот был старый и заезженный. Демьян Бедный обильно уснастил его самыми низкопробными перлами из репертуара «Безбожника», и в итоге получилась пьеса, рассчитанная на неприхотливый вкус низового актива.

Рассказав мне содержание пьесы, завклуб загоготал.

– Ну как, понравилось? Здорово удумал Демьян-то, сукин сын?.. А?

– Занятно!.. А зачем же ещё, кроме этого, и кино на вечере?

– Что ты, Солоневич, дуру строишь.... Сам знаешь – надо же чем-то публику привлечь. Разве ж без кина кто пойдёт? На одних комсомольцах, брат, да на антирелигии не выедешь... А кино достали такое – пальчики оближешь. С английских времён!..

Историческая картина?

– Да чёрт её знает. Но важно то, что с Дугом Фербенксом... Робин Гуд какой-то... Говорят, страсть интересно. Вот мы, брат, поэтому и народом обеспечены будем... Это тебе не перевыборы горсовета. Придут, никуда не денутся!

* * *

В Сочельник после гудка рабочие были «организованным порядком» направлены на митинг на привокзальную площадь. После речи парторга района под звуки оркестра колонны прошли километра два по улицам и подошли к нашему катку. На каток вошла только молодёжь – все не уместились бы никак. 7 пар наших коньков были ещё много раньше расписаны по очередям – 10 минут каждая. У человек 10 нашлись и собственные коньки. Малыши лихо катались на деревянных, привязанных к валенкам по всем законам мальчишеской техники.

Было холодно и темно. На весь каток разрешили провести только две электролампы. С трудом приготовленные раньше ракеты больше трещали и шипели, чем взвивались к небу. Оркестр замерзал и едва играл.

Было холодно и неуютно. Молодёжь толкалась по катку и с завистью смотрела на катающихся. Центральная фигура карнавала – громадное, метра в три, из фанеры и соломы сделанное чучело священника, забытое, стояло в снегу.

– Знаешь что, Солоневич, давай кончать эту лавочку,– сказал, наконец, завклуб.– Ты их тут засними, а потом устро-

им огонёк, и всё тут... И – перерыв до вечера.. Ну их к чёрту!.. Самим дороже стоит...

Когда из рупора прокричали о фотосъёмке, все потянулись к соломенному чудищу. На снегу образовалась большая толпа, которая всё приближалась ко мне. Передний лежащий ряд, как лавина, полз на меня, и вся моя наводка на фокус шла насмарку.

«Теоретически» это было понятно. Каждый из активистов-комсомольцев хотел быть запечатлённым именно в первом ряду антирождественского карнавала. Карьеру каждому нужно было сделать. «Цыплёнки тоже хочут жить»...

И каждый из лежащих старался переползти поближе в переднюю линию. И делали это по-советски – по телам других.

Вот тут и наводи на фокус кучу двигающихся людей на морозе, на ветру и в темноте, по мигающим огонькам вспышек!

А к этому неприятному ощущению возможной неудачи снимка добавилась ещё неуверенность в качестве самодельного магния. Ведь в такие ответственные моменты даже отказ магния вспыхнуть может быть расценен, как попытка срыва целой политической кампании...

Вопреки моим ожиданиям, моя советская смесь, зажженная (для предварительного согревания) в куче старых газет, все-таки с треском взорвалась, осветив жаждущий быть увековеченным комсомольский актив.

Последняя картина – сожжение чучела – совсем провалилась.

Уже после фотоснимка публика стала расходиться. Около чучела с таким же принципом выдвинуться и быть замеченными сгруппировались активисты комсомола, «общественный элемент».

Со всех сторон потянулись руки с горящими спичками, но советские спички – это штучка деликатная. Они и без ветра не всегда горят. А уж при ветре и подавно.

Все усилия зажигавших оказались тщетными. Было дано срочное распоряжение принести из ТПО керосина. Но и керосин не скоро помог. То ли воды в нём много было, то ли он не разделял антирелигиозных настроений поджигателей, но чучело, даже облитое керосином, едва загорелось. Солома вспыхнула и сгорела быстро, но фанера только тлела, раздуваемая ветром, и каток был почти пуст...

Вечером, когда я укладывал кассеты в футляр, ко мне постучались. В щель двери выглянул мой сосед, Григорий Иванович.

– Ну как, пойдем, что ли, тов. Солоневич, на вечер-то?

– Да мне в обязательном порядке. Служба. А вы?

Григорий Иванович невесело усмехнулся.

– Да что ж делать то? Куда ж денешься, в самом деле? Не придёшь – заметят, сукины дети, у них там по профсоюзной линии здорово слежка поставлена. Отметят, кто не был. А потом и на заметочку...

За воротами домика нас ждала какая-то женская фигура.

– Да вот, – конфузливо указал на нее слесарь,– жена тоже увязалась. Надо на людей хоть раз в году, говорит, поглядеть.

– А Анечку не взяли?

Жена слесаря словно обиделась.

– Ну, вы такое скажете, тов. Солоневич! На такие вечера ребёнка водить? Разве ж можно?

– А самим-то разве интересно?

Котова качнула головой.

– Да там, говорят, апосля пьесы кино хорошее пойдёт. Что-то из не нашей, а из настоящей, заграничной жизни. Хоть уголком глаза посмотрим, как люди-то живут...

– Да, фильм, кажется, исторический.

Григорий Иванович вздохнул.

– Поглядим хоть на прошлое. Хорошо, верно, живали люди в те времена. Не нам теперь чета!

* * *

Клуб был набит до отказа. В обязательном порядке присутствовали, конечно, все партийцы и комсомольцы. Кино тоже многих соблазнило, а так как в плакате было предусмотрительно объявлено, что после начала вечера впуск абсолютно прекращается, то пришлось прийти заранее и на «принудительный ассортимент» вечера.

Какой-то инструктор агитпропа целый час разглагольствовал на кафедре на обычную тему: «религия – опиум для народа». После доклада было предложено задавать вопросы, но ни одного не оказалось.

Затем пошла пьеса «Как 14-я дивизия в рай шла». Зрители оживились при солдатской песне и смеялись потешным ужимкам старушки. Но вводные сцены типа «оргии монахов» или «пьянка святых в раю» были встречены неприязненным молчанием.

Активисты пытались аплодировать и вызвать общее одобрение, но зал молчал.

* * *

В перерыве ко мне подошёл Григорий Иванович.

– Вот, скажите, пожалуйста, тов. Солоневич, для чего всё это игралось?

– Да сами знаете, в порядке антирождественской пропаганды…

Рабочий усмехнулся.

– Да кому ж это нужно? Что, этот балаган кого убедит в чём? Смотреть противно. Только комсомольцы и смеялись, да и то по штату.

– Ну а жене вашей как понравилось?

Григорий Иванович оглянулся.

– Да ушла она, – снизив голос, ответил он.

– А не заметят?

– Не должны! Она вроде как больная сказалась. Я тоже хотел было смыться, да когда я жену заводил на улицу, меня спросили: а вы куда? Пришлось вернуться.

* * *

Но вот, наконец, на экране появилась благодушно-мужественная физиономия Дуга Фербенкса, и зал зашумел и зааплодировал от всего сердца.

Много грехов, вольных и невольных, вероятно, простится Дугу за ту громадную радость, которую он доставил подсоветским людям. В условиях таких вот обязательных, в порядке парт-профсоюзной дисциплины, кампаний он уносил фантазию забитых людей далеко в сказки истории, в иную жизнь –

... «В красивое время.
Когда за напевы
Платили губами,
Когда королевы
Гуляли с пажами,

Когда опасались
Грешить слишком много,
И чёрта боялись,
И помнили Бога.

Слова были твёрды,
Друзья были честны,
Все рыцари горды,
Все дамы прелестны»...

И не было профсоюзов, партнагрузок, карточек, мировой революции, очередей, ГПУ, лагерей и «воинствующих безбожников».

* * *

После конца кино я уже собирался уходить, когда меня подозвал к себе Голованов, наш предрайпрофсожа. Он был, видимо, немного навеселе и в самом благодушном настроении.

– А тебе, Солоневич, ещё нагрузочка,– сказал он.

– Вот это да!.. Какая же?..

– Да ты не дрефь, хорошая моя. Не страшно!

И, взяв меня под руку, он добавил:

– Пойдём, брат, ко мне... Разговляться...

– Это на Пасху, Голованов, разговляются!

– Ну и хрен с ними. Нам всё едино... У меня там для детишек ёлочка всё-таки есть махонькая... А мы в своей компании пару рюмок пропустим. Как, брат, ни говори, а всё-таки праздник...

Марксизм и сердце

«Международный женский день»

Приближалось 8 Марта – так называемый «Международный женский день». Почему Коминтерн остановился именно на этом дне и насколько этот день является действительно международным, было неясно, да, по существу, никого и не интересовало. Практически в условиях нашей провинциальной жизни этот праздник обозначал лишнее «торжественное заседание», десятки речей и «примерование»*.

---

*В провинциальной жизни и пролетарском произношении слова «премия» и «пример» странно сочетались в «примерование».

Газета «Рельсы Гудят» просматривала свои комплекты за прошлые годы и переделывала в старых статьях то, что теперь уже являлось «устаревшим». Видоизменялись «лозгуны», писались биографии лучших работниц-ударниц, и, конечно, многое возлагалось на меня и мою фотопушку.

Женщины помощники машинистов, Орёл, 1930 г.

На одном из рабочих заседаний* президиума Райпрофсожа я получил инструкции.

Шло обсуждение программы празднования. Завклуб доложил свой план «оформления клуба» и устройства торжественного вечера. Были намечены ораторы, распределены их выступления и церемониал премирования.

– Нужно, ребятишечки, что-нибудь пофасонистей устроить, – задумчиво сказал Голованов, наш предрайпроф-

* На «рабочее заседание», в отличие от «пленарного», приглашаются только ответственные работники. Их решения, разумеется, всегда проходят и на пленумах. Иначе такое проведение вопросов называется ещё и «проработать в деловом порядке»

сожа. – А то что ж так: всё одно и то же. Слушай, Солоневич, обратился он ко мне, – может, ты что предложишь?

– Я? А при чем тут я?

– Ну вот ещё!.. Ты у нас парень учёный, не задарма очки такие носишь. Может, что позанозистей выдумаешь?

– А насчёт чего?

– Да вот, чтобы что оригинальней было. Инициативу, одним словом, прояви. Пошевели, брат, мозгами? А?

Я предложил кое-что новое в церемониале премирования, и мой план был одобрен.

– Ну вот, – удовлетворённо сказал председатель, – головастых людей сразу видать... На вот тебе списки ударниц, иди стреляй по ним... А пожалуй, интересно выйдет и в самом деле!..

Стрельба из фото-пушки

Моей задачей было заснять намеченных к премированию ударниц в их производственном виде – на месте работы, не предупреждая их о дальнейшей судьбе снимков.

И я стал колесить по узлу, выискивая ударниц в самых дырах производства и снимая их этак мимоходом, словно от нечего делать.

В списке ударниц паровозного депо стояло:

«ТНБ* Горюнова. Обтирщицы: Платонова и Бизюк».

В «наряде» (распределительный пункт депо) мне сказали, что Горюнова «где-то мотается по узлу на маневрушке», а обтирщицы должны быть на среднем ремонте.

Пашу Платонову я нашёл легко. Одетая в длинное грязное платье, отдалённо напоминавшее «спецовку», она,

---

*ТНБ – помощник машиниста – ж.д. сокращение ещё мирного времени

вооружённая большими пуками пакли, старательно обтирала рабочие части паровоза.

Пыль и копоть, осевшие в пути на покрытых маслом частях машины, отделялись целыми кусками, и Паша то щепкой, то щеткой, то просто руками забиралась во все щели паровозного механизма и очищала его от грязи.

– Эй, Паша, алло!

Девушка повернула ко мне своё замазанное копотью и маслом лицо и приветливо кивнула головой.

– Здорово, Солоневич. Что это ты?

– Да вот снять тебя хочу.

Паша бросила паклю, обтёрла тыльной стороной рукава вспотевшее лицо и оперлась на перила у паровозного котла.

– С чего это ты вздумал, Солоневич? – улыбнулась она сверху. – Лучше на стрелковой тренировке снимешь – с винтом!

– Да нет, Паша, интересно именно на производстве, рядом с машиной, чтобы сразу было видно – работница, а не белоручка. Паровоз-то ведь у тебя весь блестит.

– Ну-ну. Уговорил. А как снимать-то будешь?

– Да вот ты подберись к верхнему фонарю на трубе, словно стёкла вытираешь. А я тебя тут и щёлкну. И название можно будет выдумать – «советская комсомолка-ударница на груди мощного социалистического паровоза».

– Ишь ты! – обрадовалась Паша. – И выдумаешь же ты такое, Солоневич! Прямо в печёнку залезешь...

Её крепкая, «кубастенькая» фигурка полезла вверх. Приладившись около фонаря, она повернула ко мне своё круглое курносое лицо.

– Ну как теперь, ладно?

* * *

Валю Бизюк найти было потрудней. Она работала у шлаковых ям невдалеке у депо. Там паровозы стояли «горячими», то есть не тушили топок. Кочегары длинными железными щупами выковыривали шлак из колосниковой сетки, а Валя в это время наводила красоту на доступные ей части машины.

Моё предложение сняться Валя встретила в штыки.

– Вот ты выдумаешь тоже такое! – возмутилась она. – Иди ты, братишечка, подальше отсюдова. Видишь, небось, сам, в каком я виде. Охота тоже такой чучелой сниматься... Приходи, если хочешь, утром к 8 часам, когда я ещё чистая, тогда ещё куда ни шло. А теперь не хочу!

Мои усилия уговорить её оставались тщетными. Валя отказывалась мягко, но настойчиво. Наконец, немного рассерженная моими приставаниями, она воскликнула:

– Ну как же ты, Солоневич, не понимаешь такой простой вещи: я хорошенькой хочу выйти на снимке! Приходи вот на площадку, когда я в спортивном костюме. Тогда вот дело другое. А то в этой дерюге, с паклей, замурзанная, ошалелая. Неужто ты не понимаешь, что девушка всегда хотит красивой выйти.

Против этого нечего было возражать, и я сделал вид, что ухожу.

Обойдя кругом паровоза, я отозвал к себе знакомого кочегара и объяснил ему план своей провокации. Парень по рабочей привычке утёр своё лицо тыльной стороной руки и широко ухмыльнулся.

– Даёшь! Это мы живо спроворим. Как это говорится – «не обманешь – не продашь». Так ты, значит, будешь целиться на этое вот колесо? Да?.. Засту-у-укаем девочку!

Я установил аппарат и закрыл себя двумя пожилыми машинистами, ухмылявшимися в усы. Кочегар вызвал Валю к себе и стал её сурово распекать насчёт чистоты рычагов. Девушка старательно принялась за чистку, и, когда она удобно повернулась, мой аппарат щёлкнул тихо и незаметно. Я сейчас же заслонил аппарат своим телом, повернувшись спиной к Вале, и бедная кокетка так ничего и не заметила.

Состязание

8 Марта все женщины были освобождены от работ. По программе празднования днём должны были состояться стрелковые состязания.

К назначенному часу свободные от работ старшие стрелки, «команда снайперов», тоже собрались во дворе учебного пункта. Там, в конце этого двора, стоял забор из старых шпал, заваленный сзади и сверху землёй. Получалась стена немногим выше двух метров, и за этой стеной виднелись крыши домов.

Юра Титов, высокий крепкий парень с ясными голубыми глазами и славным типичным русским лицом, один из лучших наших стрелков, старательно прикреплял мишени. Потом, отойдя со всеми на линию огня, он сокрушённо покачал головой.

– Ох, боюсь я, пропустит которая-нибудь из баб пару пуль наверх...

– Ну так что ж? Крыша задержит.

– Ну, а как через крышу переплюнет – тогда что?

Мы промолчали. Каждому было ясно, что может быть, когда пуля опустится в гущу маленьких рабочих домиков*.

---

*Пуля малокалиберной винтовки опасна до 800 метров

К нам подошёл Александров, зампред ОАХ, типичный партийный активист, жёлчный, сухой и настороженный.

– Вот, товарищ Александров, о чём мы бедуем, – сказал ему Титов. – Ведь бабьё-то наше очень даже просто может через крышу пару пуль перепустить.

– Может, – спокойно отозвался Александров. Его сухое лицо осталось спокойным. – Ну и что?

– Да угробят кого ещё...

– Ну и что?

– Так всё-таки...

Александров поморщился.

– Да брось ты, Титов, за других беспокоиться. То ли попадёт, то ли не попадёт. Одно из трёх. Другого места для стрельбы, сам знаешь, нет... А угробят кого – так за наш счёт похороним, только и всего...

* * *

Состязания начались с опозданием на час. Прибыло шесть команд от различных месткомов узла. Девушки-работницы были веселы и оживлённы. Пожилые женщины не скрывали своего недовольного вида. Объясняя что-то одной из таких женщин, Титов весело спросил:

– Что это вы словно в уксусе выкупались, товарищ?

Та недовольно поморщилась.

– А что ж радоваться-то? В кои веки свободный денёк выдался... Дома бы что сготовить али прибрать... А тут назначили на стрельбу энту. Да пропади она пропадом...

* * *

Был тёплый, солнечный весенний день. Линию огня мы давно уже очистили от снега, весеннее солнышко подсушило её, и накиданная сверху солома позволяла чувствовать себя достаточно уютно.

Наконец состязание началось.

«Команда депо... на линию огня... шагом марш»...

Четверо женщин, среди них Платонова и Бизюк, зашагали вперёд. За ними второй шеренгой зашагали и наши снайперы, ибо мы настолько были не уверены в том, что назначенные на стрельбу женщины умеют стрелять, что назначили к каждой из участниц своего «оруженосца», чтобы показать, как собственно заряжать, стрелять и... желательно попадать.

Разумеется, наша комсомолка Паша гордо отказалась от помощи. Она была старой участницей нашей команды снайперов, имела значок Ворошиловского стрелка и взяла первенство всей Курской дороги по стрельбе из боевой винтовки.

Улегшись рядом с Валей, она уверенно защёлкала затвором и сосредоточилась.

За Валей на одно колено стал Юра Титов.

– Неужто ты стрелять не умеешь? – удивлённо спросил он девушку. Та ласково и смущённо ему улыбнулась.

– Да нет, Юра... Не приходилось...

Титов стал объяснять ей, как заряжается винтовка и как стрелять.

Валя была в весеннем платье с открытыми рукавами, видимо, переделанном из какого-то старого бабушкиного салопа. Её густые каштановые волосы были подвязаны старой, полинявшей, но всё-таки шёлковой лентой. И когда Юра склонился к ней и стал поправлять ремень на обнажённой руке, он остался нагнувшимся более, чем это было необходимо. Валя повернулась к нему, и их улыбающиеся лица были каким-то светлым пятном среди озабоченных, нахмуренных людей, выполнявших невесёлую обязанность.

Устанавливая свой аппарат, я заметил, как нервно ёрзала Паша, кидала украдкой недоброжелательные взоры на

Юру и Валю и с преувеличенной старательностью отстреливала свои патроны.

Когда стрельба была закончена и судьи подсчитывали на линии мишеней очки, Паша презрительно сказала:

– А ты, Валька, подучилась бы стрелять-то. Стыдно в наше время только бабой быть!

– А мне зачем? – с долей ядовитой невинности отозвалась Валя. – Это тебе, может, коммунистке, придётся когда-то стрелять. А мне зачем?

– Как это зачем? – резко ответила Паша.– Что ж, ты думаешь, классовая борьба кончилась? Врагов, что ль, больше нет?

– А я не знаю... У меня нет!

Юра засмеялся, и это вывело из себя комсомолку.

– Так кто ж ты – пролетарка или барышня-белоручка?

– Да, кажется, сегодня мы обе премироваться будем. Значит, пролетарка, не буржуйка. А насчёт стрельбы – стреляй себе, если хочешь, а я чем другим пополезней займусь... И винтовку, кстати, мне Юра почистит. Верно, милый Юрик?

В голосе Вали было столько кокетливой мягкости, что рука комсомольца потянулась за оружием. Паша со сдержанным негодованием повернулась к ним спиной и, демонстративно стукнув прикладом, поставила винтовку в стойку для оружия.

На экране

Вечером во время премирования наступил черёд моих сюрпризов.

Перечисляя ударников, парторг назвал:

– Паша Платонова!

И сейчас же в зале потух свет. За столом президиума раздвинулся небольшой занавес, и на полотне появилась надпись:

«Ударница-комсомолка Паша Платонова. Перевыполнение плана: январь – 17 проц., февраль – 21 проц.».

Затем через проекционный фонарь я показал на полотне снимок Паши «в обнимку с паровозной трубой». В зале раздались аплодисменты. Когда свет был зажжён, Паше выдали её премию – ордер на ботинки.

Таким же путём были показаны достижения Вали, и сейчас же на экране у громадного колеса паровоза показалось и озабоченное лицо ударницы, видимо, старательно чистящей какой-то рычаг.

Как я и ожидал, после конца вечера я пережил шторм.

– И как это тебе не стыдно? – взволнованно и сердито кричала Валя... – Так меня обмануть! Совести в тебе нет, Солоневич, так осрамить перед всеми!

– Почему же осрамить?

– Да ведь сам видишь, какая я грязная, замасленная...

– Ну, вот ещё!.. Сегодня, по-моему, наоборот – все увидели, какая ты старательная ударница. Ведь это ж ваш женский день...

Валя презрительно усмехнулась.

– Ну уж, «наш день»... Раз в году вспомнят, да и то в разговорах! А когда по 12 часов приходится втыкать за 70 рублей или вот когда помощницы на паровозах надрываются за углём, так, небось, никто не вспомнит... Не надо нам такого почету... И таких снимков.

– Так почему ж Паша не обиделась?

– А мне Пашка не указ. Может, ей всё равно, как выглядеть. А я не хочу, чтобы меня чучелом видели... Ну, пусть ещё на производстве – там куда ни шло. А тут, при

всех, меня так выставить!.. Ведь Юрка тоже, небось, здесь...

– Ну так что? Не видал тебя в чучельном виде Юрка? А ты ведь зато сегодня совсем чистенькая да хорошенькая.

Валя вспыхнула от удовольствия, поправляя складки кокетливого белого воротничка.

– Ну и слава Богу... Вот я и хочу поменьше чучелом бывать. А ты вот меня на смех выставил...

– Ладно, ладно, Валя. Приказ парткома такой был. Но зато ты уговорись с Юрой – я вас обоих в лучших костюмах сниму.

Глаза Вали оживились.

– Ну?.. Не врёшь?

– В самом деле...

– Вот хорошо-то!.. На себя в человеческом виде посмотрим. Юрку-то я уговорю. Только вот уговор – не давай снимка этого Пашке...

– Это почему?

– Да так...

«Валяй-бол»

Недели через две я с Семёновым, мрачным пессимистом-токарем, проходили мимо железнодорожного сада. Из-за высокого забора были слышны взрывы смеха и буханье мяча.

Мы завернули на эти звуки.

Группа молодёжи играла в волейбол. Острое зрение старого стрелка сразу же узнало знакомого.

– Ба... Да это, ей-Богу, Титов!.. Вот ещё занятие нашёл!.. Комсорг ведь и стрелок. Откуда он время взял для этой чепуховины?

– Почему чепуховины?

Семёнов презрительно сплюнул.

– Вот ещё тоже занятие для взрослого человека! Пошёл бы, стервец, в футбол лучше поиграл бы, а то вот с бабьей командой возится... Ах, вот оно что! – воскликнул он, когда мы подошли ближе. – Теперь понятно: тут и Пашка, и Валька..

– Так что же здесь понятного?

– Эх, ты, слепоглазый! Не заметил разве, как они обе увиваются около нашего Юрки? Оно, конешно, Юрка парень что надо – кровь с молоком. Да и девочки тоже не промах. Выходит что-то вроде состязания – кто кого, – усмехнулся Семёнов. – Ты за кого?

– Да мне-то что? Я не присматривался.

– Ну, а я мазу за Вальку держу. Оно, конешно, Пашка и комсомолка, и стрельчиха, и в женорги метит, а вот нет у ней какой-то женской изюминки... Нам-то, старикам, может, это и не важно, а молодёжь, сам знаешь, – сердце как масло – так и тает...

На площадке было человек 10 – юношей и девушек. Бой был в разгаре. 14 : 13, потом 14 : 14, потом 15 : 14. Никто никого не мог разбить. Наконец кто-то смазал, и партия была закончена.

Игроки смешались в весёлую кучу. Паша увидала меня и внезапно словно что-то вспомнила.

– А который час, Солоневич?

– Половина седьмого.

Комсомолка испугалась:

– Вот, чёрт, заигрались! Пойдём, Юрка!

Раскрасневшийся Титов удивлённо оглядел её.

– Да куда это?

– Забыл разве? В 6.15 политзанятия!

Лицо комсорга омрачилось.

– А и верно... Вот ведь как этот валяй-бол голову задурил...– Комсомолец вздохнул. – Ну, идём...

– Да надо ведь третью партию доиграть,– вмешались другие игроки.– Это не по-товарищески. Решительную...

Около Титова незаметно очутилась Валя и стала его о чем-то упрашивать. Я невольно сравнил обеих девушек. Паша была босиком, в простых мужских трусах и майке. На Вале же были какие-то маленькие самодельные «тапочки», шаровары её были выглажены, и на голове был надет пёстрый кокетливый берет. Она шутливо и нежно тянула Юру в кучу игроков и, видимо, упрашивала остаться. Титов колебался.

– Слушай, Паша, – спросил он, обернувшись к комсомолке, надевавшей ботинки на траве у площадки. – А что там будет, на политзанятиях?

– Итоги последнего завершающего.

Титов недовольно покачал головой.

– Вот чёрт!.. И не усклизнёшь...

– Да брось, Юрик,– потянула его за руку Валя...– Доиграем третью – а потом пойдёшь...

Паша обозлилась:

– Что ты, Валька, дуру строишь! Кавалеров тебе не хватает? Тут партнагрузка, а ты волейбол суешь. Доклад-то важный.

– Ну, вот ты потом Юре и расскажешь, что там было, ты же такая умная, – невинным тоном ответила Валя.

Озабоченный комсомолец рассмеялся.

– Нет, Валёк, ни черта сегодня с волейбола не выйдет. Надо идти... Рад бы...

– Ну, идём, идём, Юрка, нечего тут трепаться. И так, небось, замечание получим...

Комсомольцы ушли. Семёнов поглядел на меня и усмехнулся.

– Перетянула-таки партейная баба. Что ни говори, бабья власть, да ещё с партбилетом, – си-и-и-ильная штука...

Перед объективом

Валя пришла за полчаса до назначенного часа.

– А Юрки ещё нет? – спросила она, оглядывая маленькую комнатку.

– Нет... Ещё половина пятого... Садись, Валя. А ты сегодня разоделась – прямо прелесть как!

Действительно, все ухищрения невзыскательной советской кокетливости были использованы «на 100». Старенькая лента в волосах казалась почти новой, блузка была чистенькой, юбка выглаженной, и ботинки (о туфлях провинциальная советская девушка не могла мечтать) блестели, вопреки всем законам советской ваксы.

Валя откровенно обрадовалась моему комплименту, и её руки инстинктивным женским движением потянулись поправить волосы у висков. Она оглянулась.

– А зеркала у тебя нет?

– Нет, Валенька...

– Ну, вот ещё, – разочарованно протянула она. – Как же это ты так живёшь?

– А я, Валя, и без зеркала неотразим... Но, постой, я у хозяйки спрошу.

И я крикнул в соседнюю комнатку.

– Ольга Ивановна!

– Чего вам?.. – донеслось через дощатую стену.

– Нет ли у вас зеркала?

Затопали мягкие старушечьи шаги, и Валя убежала в соседнюю комнату. Через пять минут она появилась, разрумяненная и довольная. На шее у неё висело старое ожерелье или кулон (да простят меня читательницы – я до сих пор в этом слабо разбираюсь).

– Твоя старушенция – прямо дуся, – радостно прошептала девушка. – Ведь этакую чудесную штуку разрешила надеть для снимка... Посмотри, как красиво...

– Да... Что это – серебро?

– Тут вот серебро, а тут даже золото... Я уже спрашивала: почему, бабушка, в Торгсин не занесли? Говорит – память... Вот чудачка...

В это время в раме окна появилось улыбающееся лицо Титова.

– Ага, все в сборе. Здорово, Валик. Здорово, Солоневич. Ну где нас уродовать будешь?

Мы вышли во двор. Там у старого дерева я стал устанавливать снимающуюся пару. Титов не без удивления оглядел Валю.

– Да ты, Валька, словно на бал! Прямо что твоя принцесса. А откуда у тебя хомут этот?

Девушка огорчилась.

– Ну вот, ты скажешь такое... Это ожерелье... Смотри, какое красивое...

Комсомолец пощупал ожерелье и снисходительно потрепал девушку по голой шейке.

– Эх ты, пресловутая! Весна, видно, на тебя, как на кошку, действует... Но что-то раньше я не видал на тебе ожерелья этого.

– А это я у хозяйки здешней взяла.

Титов покачал головой.

– Вот и верь после этого про царский прижим! Я знаю, муж-то твоей хозяйки, Солоневич, простым котельщиком был. А вот гляди, какое ожерелье. Жили, буржуи!

– Почему же буржуи?

– Да просто говорится так... Как две пары штанов или вот ожерелье такое – так и буржуй. Может, где в Европе, так это всё бедняки, а у нас – глянь, и буржуем прослывёшь. Ты, Валька, сняла бы лучше хомут-то свой, а то неравно в газету попадёшь.

– Ни за что!.. Да Солоневич никому и не даст снимка. Ну-ка! Снимай скорей!

Она нежно прижалась к юноше, я рассмешил их какой-то шуткой и снял «в 64 зуба», то есть в момент, когда они хохотали во весь рот.

Когда мы вернулись в мою комнатку, Титов обратил внимание на стены. Там между отдельными фотографиями местной жизни висели портреты всяких звёзд европейского экрана.

– Это что у тебя за крали везде понатыканы?

Комсомолец подошёл к стене ближе и прищёлкнул языком.

– Откуда ты это выкопал?

– Да это мои невесты.

Валя первая сообразила, что это шутка.

– И всё ты шутишь, Солоневич. Да у нас, в СССР, и нет вовсе таких. Разве ж у простых работниц будут такие лица?

– А почему нет?

– Ну вот ещё! Да это и не советские лица вовсе. Верно, ты откуда-нибудь из заграницы слизал?

Валя догадалась правильно. Когда мне украдкой приходилось бывать в Москве, я регулярно брал у брата немецкие журналы, которые посылала ему жена из Берлина, и переснимал оттуда хорошенькие женские лица из числа всяких кинозвезд или просто из картинок объявлений. Эти увеличенные снимки много помогали для приобретения «блата» и даже давали немалый доход, ибо советская публика охотно покупала их для украшения своих ободранных стен.

– Правильно, Валя! – подтвердил я. – А как они тебе нравятся?

Валя вздохнула.

– Живут же люди!

– А ты чем плохо живёшь? – спросил Титов...

Глаза девушки оживились.

– Да тебе хорошо... Ты – мужчина. Тебе абы как одеться. А мне, может быть, ну хотя бы шёлковых чулок хочется. Ни

разу в жизни и не видела. В Москве, говорят, достать можно. А где же мне?

– А зачем тебе шёлковые чулочки? – усмехнулся Титов. – Ты и так хорошенькая!

Валя улыбнулась ему с печальной благодарностью.

– Шутишь ты всё, Юрик… Ты думаешь, легко всё это старье перешивать... Каждый ведь по-своему жить хочет. Вот старушка эта за стеной тоже пролетарочка когда-то была, а видишь, какое ожерелье носила...

– Ничего, Валёк, дождёмся и мы хорошего времени!

Лицо девушки омрачилось.

– Да... Может... Да ведь живёшь-то ведь только один раз...

Сердце комсомольца

Титов под каким-то благовидным предлогом сплавил Валю и остался у меня.

– Вот какое дело, Солоневич. Я к тебе от имени ребят-сварщиков. Помоги, брат, им. Ты всё-таки и в «Гудке» пишешь, и фоты печатаешь. Обрати внимание кого следует на ихнюю мастерскую. Ведь дышать там нечем... Как электросварка – так ещё ничего, а как пойдёт автоген – жизни никакой нет. Там ведь вентиляции – ни-ни. Чахотка ребят во как косит. Уж сколько раз обещали. Сколько раз жаловались – и ни в какую. Помоги ты – засними что и шлёпни в «Гудок». Авось поможет.

Когда мы договорились о том, что именно снять. Титов опять с подавленным вздохом поглядел на женские головки на стенах.

– А ведь Валька-то права – посмотреть даже приятно.

– Что это ты так разлакомился, Титов? Весна что ли действует?

– Да чёрт его знает – может, и весна. Да ещё вот и пара девчат около меня крутятся – сердце будоражат.

– Ага... Валя и Паша?

– Ну да. Хорошие девчата, что и говорить.

– А кто тебе больше нравится?

Титов задумался.

– Да как тебе сказать? Уж ежели так, по дружески – так обе нравятся Оно, конечно, Паша покрепче и здорово башковитая. За ней не пропадёшь. Хороший она парень, это что и говорить. А у Вальки что-то такое... – Комсомолец задумчиво щёлкнул в воздухе пальцами. – Что-то... Ну как бы тебе объяснить?..

– Женственное?

– Во-во! Милая она. Руки к ней тянутся. И весело с ней. А то надоело всё серьезное – и производство, и партнагрузка, и всё кругом. А около ней – просто и уютно.

– Да, она хорошая девушка!

– Но и та, другая, Пашка, – тоже молодец, бой-баба. Хочет в рабфак поступать...

– Словом, ты не знаешь, на ком остановиться?

Титов сконфуженно улыбнулся.

– Пожалуй, что и да... Всё-таки, что ни говори, сердце не камень, любовь не картошка – не выкинешь в окошко. А тут вот так и двоишься – то туда тебя шатнёт, то туда. А девчата друг в друга того и гляди вцепятся. И никакой социализм, видно, в этих делах не закон...

Великий советский блат

На следующий день я подверг фотообстрелу сварочную мастерскую. Ребята смотрели на меня как на последнюю надежду и обещали в случае успеха устроить «бронебойную пьянку».

Выходя из мастерской, я встретил Титова. Он нёс на плече какую-то тяжёлую болванку.

– Что, защёлкал?

– Да. Только ты, Титов, не говори, что меня сварщики специально вызвали. Словно я просто случайно всё сам увидел.

– Ну, ну... Ясно. Ребята здесь все толковые. Да вот ещё что, Солоневич, Пашка просила тебя завернуть к ней.

– А где она?

– Да в депо. Идём вместе. Она, кажись, курскую машину чистит.

Действительно, в полутьме депо у громадного пассажирского паровоза С-у вертелась круглая фигурка нашей комсомолки. Увидав меня, она деловито обтёрла руки паклей и подала для рукопожатия свой локоть.

– Хорошо, что ты зашёл. Дело такое – можно монету подмолотить. Рядом со мной бухгалтер мясокомбината живёт. Так он просил тебе передать, чтобы ты зашел к директору. Кажись, они там много снимков хотят сделать.

– Что у них за нужда сразу появилась?

Паша усмехнулась и махнула рукой.

– Эх... Дело известное. Кажись, их директор в трубу летит. Вот он и задумал пыль в глаза запустить. Если не на работе, так на декорации отыграться. Хочет, кажись, своё производство и ударников заснять, альбом сделать и в Москву послать для рекламы. Словом, это, брат, не наше дело. А ты зайди к директору, Жигачёв его фамилия. Лучше всего, часа в два, после обеда, – он парень выпивающий и в это время добрее... И дери с него, сукина сына, шкуру без всякой жалости...

– Спасибо, Паша. Зайду обязательно. А чем тебя отблагодарить за помощь?

– Ах, пойди ты к чёртовой матери. Что я, торгую советами, что ли? Свои люди...

– А ведь хорошая ты баба, Пашка, – неожиданно сказал молча стоявший сбоку Титов. – Деловая баба.

Паша внезапно рассердилась.

– Слушай, Юрка, раз навсегда брось ты свои замашки – «баба» да «баба». Вот тоже дурень, прости Господи. Неужели тебе юбка важней всего?..

Потом так же внезапно её настроение переменилось, и она улыбнулась в мою сторону.

– А впрочем, верно, Солоневич... Насчет благодарности... Сегодня спектакль в саду, а билеты-то платные. Так ты вот что: проведи меня с Юркой на спектакль. Скажешь – помощники по съёмкам. А мы твои аппараты поднесём. Идёт? Так сказать, блат за блат?

– Идёт...

* * *

Дня через два я снимал производство мясокомбината. Снимков пришлось сделать несколько дюжин. Когда я закончил работу, меня вызвал к себе директор – высоченный, мрачный, одноглазый мужчинище с орденом Красного Знамени.

– А скоро сгрохаете фотографии? – спросил он меня гулким, словно несущимся из бочки голосом.

– Дней через десять, товарищ Жигачёв.

– Ну, это вы бабушке рассказывайте! Нам через два дня нужно...

– Никак не успею.

– Ну вот ещё. Бросьте вы арапа заправлять! Нам необходимо ускорить. И чтоб нам с вами не ругаться, вот что: вы нажмите, а я вам малость свинины по блату выпишу как премиальные. Идёт?

Что я ответил директору – читателям, вероятно, ясно.

Точки зрения

Через несколько дней, по поручению Совета Физической Культуры, я делал доклад о значке «Готов к труду и обороне» на собрании работниц узла. В перерыве после моего доклада наши физкультурницы собрались кучкой и начали жаркие споры.

Я подошёл ближе. Спор шёл о физкультуре для женщин и о её значении. Какая-то более пожилая работница, случайно очутившаяся среди девчат, скептически усмехалась.

– Вот прожила, слава Богу, 40 лет, четверо ребятишек имею, а вот без вашей физхалтуры обошлась.

– Ну а если бы физкультурой занималась, было бы у тебя шестеро ребят и было бы тебе по виду лет тридцать, – задорно возражали девичьи голоса.

– И на производстве лучше бы работала, – сказала Паша.

– И стройнее бы была, – ввернула Валя.

Паша презрительно оглянула подругу.

– Тебе всё бы стройней да красивей... Словно более важного нет ничего.

– А что более важное? – подняла перчатку Валя.

Она знала, что Паша только что вернулась с компанией комсомольцев (в числе которых был и Титов) из деревни, и, видимо, чувствовала необходимость разрядиться от гнева и ревности. Её привлекательное лицо было покрыто боевым румянцем, а глаза были полны задора.

Паша ещё раз презрительно оглядела её.

– Да многое... Хоть бы производство, да партнагрузка.

– Да брось ты, Пашка, ломаться. Тебя производство кормит, ну и хорошо. А твоя партнагрузка – кому она нужна? Помогает она тебе в жизни?

– Как это помогает?

– Ну, счастье даёт?

– Тьфу... И до чего ты, Валька, мещанка – прямо удивительно. У нас – самое боевое время, драка везде. А ты со своим мещанским счастьем...

А тебе оно не нужно, счастье-то?

– Моё счастье в коллективе! – с пафосом ответила комсомолка.

– Ах, в коллективе? – ядовито переспросила Валя. – В коллективе? Так не увивайся за Юркой. Не занимайся индивидуализмом...

Паша вскинулась:

– Что это ты плетёшь, Валька? Это тебе бы всё покрасивее да пофасонистее, только бы сердца комсомольские ломать, ребят хороших портить да от дела отбивать. Тебе бы домочек, садочек, цветочечки, деточки сопливенькие, сосочки да пеленочки...

– Ну а тебе чего нужно?

Паша на секунду растерялась.

– Мне... Я инженером хочу быть.

– Ну а как насчёт мужа?

– Как это насчёт?

– Что, он тебя за партнагрузку любить будет? Или за твой инженерный диплом?

– А одно другому не мешает.

– Ах, не мешает... Да ты в зеркало посмотри – там увидишь.

Паша вспыхнула.

– Да ты, Валька, что-то совсем спятила. В Юрку, что ли, совсем втюрилась? Не видать тебе Юрки!

– Ах, не видать? Ты, что ли, его политграмотой отобьёшь да своими патлами взъерошенными?

Дело запахло дракой.

На счастье, в это время из клуба прозвенел звонок, и все гурьбой пошли в зал.

Нечто из оперы «Лукулл»

Когда я принёс моей старушке 4 кило свинины, она едва не упала в обморок. Привычными пальцами старой хозяйки она опять и опять переворачивала мясо и всё охала:

– И как это вам удалось? Боже мой!.. Свинина! Сколько годочков уже не видала... Вот чудеса-то!..

Стояли жаркие дни, и мы решили сварить мясо целиком в одном котле с картошкой.

– А знаете что, Ольга Ивановна? Я приглашу коекого из голодных ребят, и мы устроим им пир горой...

– Правильно, правильно, сыночек. Пусть молодые хоть разок на свинину поглядят... Я уж им сготовлю что надо... Вот это действительно мясо… А то вот все вороны да галки. Срам один...

И старушка с довольным лицом пошла на кухню.

Вне Советской России

Вечером стали собираться мои приятели. Первыми пришли мрачный токарь Семёнов, скептик и ругатель, и стрелок военизированной охраны Кобозев. Я пригласил ещё и Титова, не без злорадства думая о спорах между этими различными по своим воззрениям людьми.

А когда же и можно посмотреть в душу подсоветского человека, как не за батареей бутылок в приятельской компании?

Пришедшие, ещё не здороваясь, стали вытаскивать из карманов полбутылки и с молчаливой торжественностью ставить их на стол. Во время этого милого занятия в окно неожиданно заглянула смеющаяся физиономия Жени Сабанеевой, секретаря городского Совета физической культуры.

– Вот оно, когда поймала физкультурников на месте преступления! – радостно вскрикнула она... – Вот они чем занимаются, чемпионы-то наши! Ага!..

Её худенькое оживлённое лицо искрилось дружеской насмешкой. Смелым движением она через окно влезла в комнату.

– Если ты, Солоневич, думаешь, что меня легко выгнать, так это зря... У меня дело к тебе есть из СФК.

Потом она потянула носом и удивлённо потрясла головой.

– Ёлки-палки!.. И чем это пахнет? Даю свои косы на отсечение (она была стриженой, как мальчик), что тут какой-то пир готовится! А раз так, то я должна тебе, Солоневич, заявить вполне официально, что я жрать хочу, как бес, и поэтому занимаю временно пустующий пост председательницы.

Весёлая комсомолка дружески хлопнула Кобозева по плечу и оттолкнула его от стола.

– Может быть, вы думаете, что я – бабий балласт и что я пить не умею? Нате, глядите!

И, живо соскребнув сургуч с горлышка бутылки, Женя артистически хлопнула рукой в донышко бутылки.

– Готово! – торжествующе воскликнула она, показав в руке вышибленную пробку.

Право на участие в выпивке было завоёвано. Кобозев восхищённо покрутил головой.

– Вот это – так да!.. Вот боевое бабье племя пошло!..

В это время в раме окна показалась голова Титова.

– Ага... Все уже здесь!.. Слушай, Лукьяныч, выйди-ка на секунду!

Во дворе слесарь несколько смущённо сказал:

– Тут вот Валька увязалась вместе идти... Она там за углом стоит. Будь другом – разреши ей тоже. Она где-то кило с два хлеба приволокла!

Через час пир был в полном разгаре. Стопочки с чудесной русской водкой (предметом тяжких воздыханий Ивана

Лукьяновича, нигде здесь, в эмиграции, не встретившего «настоящей» водки) шли «мелкими пташками». Варево из свинины и картошки уничтожалось с потрясающей быстротой.

– Хорошо!.. – с насмешливой мечтательностью сказала Женя, чокаясь со мной, – Ей-Богу, я к тебе приду фотографию изучать. А то вот я чёртову уйму всяких курсов кончила, а до свинины так и не добралась. А тут щёлк, щёлк – и полкабана... Хорошо!..

Сытость опьяняет голодных людей не меньше водки. Семёнов мрачнел всё больше. Кобозев льнул к тоненькой секретарше, а Валя крепко прижалась головой к плечу Титова. В общем, в моей маленькой комнатке царствовало полное советское довольство.

– Эх, много ли человеку нужно! – философски заметил Титов.– Полцыпленка, полтеленка, полчетверти, пол...

– Да будет тебе глупости пороть, – обрезала его Женя. – Вот мы что, ребята, лучше сделаем. Я что-то слыхала, что Солоневич много песенок старых знает. Пусть споет нам что? А?

Валя захлопала в ладоши.

– Вот это дело! Давай, Солоневич, голубчик... Я уж тебя Боренькой назову за это!

Её просьбу неожиданно поддержал молчаливый Семёнов.

– А и в самом деле, Борис. Спой что из хорошего, не пролетарского, а из старого времени!

– Почему это – не пролетарского? – вскинулась Женя.

– А иди ты к чёрту со своими пролетарскими песнями, – зло отозвался Семёнов. – Душу воротит от них. Послушай лучше, что в мирное время люди пели!

– Спеть-то я вам могу, только вот что: уговор, ребята, – никому не рассказывать, а то скажут «разлагает» Солоневич советскую молодёжь...

– Ну, вот ещё чего!.. Крой, брат, – тут своя бражка!

Я вспомнил песенку Саныча на Соловках:

«Замело тебя снегом, Россия,
Запуржило седою пургой.
И печальные ветры степные
Панихиды поют над тобой»…

Должен сознаться – я тоже находился в откровенном подпитии и был очень рад этому. Было так приятно ощутить невесомую стену из винных паров между советской действительностью и самим собой.

Этой стеной можно было отгородить хоть на время свою личную, внутреннюю жизнь от суровой реальности, уйти в глубь своих переживаний и забыть обо всем, что обжигает, что тормазит, что ранит. И вот уже много тысячелетий род человеческий миллиарды раз строил эту временную стену для миллиардов мужских душ и молчаливо борется и теперь за сохранение этого средства – отдохнуть душой и ослабить хоть на время тяжести дисгармонии человеческой жизни...

И вот тогда я почти не видел своей маленькой комнатки и своих случайно подвернувшихся приятелей. Передо мной словно расстилались необозримые поля России, придавленной мёртвым покровом большевизма, я словно чувствовал всю тяжесть неизмеримого моря страданий, разлитого революцией по лицу своей Родины...

«Замела, занесла, запуржила
Все святое, родное пурга»...

пел я, и голос мой дрожал.

Когда я кончил петь, никто не сказал ни слова. Кобозев задумчиво вертел стакан и пристально смотрел на поверхность водки, скупо освещённой коптилкой. Семёнов казался ещё мрачнее, а Женя смотрела на меня, широко раскрыв глаза.

– Откуда ты это? – тихо спросила она. – Песенку эту...

– А что?

– Да глаза щиплет. Печально, но как-то и не тяжело...

– Может, что ещё знаешь?

Я запел песенку Вертинского:

«Я сегодня смеюсь над собой...
Мне так хочется счастья и ласки,
Мне так хочется глупенькой сказки,
Детской сказки, наивной, смешной»...

И опять несколько секунд все молчали.

Уже давно наступила ночь. Тёплый воздух мая врывался в мою маленькую комнатку. Изредка со станции доносились гудки паровозов, а я всё пел песенки Вертинского перед своей странной аудиторией советской молодёжи.

«Стало тихо в дальней спаленке, –
Синий сумрак и покой...
Оттого, что карлик маленький
Держит маятник рукой»...

Внезапно Титов резко вздрогнул, отстранил от себя голову прильнувшей к нему Вали и обтёр руку, словно его что-то обожгло.

– Что это ты, Валенька? Никак плачешь?

Валя, до сих пор молча сидевшая, прикорнувши к Юре, неожиданно тихо, но убеждённо сказала:

– А это правда всё. Ну, может, не в глупости тут дело, но что сердце куда важнее ума – это вот верно. Ну, спасибо тебе, Солоневич, за всё... За свинятину, за водку и больше всего за песенки эти. Я в жизни никогда не думала, что такие на свете есть... И плакать хочется, и на сердце легко... Спасибо...

Девушка едва слышно всхлипнула и опять уткнулась лицом в плечо Титова.

– Н-н-нет… Я так...

– Чёрт тебя знает, откуда ты такие песенки выкопал, – тихо сказала Женя. – А от чего-то сердце ноет... Но это всё – глупости буржуйские!

– Эх, ты! – презрительно отозвался Семёнов.– Тебе бы все по партячейкам бегать, а до души тебе дела нет... «Буржуйские глупости». То-то ты тихо сидела, как в церкви!

– Что ты цепляешься?.. Я отродясь в церкви не была и не знаю, как там... А может быть, Солоневич, ты что и повеселей найдёшь? А?

– Найдётся. Как раз про вашего брата!

«Разве можно от женщины требовать многого?

(– Ещё бы! – фыркнул Кобозев).

Вы так мило танцуете, в вас есть шик»...

– Это уж свинство – такие песенки петь, – шутливо возмутилось Женя.– Не будь я девушка, я бы тебе показала насчёт глупости...

Курские соловьи

Как-то к вечеру группа наших стрелков возвращалась с тренировки. Верстах в трёх от станции мы выбрали высоченную железнодорожную насыпь и всласть постреляли там на большую дистанцию.

Солнце уже совсем спускалось, когда мы, усталые, подходили к городу. Юго-восточная магистраль шла через небольшой лесок, откуда доносились звучные трели соловьёв. Был тихий, тёплый вечер поздней весны. Свежая, недавно распустившаяся зелень благоухала каким-то особенным, чуть горьковатым запахом, и кругом была такая благодатная тишина, что мы невольно замедлили шаги и потом, как по команде, присели у насыпи.

В тишине вечера с мягкой звучностью пели соловьи, и эти звуки в тишине чудесного вечера как-то успокаивали

и нежили. Наши стрелки мало-помалу устроились поудобнее. Винтовки были отложены, и никто не напоминал о том, что нужно скорей идти домой.

Старый ворчун Семёнов мечтательно заложил руки за спину и вытянулся на песке.

– Вот стервецы!– одобрительно проворочал он.– Видно, курские прилетели за нашими орловочками ухаживать... Так и разливаются мелким бисером... Хорошо!

Мы пролежали так молча, в странной задумчивости, вероятно, не меньше получаса. Потом так же, как по команде, неохотно взяли винтовки и медленно пошли домой. Выходя из леска, Семёнов поглядел в сторону и многозначительно крякнул. Мы повернули головы к нему, и он молча показал на тёмный силуэт обнявшейся парочки, медленно уходившей в лес.

– Экая невидаль! – отозвался кто-то.

– Да я не про то, что невидаль. Да ведь это ж наш Титов!

– Да ну?

– Конечно!

Острота зрения Семёнова была настолько известна, что с ним не спорил никто.

– А с кем это он?

– Да держу пари, что с Калькой!

– А почему?

– Да у ней белый воротничок. Разве ж Паша когда такой наденет? Да потом – соловьи... Романтика... Я Солоневичу давеча уже говорил, что Валька выиграет. И ежели уж дело у комсомольца до соловьёв дошло – значит, скоро надо будет собирать монету для свадебного подарка...

Семёнов секунду помолчал и потом тихо добавил:

– А молодец наш снайпер, хорошую девочку подстрелил! Дай Бог им счастья!..

Мирный герой

Искусство добыть «чего бы такое пожрать»

Зима 1932–33 года была особенно тяжёлой в жизни подсоветских людей. Последствия коллективизации выразились почти в полном параличе инициативы и энергии крестьянства. На этой почве сравнительно неблагоприятные условия лета 1932 года создали настоящий голод в южных областях. По советской прессе, 32-й год был наиболее урожайным за последние десятилетия истории России. «Правда» писала о шести с половиной миллиардах пудов зерна, но весной 33-го года продовольственное положение страны стало настолько напряжённым, что у нас, в Орле, стали снимать с пайкового снабжения не только пенсионеров и семьи служащих, но даже и семьи рабочих.

Очень туго в этот период пришлось и мне, несмотря на то, что у меня была карточка 1 категории, дававшая 600 граммов хлеба, и мне удавалось кое-что зарабатывать на стороне своей фотопушкой.

Но беда была в том, что ни за какие деньги нельзя было регулярно добывать пропитание. Приходилось выкручиваться так, как никогда не снилось и не приснится российским эмигрантам, считающим свою здешнюю жизнь полной лишений.

Помню, однажды, кажется, в феврале, я сумел доказать своему начальству, что положение с фотоматериалами катастрофическое, и получил командировку в Москву.

Хорошо прогуливаться по матушке-Москве, имея в одном кармане удостоверение Орловского ОГПУ о том, что я – административно высланный без права выезда из Орла, а в другом – командировочное удостоверение, что я, мол, «рукрайсветгаз такой-то, командирован в Москву за фотоматериалами в поисках пластинок и химикалий». Какой-то, скажем, «советский инстинкт» толкнул меня зайти в большую

аптеку спросить там квасцов. Пока я ждал в очереди у прилавка, стоявшая впереди меня дама протянула бутылку, и ей налили 100 граммов рыбьего жира.

Мои уши насторожились.

– У вас рыбий жир есть?

– Только по рецептам врачей и в своей посуде, – ответили мне.

Только привычная советская выдержка удержала меня от радостного прыжка. Через несколько минут я уже нёсся к дяде Ване в Салтыковку. Там из-под старой лестницы я выудил несметное количество водочной посуды. Набрав её в спинной мешок, я понёсся таким же темпом обратно в Москву. Там, притиснув в угол знакового врача, я заставил его подписать мне два десятка рецептов на разные фамилии:

«Rp. CI. Jecoris Aselli – 200,0

г-ну Иванову

Dr N..»

– Только ты не подведёшь? – опасливо спросил коллега, тщательно припечатывая своей печатью последнюю бумажку.

– Ну, ладно... Так уж и быть... Да вот ещё что: если где не будет рыбьего жира или уже распродали, попробуй попроси там тюленьего...

К концу дня напряжённой беготни я был счастливым обладателем семи килограммов рыбьего жира и радостным уезжал в Орёл.

«Общественный враг № 1»

Доехать благополучно до Орла мне на этот раз не удалось. Под Мценском вывернулся очередной товарный поезд, и путь был закрыт на полсуток. К счастью, человеческих жертв не было, но разбитые угольные платформы засыпали пути. Окрестные колхозы были живо мобилизованы, а я воспользовался случаем, чтобы посидеть немного в дыре, вдали от своих сложных обязанностей «рукрайсветгаза».

Моя мечта о «dolce far niente» не вполне оправдалась. Местным начальством мне была сразу же дана задача – заснять какого-то ударника-стрелочника. Фотопушка у меня, как всегда, была при себе, и я покорился.

Начальник станции, усталый, обросший бородищей, старый железняк, был очень доволен.

– Вот спасибо вам, товарищ Солоневич. А то, знаете, как-то обидно – все станции имеют своих героев, а наше Выползово – как будто и нет его.

– А вам разве надо какой-либо славы?

– Ну, всё-таки... Знаете сами – везде халтуры, да рекламы хватает. Везде вот – и в «Гудке», и в «Рельсы Гудят» – всякие ударники да перевыполнения. Чем мы хуже? Вот этот наш стрелочник – Каценеленбоген – это такая сволочная фамилия у него...

– Очевидно, еврей?

– А то у кого ещё такая чёртова фамилия может быть?.. Но так – парень ничего. Толковый мужик, дарма, что жи... еврей. С простых, спокойных и, пожалуй, и с храбрых. Видывал я его тут в нескольких крушениях – хорошо держится. Видно, не зря орден Красного Знамени ему когда-то прицепили.

– Орден? Ему? А почему об этом никто не знает? Стрелочник с орденом – это ведь редкий случай!

– Да вот почему-то скромничает парень, словно и не… еврей. Между прочим, его заснять тоже дело нелёгкое будет. Я уж на вас, товарищ Солоневич, надеюсь, а то Каценеленбоген опять заартачится.

– Почему это?

– Не любит он помпы. Давеча мы хотели его в секретари месткома выдвинуть – так он взъелся, и никакая гайка. Ни выдвижений, ни общественной работы. Партячейка хотела его укусить, да никак: инвалид и опять же – орден. Не кот начихал, не корова накапала...

– Ну, это дело пустяковое! Вот что мы сделаем, товарищ Щепотов. Вы его срочно сюда вызовите, а я его здесь и подловлю.

– Как это?

– А вот как: вы с ним выйдете потом из станции через те вот двери, только этак, не заслоняя. Остальное – дело мое.

– Ишь ты! Засада, значит? Не зря, видать, вас на дороге «общественным врагом № 1» зовут!.. Ладно, только с условием – одну карточку для красного уголка нашего. Идёт?

– Идёт!

Тов. Кац

Всё вышло, как по-писаному. Затвор щёлкнул, и стрелочник – маленький, юркий человечек – даже не заметил этого. Я предусмотрительно заслонил телом аппарат и мигом уложил его в футляр. Когда потом я подошел к «застреленному» зверю, лицо Щёпотова широко улыбалось.

– А... А.. Товарищ Солоневич! Какими судьбами?

– Да вот приехал героя вашего снимать.

– Какого героя? – театрально удивился начальник станции.

– Да вот стрелочника вашего!

Подозрительно смотревший на меня еврей с досадой сказал:

– Не буду я сниматься. Вот ещё – счастье на четырех палочках. Сегодня герой, а завтра в лжеударники пустите...

– Но ведь вы же, кажется, хронический герой?

– Писать вашей газетке не о чем! Тоже героя нашли! Вы бы лучше написали про кондуктора, который вот недавно при крушении остался на площадке и всё, верно,

тормоз крутил, а сам так и не спрыгнул с вагона. Это вот настоящая марка, а это что...

– Да от него только мокрое место осталось,– вмешался Щёпотов.– А в газету живые нужны...

– Ладно, товарищ Каце… Каценебоген... Всё в своё время...

Стрелочник поморщился и прервал меня:

– Зовите уж просто Кац, а то у вас язык заболит...

– Это правда, – сказал Щёпотов.– Мы-то его давно для скорости просто Хаимом зовем. Так и вы, тов. Солоневич...

Худое, тонкое лицо стрелочника с бледными губами и чёрной курчавой бородёнкой как-то внезапно оживилось.

– Простите, я не дослышал... Вас товарищ Солоневич звать?

– Да.

– А скажите, вы нечаянно не с Вильно?

– Жил там и учился.

Кац неожиданно по-приятельски улыбнулся.

– Ну, так я же вас знаю! Ваш папаша там редакцию держал... Я же помню... На Погулянке...

Странная семья

Еврей-стрелочник меня заинтересовал. Ему тоже, видимо, хотелось поговорить по душам. Словом, через час я сидел в его небольшом казённом домике и вёл с ним оживлённую беседу.

К моему удивлению, он был женат на русской крестьянке – полной, массивной бабе, которая живо «сварганила» самоварчик, заварила морковного чая и достала несколько конфеток ландрин.

– Вот только хлебца-то нетути, – конфузливо сказала она. – Уж извините... Как с утра получили – так всё и приели. Туточка вот картох несколько есть. Если не побрезгуется...

– Картошка со своего огорода,– с гордостью подтвердил хозяин.– Мы тут в полосе отчуждения огородик свой завели. Маша у меня золото, а не жена.

– Видно, у вас тут маленькое хозяйство?

– Да не то чтобы хозяйство, а так – смех один. Надо же жить. Потому-то я и не хочу всяких там почётов. Сорвут с места, а потом... Знаем мы эту советскую карьеру! Нет уж. Как-нибудь и тут проживём до лучших дней.

– А вы верите в лучшие дни?

– Ну а как же? – убеждённо ответил стрелочник.

– Уж хуже, кажется, быть не может. Значит, будет лучше. Как же иначе? Вы знаете, господин Солоневич, – конфиденциально сказал он, коснувшись моего колена, – ведь если в это не верить, так уж лучше и не жить. Я это вам так говорю, по душам, потому что когда-то всю вашу семью знал. – Он покрутил головой. – Хорошие были люди! Не хватает нам теперь хороших людей. Ох, как не хватает! Потому вот и жизнь такая пошла...

– А почему вы, товарищ Кац, не хотите в Орёл переехать? Вы ведь грамотный, говорят, с орденом. Вас бы там лучше устроили.

– Что значит «лучше»? Вы думаете, хотя Сталину теперь хорошо? Эх! Вы знаете, я за свою жизнь, верно, в тысячу раз меньше дрожу, чем он за свою... Нет уж, лучше там, где спокойнее... А потом – вы знаете, опять пойдет: «жидова

выдвигается, жидова давит»... Оно, конечно, теперь много евреев наверху. Но разве это жизнь? А потом что – опять погромы? Нет уж, господин Солоневич. Тут я себе живу мирно, никого не трогаю, и меня никто не трогает. Бог даст, доживём по-хорошему и до лучшего времени... А наверху там такая злость, что не приведи Бог! Кто из евреев карьеру делает, а нам потом отвечать... Нет уж...

В сенях хлопнула дверь, и в комнату вбежала маленькая девочка лет 6–7, одетая в какое-то серое платьице, видимо, скроенное из старого деревенского полотна и усеянное разноцветными, но аккуратными заплатами. Увидев меня, она недоверчиво прижалась к подолу матери.

– Ничего, ничего, Лапушка, – ласково сказал Кац. – Это хороший дядя. Он нас ещё когда-нибудь снимет на карточку. Не бойся... А как твои курочки?

– А вот, папочка, ещё два яичка снеслось, – тоненьким голоском ответила девочка и положила на колени отца продукцию своей «птицеводческой фермы».

Радостно было смотреть на эту странную, но милую семейную группу. Особенно уютной показалась мне, бездомному человеку, эта круглолицая неторопливая хозяйка, для которой, кажется, и сам герой ордена Красного Знамени был ребёнком, к которому она относилась с деревенской, бабьей любовью:

«Любишь?» «Ну да, известно – жалею»...

Девочка уселась на колени отца и оживлённо таратори-ла о своих курочках. Бледное лицо стрелочника улыбалось счастливой, мягкой улыбкой.

– Ну, ладно, ладно. Беги пока, Лапушка, во двор. Мы тут с дядей поговорим. Вы уж меня извините, господин Солоневич, я тут ногу свою сниму, чтобы отдохнула.

Орден Красного Знамени

Он завернул брюки, сделанные из старого мешка, и стал развинчивать свой протез.

– Где это вы ногу свою потеряли, тов. Кац?

– Эх, и рассказывать-то неохота! Как вспомню – так такая обида берёт, что и не рассказать… Где, вы спрашиваете? На войне с поляками...

– Вы там добровольцем были?

Стрелочник удивлённо поднял голову, словно я сказал что-то совсем несообразное.

– Как вы сказали? Добровольцем? Я? Ах, господин Солоневич, за кого вы меня считаете? Неужели, по-вашему, я такой дурак?

– Так как же вы попали под пулю?

– Ах... Так это же сплошное идиотство вышло! Изволите видеть, я тогда как раз этот паршивый орден Красного Знамени получил. Так эти дураки – большевики – стали думать, что я таки, действительно, не знаю, какой герой. Ну и что бы вы себе думали? Так они послали меня в передовые части... Ну и там вот как раз тоже у Вильны я под пулемёт и попал... Ах, холера им в бок!.. Ах, если бы я знал!

– Так разве орден Красного Знамени вы не в бою получили? – удивился я.

Кац опять негодующе посмотрел на меня.

– Я? В бою? Что я – с ума сошёл? На что мне воевать? Что я такое на фронте забыл, чтобы мне под пули свою голову подставлять? Может, такие дураки и есть, но чтобы я?.. Нет, господин Солоневич, орден я не за храбрость получил, а просто за свой ум... Как это говорится – да ... за русская смекалка... Вы хотите, чтобы я вам рассказал? Пожалуйста! Тут никакого секрета нет. Этого способа я ещё не патентовал... Ну-с, дело было так. Еду я себе раз в обозе. Ну да, мобилизованный... У фронта, вы спрашиваете? Нет, немножко подальше... Как это там да... второй разряд. А где-то впереди бой идёт. Наши, ну, то есть не наши, а красные, наступают... Так... Вот, значит, еду я себе и по привычке старого еврея оглядываюсь по сторонам. После боя, известно, раненые там, убитые, жалко смотреть. И чего это, думаю, бабы зря стараются?.. Так... Вот, смотрю, значит, себе я: какой-то раненый сбоку от дороги ползёт. Поляк. Как будто постарей других, а погоны и петлицы у него сорваны. С чего бы это? И опять же важность какая-то на лице. Что-то мне это всё подозрительно показалось. Я его себе в повозку – ну, и что бы вы себе думали? Это таки да, польский генерал оказался! А он увидел, что я не большевик, а просто честный себе еврей, он мне и говорит: «Ты, жид, вези меня прямо в штаб, чтобы буденовцы меня не залапали». Я не пожалел своей кобылы и привёз генерала в штаб. Не полка, пхе!– нашли дурака, а прямо в штаб корпуса. Ну и как же? Бедный еврей-герой! Взял в плен настоящего польского генерала!.. Ну, у него там ещё какие-то важные бумаги нашли или что... Словом, орден Красного Знамени... Ах, чтоб он сгорел!..

– Так почему же вы недовольны?

– Почему? Да не будь его – я бы себе по обозам мирно ездил и горюшка не знал. Как вы думаете, стоит разве эта бляшка моей ноги? А? Чтоб его громом разразило!..

– Вы, я вижу, человек мирный?

– Мирный? Ну да, конечно же, мирный. Хотел бы я посмотреть хорошего, умного человека, который не был бы мирный... Но вы себе не думайте, господин Солоневич, что я таки, да, совсем не герой, что я не воевал... Я же за германскую войну все четыре Георгия имею...

Парадоксы войны

– Да не может быть! – удивился я. Этот скромный человечек с маленькой худощавой фигуркой и мирным лицом никак не был похож на героя каких-либо боевых приключений.

– Ей-Богу же, правда! Зачем бедному еврею врать? Вот я вам расскажу, если хотите, как я их заработал... Да вы, товарищ Солоневич, картошечку возьмите. 56 й ещё только через два часа будет, а пока там путя расчистят... Да... Как мобилизовали меня в 1914 году, я и подумал себе: «Конец Хаиму пришёл»... Вы, верно, слышали, как еврею в армии жилось. Каждый, кому не лень, «жидом» обзовёт. Ну а потом я увидел, что с еврейской головой, как это у нас в Одессе говорится – «идише копф», везде как-нибудь прожить можно. Что? Вы и в Одессе-жили? Ну, так вы же совсем как родной!.. Ах, Одесса мама... Какой город!.. Боже мой, Боже мой!.. Ну, хорошо... Погнали, значит, как-то нас в разведку. В Восточной Пруссии дело было. Ночь, дождь, холод, стрельба. Бр-р-р-р... Ну, думаю, теперь совсем окончательно последний час Хаиму пришел. Однако походили, походили мы, под обстрел попали несколько раз, на какие-то окопы нарвались, еле ноги унесли. Проплутали целую ночь. Насилу домой дошли... Пхе!.. «Домой»! Ну, в окопы... Так вот, вы знае-

те, я всё-таки наблюдательный – привык высматривать... ну, где что лежит. А фельдфебель наш, Грицко Белопуп, – ему, конечно, слонам хобот качать – это его дело. А как надо было офицеру рапорт составить – так он ни в зуб ногой. Ну, а я так подробный план окопов нарисовал, даже и с масштабом. Я уж там не знаю, что дальше оказалось – важный пункт или что. Но за эту разведку – первый Георгий. Так... А второй крест мне тоже за разведку попался. Я уже стал хорошим разведчиком считаться. Ну, вы знаете, на разведке, ей-Богу, безопаснее, чем в окопах сидеть. Как-то походишь, походишь, страху натерпишься, а потом – раз и в тыл! Так вот, наткнулись мы раз на немецкие бронированные пулемётные гнёзда. Как мы там ноги унесли – уж и не скажу. Но места эти я, однако, заприметил и на план нанёс. Вы знаете, ноги – хорошо, а мозги – ещё лучше...

– Здорово!.. Ну, а остальные как?

– А вскорости я под крепостью Оссовец был. Ой, сколько там народу набили!.. Боже мой... Вот там-то я в плен и попал. Какое-то там наступление немцев было. Ну, вы знаете – всё бегают, орут, стреляют, все гремит, словно последний судный день. Света Божьего не видно! Ну, я себе притаился в каком-то окопчике – я же не передней линии, я же разведчик! И вот, слава Богу, как-то жив и остался... Послали меня в лагерь для военнопленных. А нам, евреям, вы знаете, немецкий язык почти как родной. Так меня там скоро переводчиком устроили. Лагерь наш недалеко от Дании был. Я всё узнал, высмотрел и потом помог бежать одному князю-генералу... А из Дании уже совсем пустяки – раз-раз и в Петербург.

– Ой, как меня там чествовали! Прямо как настоящего героя! И ещё два Георгия навесили, потому что я кроме князя ещё важные данные о немцах привёз. И бедному еврею счастье на роду бывает! Разве ж я знал, что всё потом так обернётся? Но знаете что, господин Солоневич, – закончил свой рассказ Кац торжественным шёпотом, таинственно наклоня-

ясь ко мне. – Ну вот, ей-Богу, верьте слову честного еврея – ну ни разу в жизни не выстрелил! И кому это нужно стрелять, я прямо не понимаю! И почему это без выстрелов жить нельзя? А?

Один из сдавшихся

«Испанец Петька»

Звонко и весело тренькает балалайка в опытных руках. Круглая рожа куплетиста лукаво ухмыляется со сцены. И он смело и насмешливо бросает в тишину зала припев «гимна «СЛОН»*:

«Тех, кто наградил нас Соловками,
Просим – приезжайте сюда сами.
Проживёте здесь годочка три, четыре, пять...
Будете с восторгом вспоминать»...

Битком набитый зал шумит и гогочет. Физиономии сидящих в первом ряду «гостей из Москвы» благодушно улыбаются. Тонкое еврейское лицо Глеба Бокия, члена коллегии ОГПУ, кривится умной нездоровой усмешкой. Глубоко впавшие глаза лихорадочно поблёскивают. Он как-то хищно, порысьи, посматривает на певца, словно запоминая его черты. Сидящий рядом с ним Катаньян, прокурор ОГПУ, откровенно доволен. Его жирное лицо с синевой недавно выбритых щёк осклабилось в широкой улыбке. Кажется, что вот-вот его лошадиная физиономия заржёт... Эйхманс, начальник лагеря, суров и невозмутим. Сухие, острые черты его лица, белёсые

*Соловецкие Лагеря Особого Назначения

латышские глаза остаются холодными, словно он, хозяин, не имеет права смеяться здесь. Он и на этом вечере «самодеятельности» в честь приехавшей из Москвы разгрузочной комиссии чувствует себя не зрителем, а начальником. Но зато его помощник, тоже латыш, Мартинелли* хохочет от всего сердца. Его восьмипудовое тело колышется от взрывов смеха. Жирный живот подпрыгивает. Массивное лицо лоснится...

Смолкают шум и аплодисменты. Конферансье, известный московский режиссёр Коля Глубоковский**, торжественно объявляет:

– Следующий номер нашей потрясающей программы, специально созданной, чтобы уморить со смеху наших дорогих гостей (от которых мы ждём сокращений срока на 200 проц.), – «испанский танец» в исполнении известного артиста кормордебалета, профессора чёрной и белой магии – Пети Фью-фью ньковского.

Он выразительно свистит, и вес зал грохочет от аплодисментов. Гул прокатывается из конца в конец, и все лица расцветают.

– Петька-а-а-а!

– Даёшь Петьку!..

В зале – всё больше ВОХР, администрация, активисты. «Энтузиазм» обеспечен вне отношения к качеству выступлений...

Эйхманс нагибается к уху Катаньяна. Бокий тоже склоняется к нему, и после нескольких слов объяснения их лица разукрашиваются улыбками.

В глубокой тишине медленно раскрывается занавес. На сцене уголок старого еврейского местечка. Покосившиеся серые избёнки, корчма, кривой фонарный столб, непролазная грязь и лужа в середине небольшой площади, в луже мирно дремлет нарисованная свинья.

---

*Теперь начальник лагеря БАМ

**Все фамилии этого очерка настоящие

Тихо... Где-то далеко кричит петух, потом истошным голосом визжит поросёнок. Потом откуда-то начинает доноситься весёлый мотив знаменитой одесской песенки «Свадьба Шнеерзона».

Мотив льётся всё ясней. Хор воров за сценой поёт эту песенку, не раскрывая рта, только мычаньем, и кажется, что звуки как-то естественно возникают в воздухе.

Мотив становится всё отчётливей и веселей... Наконец откуда-то из-за кулис начинает доноситься и песня со словами. Тонкий визгливый голос с подчёркнуто еврейским произношением выпевает:

«Нинвеста же куг'ег'ша финотдела
Сигодни г'азг'адилась ув пух и ув пг'ах -
Фату м'ешковую од'ела
И д'ег'евяшки на ногах»...

Песня приближается.

«Ув глаза так пг'амо режит асвищенье,
Как будто там балшой буг'жуйский бал,
А на столе стоит угощенье,
Что стоит кг'упново капитал»...

Наконец из-за угла показывается и сам певец – длинный, тощий еврей в проломанном котелке, с длинной бородой, пейсами, в засаленном лапсердаке и с громадным, порыжевшим от времени зонтиком.

Он явно навеселе. Блаженно улыбаясь, он делает несколько неверных шагов по площади, спотыкается, натыкается на фонарный столб, любовно его обнимает и продолжает петь дальше о том, как на свадьбе была весёлая гульба и как вдруг:

«Вбежал смотритель дома с криком:
«Игг’айте туш – идёт домком!..»

На лице еврея испуг и почтение. Он даже пытается приосаниться.

Наконец появляется начальство:

«Сам пг’еддомком, Абг’ашка дег’ Молочник,
Вошел со свитою своею словно цар,
Аг’он Вайншток, его помощник,
И Хаим Качка – секг’етар»...

Несмотря на своё неустойчивое положение, еврей не выдерживает. Его ноги, обутые в длинные рваные ботинки чаплинского типа, начинают подёргиваться, и он пытается пуститься в пляс. Заплетаясь пьяными ногами, размахивая своим старым зонтом, еврей начинает свой «испанский танец».

Зал умирает от хохота. Уморительные выверты танцора, развевающиеся фалды его нелепого лапсердака, вся его нескладная фигура могут заставить рассмеяться даже мёртвого. Гости в восторге. Катаньян хлопает себя по жирным ляшкам и сгибается от хохота. Даже каменное лицо Эйхманса кривится в усмешке.

Танец идет всё быстрей. И внезапно во время какого-то очень лихого выверта из-за угла дома появляется большая толстопузая еврейка в замасленном переднике, с селёдкой в руках. Она начинает что-то кричать на танцора, но тот охватывает её обширную талию и пускается с нею в пляс. Толстуха сперва сопротивляется, но потом не выдерживает – залихватский мотив подмывает и её. И вот начинается танец еврейской пары – тощего, «как шкилет», еврея и бочкообразной еврейки.

Зал грохочет и неистовствует. А на сцене идёт подлинно артистическая игра: взлетает вверх зонтик и хвост селёдки,

мелькают в нелепых па рваные ботинки, на потном, красном лице уже отклеивается приклеенная борода.

И вдруг...

С треском хлопает какая-то рама, и из ближайшего окна вылезают голова и туловище... городового... Его выпученные оловянные глаза возмущённо выкатились на лоб, рыжие усы свирепо натопорщились, и он, кажется, готов вот-вот гаркнуть во всё своё горло...

В обстановке лагеря фигура городового кажется осколком чего-то старого, прочного и мощного. Так и вспоминаются строчки:

«О, появись с багрово-красным ликом,
С медалями, крестами на груди
И обойди всю Русь с протяжным, зычным криком:
«Куда ты прёшь? Подайся!.. Осади!»

Но городовой молчит. Он только свирепо вращает глазами, и еврейка безмолвно, как бочка, катится в обмороке. Длинный еврей остолбенел в первые секунды, потом медленно и расслабленно садится прямо в лужу и продолжает широко раскрытыми от ужаса глазами смотреть на страшные усы...

Занавес.

Зал грохочет...

Зависть

– Везёт же этому сукину сыну, Петьке, – говорил с завистью мой приятель, галлиполиец-офицер Саныч, когда мы после вечера возвращались в свой домик-сарай на берегу Святого озера*(*В конце моего соловецкого сидения я был заведующим спортстанцией соловецкого полка охраны). Ведь вот даст же Бог такой талант стервецу... В лоск всех укладывает... Уж на что Эйхманс – ведь такой же

зверюга, кажись, отроду не смеялся, так и тот ржал, как жеребец... А теперь, ясно, пьёт Петька царский коньячок с начальством, и хоть бы хны...

В воротах старинной монастырской башни стоял часовой. Его нахмуренное лицо при виде нас осклабилось, и он приятельски подмигнул.

– Что, на концерте были?

– Ага...

– Небось, опять комендант санчасти разделывал по жидовской линии? Я-то и отсюда слыхал, как все гремело... Вот ногами, верно, путлял, старался... Эх, елки-палки, – а тут стой, как обалдуй со свечкой... В кои-то веки на энтом проклятущем острове смешками подзаняться можно. Посмеёшься – оно, верно, и на душе веселее...

Мы вышли из кремля. Холодный северный ветер с визгом охватил нас, закрутил полы пальто, наерошил волосы, холодными струйками пробежал по телу.

Тёмная громада стен, башен и соборов Соловецкого монастыря спала тяжёлым сном...

Закон «блата»

– Ты уж не ругайся, Борис, что я тебя срочно вызвал, – говорил мне прямой, стройный человек. – Надо вот одного парня выручить. Пиши требование...

Завотделом труда, морской офицер Н. Н. Знаменский, с которым ещё недавно я плавал по Чёрному морю на «Памяти Меркурия» (теперь крейсер «Коминтерн"), подвинул мне кусок бумаги.

– «Отдел Труда. Требование: Прошу откомандировать в моё распоряжение з/к*...»

– Кто там у тебя?

---

*З/к – заключённый

– Пиши: «Риман, как незаменимого специалиста по ...»

Я остановился.

– Чего бы такое выдумать?

– Хм...

Знаменский тоже задумался. На какую бы такую амплю его втиснуть? Нет ли там у тебя чего-либо экзотического?

– Постой. А кто он такой, Риман-то?

– Да разве фамилии-то не слыхал? По 1905 году?

– Тот – начальник карательного отряда?

– Эх, ты, шляпа! Ни черта ты не выучился за это время!.. «Тот» Риман... Тоже пальцем в небо попал!.. Того Римана живым бы и оставили до сих пор!.. Это его брат. Тоже полковник...

– Ну, тогда понятно... Весь корень, значит, изводят... Так... Ну, ладно, я его назову специалистом по уходу за военными лыжами... Ладно?..

– Сойдёт! Там отбрешешься, ежели придётся... А парня выручать надо... Его всё по лесам гоняли... Руки у него совсем обмороженные. Надо дать ему отдохнуть малость...

Полковник Риман

К вечеру в наш сарай, к которому мы своими силами пристроили маленький домик величиной в одну четверть трамвая, пришёл Риман. Это был старик небольшого роста, с тонкими чертами умного лица, седыми, когда-то пышными усами и месяца два небритой седой щетиной бороды. Его лицо было покрыто багровыми пятнами подмороженной колеи. Одет он был в старое казённое лагерное платье. На ногах были оборванные валенки, обмотанные мешками и подвязанные какой-то верёвкой.

Когда я протянул ему руку, он отвёл свою:

– Простите, тов. Солоневич, не могу... Совсем больная...

– А что у вас?

– Да вот, отморозил... Теперь кончики пальцев гниют...

– А в санчасть не обращались?

Риман невесело усмехнулся.

– Рада бы душа в рай... Туда разве добьёшься?.. Там многих и более тяжёлых больных не принимают. Два врача на пять тысяч человек...

– Ладно... Что-нибудь всё-таки давайте попробуем сделать. Саныч, катим к Петьке. Он должен помочь...

Помощь

На дверях одной из маленьких монастырских келий надпись:

«Комендант Санчасти УСЛОН ОГПУ».

Дверь заперта. После нашего стука слышны заглушённые голоса, шорох и потом голос Петьки: «Кто это?»

– Я, Петька. Открывай, чёрт санитарный! – кричит Саныч.

Через минуту дверь открылась, и мимо нас шмыгнула какая-то женская фигура с закрытым платком лицом.

Саныч засмеялся.

– Вот блатное место себе придумал Петька!.. Бельё считал? А?

Красивое мужественное лицо Пети открыто смеялось.

– А что ж... Один раз жить, два раза умирать... Хоть день, да мой! А что у вас?

– Да вот, Петька, помоги... У полковника с руками хреновое дело... Надо врачу показать...

Петька выпрямился.

– Здравия желаю, господин полковник, вы, видно, из лесу?

– Да, товарищ комендант, – устало ответил старик Риман.– Два месяца из лесозаготовок не вылезал...

– Так чего же вы нам не сообщили?– возмущённо сказал комендант. – Мы бы мигом вас выудили...

– Видно, специальное распоряжение было держать меня там.

– Ну, вот ещё!.. Чхать нам на распоряжения! На то и блат на свете есть...

Петька на секунду задумался...

– Ладно,– решительно сказал он.– Подождите меня. Закройтесь и не отзывайтесь никому. Только я так вот стукну – тогда открывайте...

Минут через 10 раздался условленный стук. Петька пришёл с доктором Яхонтовым, через плечо которого висела санитарная сумка.

Толстый пожилой врач развернул тряпки, которыми были обмотаны руки Римана, с моей помощью обрезал уже омертвевшие ткани, присыпал раны йодоформом и забинтовал.

– Ну что ж,– вздохнул он наконец...– Ничего больше не сделаешь... Тут только отдых да организм помочь могут... Бог даст, и без ампутации обойдёмся... Дня через два покажитесь. Вы где сейчас, господин полковник, работаете?

Риман недоумевающе поглядел на меня.

– Да вот... у товарища Солоневича... А как – ей-Богу, не знаю!

– Дефицитная специальность – уход за красноармейскими лыжами...

– Ах, вот оно что! – понимающе усмехнулся Яхонтов... – «Блатная синяя кура»!.. Ну, ну, действуйте. А вы, Петя, меня дня через два опять вызовите к полковнику. Может быть, спасём пальцы...

– Ладно, доктор. Спасибо.

Яхонтов стал прощаться.

– Посидел бы с вами, да ведь заметят... А вы, полковник, всё-таки замотайте сверху тряпками. А то узнают – скандал выйдет. У нас гангренозные сотнями по командировкам валяются – ни мест в лазарете нет, ни медицинских сил... Не выдавайте блата...

– Будьте спокойны, доктор, – устало ответил бледный Риман, нелепо и трогательно держа забинтованные руки на весу.– Не выдам…

– Спасибо всем вам, господа... Я уж думал, как одинокая собака, сдохнуть.

– Ну вот ещё, господин полковник, – весело отозвался Петька. – Вы только голос вовремя подайте – мы ведь не сволочь какая... Выручим своих...

Не повезло

– Что это за старика я видел сегодня там у вас, на станции? – мимоходом недовольно спросил меня командир полка*, старый унтер Петров. Его холодные глаза с каким-то подозрением оглядели меня.

– Какого старика, тов. командир?

– Так это я у вас спрашиваю, какого... Небольшой такой, с завязанными руками...

– Вероятно, новый рабочий.

– А как фамилия?

– Кажется... Ниман или похоже на это...

– А кто он такой?

– Не знаю точно, тов. командир.

---

*В Соловках стоял 4-й полк дивизии особого назначения им. Дзержинского

– Вечно у вас, Солоневич, какой-нибудь там классовый подход... На кой хрен вам какой-то инвалид... У нас не богадельня. Выкиньте его к чёртовой матери немедленно.

– Есть.

Из-за этой неудачной встречи с комполком Риман через несколько дней был исключён из списков спортстанции. Но ему уже не дали бесследно исчезнуть где-нибудь в лесу или на инвалидном пункте. В тот же день Петька устроил старика санитаром лазарета со строгим наказом не попадаться на глаза начальству...

Шехерезада

Был суровый полярный февраль. Вьюжные ветры метались и выли на Соловецком острове и забирались во все закоулки кремля. И когда воображение рисовало картинки работ в лесу, где тысячи людей рубили деревья в условиях такой вьюги, – холодная дрожь невольно проходила по телу и кожа под полушубком становилась гусиной.

В один из таких дней, когда мы все сгруппировались около гудевшей печки в нашем маленьком, своими руками построенном домике, внося с собой облако пара, вошёл Саныч.

– Знаете новость, ребята?

– Ну?

– Петьку на материк вызывают. Только что телеграмму по блату видел в адмотделе: «Перебросить немедленно с театреквизитом».

– Очевидно, в Кемь?

– Ну да. Очередной спектакль с «испанским танцем»...

Старый чех – сокол Вихра – неодобрительно покачал своей седой головой.

– Некрасиво всё это. Такой хороший парень и по такой дороге пошёл.

Саныч пожал плечами.

– Ну а что ж? Тут каждый по способности выкручивается... А Петька всё-таки наш парень. А что он там с чекистами возится, так это – «применение к местности». Не мы Соловки создавали, и не нам здесь законы устанавливать.

– Ну, всё-таки с такими пьянствовать... Как-то грязно!

– Эх, дядя Вяча, буржуазная у вас закваска. Вы-то палачей лыжному спорту обучаете? Что ж ему так и сидеть здесь свои пять годиков? А потом Сибирь ещё на столько же? А так, может, под пьяную руку какой Бокий ему полсрока и скостит. Соловецкими годочками тоже бросаться не приходится.

– Может быть, вы и правы,– качнул головой старик... – Объяснить-то всё можно...

Ковёр-самолёт

Белое море вокруг Соловков совсем никогда не замерзает. Около его берегов устанавливается ледяной покров километра в 3–4, а море покрывается ледяными горами и торосами. В хорошие дни почтовые лодки успевают прорваться на материк через баррикады этих гор, но переброска людей зимой вообще, как правило, исключена.

Петьку решили перевезти на гидроплане.

Ранним тихим утром мы собрались у ангара. Высокая прямая фигура Петьки ёжилась от холода, но лицо его было лихорадочно оживлено. В кучке провожавших друзей, обладавших в Соловках правами неписаного закона блата, были Знаменский, его приятель, тоже морской офицер, Миша Шульц, Саныч и я. Около небольшой двухместной машины возился «вольнонаёмный» офицер-лётчик Кова-

левский, мужчина неохватной величины, выравнивая с помощью ангарных рабочих хвост самолёта. У мотора, замасленный и мрачный, копошился инженер Пахолков, при воспоминании об истории которого презрительно и недоуменно пожимали плечами заключённые. Пахолков получил образование в Германии, выделился там и своими знаниями, и изобретениями, и громадным трудолюбием. Как случилось – неизвестно, он про это не говорил, – но молодой инженер приехал в СССР, «на родную землю», применять свои познания... Остальное понятно. Так сказать – «песня без слов».

Последний раз рявкнул мотор. Пахолков довольно обтёр руки.

– Всё в порядке, тов. Ковалевский. Можно двигать...

Меланхоличный летчик оглянулся и, увидев Петьку, кивнул головой.

– А как же я, в такой робе? – спросил Петька. – Замерзну ведь к чёртовой матери!

Ковалевский неодобрительно оглядел его лагерное обмундирование.

– Н-да... Как бы вместо вас сосульку не привезти... Ну да ладно... Тут всего и дела-то на 20 минут... Эй, Пахолков, дайте-ка ему спирта. Авось довезём живого...

Чистый спирт Петька пить всё-таки не решился. Раскрасневшись от двух стаканов водки, он дружески расцеловался со всеми нами.

– Ну, прощевайте, ребята...

– А когда назад?

– Да, по совести говоря, назад, может, и не попаду. Теперь я – «ножной солист двора Его Величества Начлагеря»... Бог даст, на этом коньке удастся и из Соловков выехать...

Мотор ревел всё громче. Ковалевский поднял руку. Рабочие, державшие хвост, отпустили его, и машина, покачиваясь на своих лыжах, двинулась вперёд.

Когда самолёт превратился в чёрную точку, Саныч вздохнул:

– Эх... Вот и нет друга... Был Петька и весь вышел. Чёрт его знает, как и где доведётся встретиться!

Его красивое, породистое лицо было сумрачным, как будто он не был рад судьбе своего старого друга...

В струях водоворота

Четыре года спустя, когда я отсидел очередные 4 месяца на Лубянке и в Бутырке и вернулся на место своей ссылки, в Орёл, моя старуха-хозяйка сообщила мне:

– Да вот тута, Б.Л., какой-то парень приезжал... Говорил, что с Казахстана. Вас искал... Видно, очень огорчён был, что вас не застал... Хотел комнату снять, да свободной не было...

– А вы адреса его не знаете?

– Не... Кажись, он пултболом или как это – которые мячик гоняют – занимается... А так ничего – ладный парень…

К вечеру я обнимал Саныча. Он пробыл в ссылке в Казахстане 3 года, приехал сюда на положении «минус шесть» (самая слабая форма ссылки) и теперь работал в клубе профсоюза «Пищевкус» инструктором спорта.

Обмениваясь новостями, вспомнили и Петьку.

– Ну, Петька-то наш совсем, как сыр в масле, стал кататься. Я слыхал, что на остров он так и не вернулся — всё с гастролями ездил по лагерям... Везде ведь поржать людям хочется... Парень он компанейский, выпить не дурак, да и с морды красавец – словом, карьеру делает

– А где он сейчас?

– Чёрт его знает... В моей казахстанской дыре я не только что про Петьку, но и про «прогресс мировой революции» слыхом не слыхал... Теперь вот какое дело, дядя Боб. Ежели мы уж в таком соседстве от Москвы, надо как-нибудь туда съездить. У меня регистрация в ГПУ два раза в месяц. На день-два смотаться можно... А вы там на железке посмотрите, чтобы как-нибудь на глаза кому не попасть. А хочется поехать – сил нет... Сколько лет матушку-Москву не видал... Да там и моя старушка живёт... Ну как, двинем?

– Двинем!

Встреча

Звеня и гудя, лихо несла нас «букашка»* по Садовой. Мы с Саныч висели в качестве единиц трамвайной грозди, изображая из себя одного человека: у нас обоих в сумме только две ноги стояли на подножке и две руки держались за поручни. Остальное было на весу и тщательно вжималось в человеческое месиво, когда грохочущие грузовики в угрожающей близости проскакивали мимо нас.

Мы были веселы. Матушка-Москва проплывала мимо нас со всей своей милой суетливостью и провинциализмом, грязью и ... уютностью.

Много прелести придавало и ощущение запретного плода – мы были адмссыльные, не имели права показывать нос в Москву и намеревались пройти мимо страшной Лубянки и показать ей шиш – а мы всё-таки живы!

Шутя и балагуря в живой грозди, Саныч уже флиртовал с какой-то рабфаковкой. Мы только что тронулись с очередной остановки, как вдруг с тротуара раздался громкий вскрик:

– Саныч... Сукин сын... Стой!..

---

*Трамвай «Б»

Мы оглянулись. Высокий человек в военной форме бежал за трамваем и махал рукой. Лицо Саныча чуть побледнело. Он беспокойно и беспомощно оглядел кучу висящих на поручнях тел и опять с опаской оглянулся на военного. А тот всё бежал за трамваем шагах в двадцати, что-то кричал и махал рукой...

Трамвай всё ускорял ход... Лицо Саныча прояснилось. Он поглядел на меня, словно хотел сказать:

– Кажется, выкрутимся!..

Внезапно из переулка выехал тяжело нагруженный грузовик, и, заскрипев своими тормозами, трамвай остановился.

Мы готовы были соскочить и драпать, куда глаза глядят, как вдруг острые глаза пулемётчика Саныча раскрылись в удивлении.

– Петька... Ей-Богу, Петька!

Я не поверил своим ушам.

– Да не может быть!..

Но военный уже был близко. Его лицо весело ухмылялось, и в руке приветственно мелькал снятый с головы красноармейский шлем.

Драпать было уже поздно

– Слезайте, черти соловецкие! – кричал Петька, подбегая... – Оглохли вы, что ли? Или не узнали?..

Трамвай звякнул и тронулся. Мы в нерешительности поглядели друг на друга.

– Слезай, ребята! – опять крикнул Петька, и мы слезли. В душе было чувство тревожного беспокойства. Что-то будет дальше?

Лицо Петьки сияло искренне радостной улыбкой.

Не обращая внимания на протянутую руку Саныча, он звучно и крепко его расцеловал. Такой же операции подвергся и я.

– Вот это да!.. – запыхавшись, восклицал Петька. – А вы, хрены полосатые, не узнали, что ли?.. 100 метров из-за вас по улице пропёр... Фу!.. Ну и до чего же я рад!..

Только тогда Саныч опомнился.

– Как же это ты, Петька, в робу командира ОГПУ влез? Что за хреновина?..

– Ну, это, брат, долго рассказывать. Пойдём в пивнушку – там расскажу...

Минут через 20 мы сидели в небольшой пивнушке. Форма войск ОГПУ вызвала трепет подавальщиц.

– Чего вам, ребята? – весело спросил Петька. – Имейте в виду, что я начинён дензнаками, как подушка. Пару дюжин пива пока?.. А?.. А что закусить у вас есть? – обратился он к подавальщице, ожидавшей заказа.

– Ничего нет, товарищ командир. Вобла солёная...

– А хлеба разве нет?

– Нет, товарищ командир...

– Вот дьявольщина!.. А где здесь поближе есть что-нибудь питательное?

– Да напротив столовая осоавиахимовских курсов...

– А... а! Это дело!.. Ладно, ребята, подождите минутку, я сейчас чего-нибудь выжму... – И он стремительно вышел.

Мы переглянулись.

– Что за наваждение?.. Глаза не верят...

– Слушайте, Саныч... Не лучше ли было бы смыться по-добру-поздорову? Чёрт его знает, что теперь парень из себя представляет. А мы ведь беспаспортные...

– Ну, никак не верю я, что Петька сволочью всерьёз сделался и нас подведёт. Я же с ним на бронепоезде воевал. Под Харьковом вместе латышей били. На его глазах бронеплощадку под огнем прицепил, второй крест получил... Не поверю, чтобы он с мильтонами вернулся. Подождем, дядя Боб. Я за него ручаюсь, как за брата. Кого-кого, но нас он не выдаст...

Через несколько минут Петька показался с завернутым в газету продовольствием – хлебом, старой кашей и несколькими рыбами.

– Ну, вот и попируем. Это тебе не соловецкие чайки!.. Нате, ребята, жрите... Вы, вероятно, как всегда, голодны, как звери?

– А ты, Петька, откормился что надо!..

Петька ухмыльнулся и стал откупоривать бутылки.

– Это – что и говорить... Я уж вижу, что вы лопаетесь от недоумения, как я попал в эту робу... Да, ребята, по совести говоря, и самому неясно. Скажи мне кто про такую комбинацию пару лет тому назад – в морду дал бы...

– Да ты, Петька, расскажи толком. Как это всё вышло?

– Да так, тихой сапой... Вы помните, как меня с Соловков сняли? Ну, в Кеми спектакль за спектаклем. Потом в Петрозаводск, в Архангельск... Потом полсрока скинули. Ну а дальше автоматически – пять лет Турухана... Эйхманс и говорит: оставайтесь вольнонаёмным режиссёром театра... Выбора, ясно, не было. А с вольнонаёмным театром долго ли карьеру сделать? До Питера доезжал...

– И всё с «испанским танцем»...

– Ну вот... Неужели только на этом репертуаре все строить?.. Но надо честно сказать, «испанский танец» – главное дело... Всем, ей-Богу, поржать надо. Жизнь-то ведь сероватая, с красными прожилками. Приятно в кои-то веки и над жидом посмеяться. Вот веришь, Саныч, ведь жиды-то больше всех танцем и были довольны. Почему – уже и не объясню.

– Но почему же он «испанский»? – спросил я.

– Чёрт их знает – кажется, чтобы цензура не прицепилась. Словно контрабанда... Хотя все и так знают... Да, так вот... Да вы, ребята, пейте как следует... У меня денег – сотню таких, как вы, напоить есть... Да!.. А потом попёрли меня в Бологое. Тоже московская компашка собралась. Выпито было соответственно... Глеб Бокий и говорит: «Чего вам, танцорам, дурака валять?.. Пошли бы, – говорит, – к нам на службу всерьёз»...

«Да я ведь и так на службе – режиссёром. Удостоверение ОГПУ».

«Ну, это что!.. Нам строевые начальники нужны. А то от дураков всем хуже. И работы нет, и толку нет, и люди дохнут... Что дохнут – это хрен с ними – других найдем. А вот как накрутят они в экономике – расхлебывай потом... А вы – парень грамотный»...

Предложил он это мне, и, помню, у меня весь хмель выветрился. А он уговаривает:

«Да что ж... Мы вас в комсостав возьмём. У вас и народ меньше мереть будет, и порядка больше будет»...

– Трудно, помню, было решиться... А потом думаю: всё равно кто-нибудь там да должен работать. Оно и верно – лучше уж пусть я буду, чем какая-нибудь сволочь, вроде Френкеля*... Да и потом – что ж, ребята... Мне ведь 29 лет... Хочется и мне хорошей жизнью пожить, катаясь между бутылками и девочками... Я же мирного времени совсем не помню... Что ж, так прожить зря?..

В это время в дверь пивнушки вошёл патруль милиционеров.

Посетители пивной зашевелились и стали вытаскивать бумажки из карманов. Мы с Санычем беспокойно переглянулись. Петька заметил этот взгляд и усмехнулся.

– Не дрейфь, робя!

Подошедший милиционер молодцевато отдал честь. Петька небрежно отмахнулся.

– Граждане, позвольте ваши документы! – обратился милиционер к нам. Саныч полез в карман.

– Не надо, – спокойно сказал Петька. – Эти товарищи со мной.

Милиционер как-то помялся.

– Да нам приказано, товарищ командир...

– Не знаю, что вам приказано, – сухо прервал Петька. – Я знаю свой приказ и прошу в него не вмешиваться.

---

*Один из создателей системы жесткой эксплуатации заключенных, потом производитель работ Б.Б. канала и БАМ

Он вынул какую-то синюю книжку и протянул её милиционеру. Тот сверил фотографию, мельком оглядел две шпалы на малиновых петлях, молча откозырнул и отошёл.

Саныч протянул руку за этой книжкой.

«Предъявитель сего, такой-то, состоит Начальником Отдельного Лагерного Пункта Подмосковного Лагеря Особого Назначения Принудительных работ ОГПУ».

– Ну, ну... Не думал я, что ты так ссучишься, – тихо сказал Саныч.

– Да брось чепуху пороть, Саныч! Такой, как был, такой и остался. А что роба да мандат – так это внешнее. С волками жить – по-волчьи выть. Что ж, так же, как вот вы, околачиваться по ссылкам?.. Надоело это, по совести говоря... Жить-то ведь один раз!

* * *

Больше Петьки я не встречал.

Полное имя его – поручик барон Петр Петрович Энгельфельдт.

Здание ОГПУ. Москва. Лубянка.

Хлебный бунт

(Записано по рассказу участника-очевидца Н. А.)

Томительно жаркое южное лето. Эскадра на манёврах. Стальные коробки, раскалённые горячим солнцем, медленно ползут из Севастополя к кавказским берегам...

И скучно, и скучать некогда... Тревоги, авралы, стрельбы, эволюции... С завистью смотрят моряки на беленькие домики приморских городков. Путь мимо... Только осенью спустят на берег, да и то – казённые празднества, бесконечные речи и оркестры... Ходульно и неуютно. Казённый штамп советских энтузиазмов...

Минный крейсер «Червонная Украина» (хотя на нём украинского слова не услышишь), окружённый миноносцами и парой канлодок*, проходил на траверзе** Новороссийска, направляясь параллельно берегу, как резко заскрипели штурвальные тросы, и эскадра стала неожиданно поворачивать на Новороссийск. Среди комсостава – непривычное волнение. Всё стало как-то напряжённым и неуверенным. Эта тревога неуловимыми путями проникла во все поры корабля, и сонное благодушие мигом слетело с лиц 800 человек команды.

Было ясно, что что-то случилось! Что – ещё было неизвестно, но ощущение тревоги всё росло. К вечеру неисповедимыми путями команда узнала про полученную радиограмму от Новороссийского ОГПУ – «эскадре срочно прибыть в Новороссийск»...

Раннее утро. Далеко на горизонте уж четко обрисовались беловатые холмы, окружающие Новороссийск. Растёт

---

*Канонерские лодки

**Против

белая колонна Дообского маяка. Всё ближе. Вот уже виден и город... Свободная от нарядов команда – у борта. Но нет шуток и смеха. Неспокойно на сердце...

И вдруг... Резкий звук горна. Тра... та-та, трррa...ра! Вахтенный горнист надул щеки, но, странное дело, не по-обыкновенному бодро и весело звучит мелодия боевой тревоги... Тут – не манёвры. Боевая тревога у советских кораблей, подходящих к советскому берегу...

Но привычка сделала своё. Грохот, топот ног, минутная беготня по трапам – и всё замерло... На гафель медленно пополз красный флаг – «корабль готов к бою»… С кем?..

Ближе и ближе... Серая громада мола... На берегу стоит громадная толпа. Привычная картина – где не встречали флот такие толпы: кто из любопытства, кто по профсоюзной обязанности? Но теперь глазам моряков, впившимся в щелки боевой рубки, плутонгов, неплотно задраенных иллюминаторов, как-то странно не видеть красных знамен, не слышать приветственных криков.

Всё мрачно и молчаливо. Серая толпа неподвижна и настороженна, словно понимает, что эти стальные громады медленно приближаются к берегу не как друзья, а как враги.

Опять горн – «в ружьё»... «Сбор»... Заскрежетали тали лебедок, и баркасы стали медленно сползать в воду. Затопали по трапам ноги, и ощетинившиеся штыками баркасы поползли к берегу. Лихо вынесся из-за мола сторожевой катер. Какой-то военный в форме ГПУ тихо говорит с начальником десанта. Все глаза моряков прикованы к этим двум лицам, холодным и властным. Чекист почувствовал огонь острых глаз и обернулся. Десятки молодых лиц, не отрываясь, смотрели на него враждебными взглядами чужих людей. Он вздрогнул и опять повернулся к командиру. Тот поднёс руку к фуражке и глухо ответил: «Есть»...

Медленно выходят на берег моряки. Команда – и строй замирает. Взводы вытянулись тонкой линией на пристани.

Сзади – громадные корпуса иностранных пароходов. Впереди – элеваторы и перед ними – толпа людей...

В этой толпе нет мужчин – только бледные, растрёпанные женщины, уже понявшие, что этот строй – живая стена – преграда между ними и хлебом... Опять прорвался чей-то вскрик, и лица женщин исказились... Поплыл нестройный гул криков и проклятий... В этих вскриках слышны слова:

– Хлеба!..

– Буржуям грузите, а нам есть нету?...

– С голоду пухнуть, что ли?

Какая-то женщина с искажённым лицом подскакивает к строю. Резким движением она разрывает платье на груди и исступлённо кричит:

– Стреляй!.. Всё равно дохнуть с голоду... Мучители!..

Испуганный моряк пятится назад, и ровная линия строя ломается.

Бледный командир взвода срывающимся голосом кричит:

– Разойдись!..

Его голос кажется слабым и нерешительным среди волн истерических визгов и криков. Но потом и его голос повышается до хриплого, напряжённого взвизга:

– Разойдись – стрелять буду!..

Толпа не обращает внимания на эти слова, и только по рядам неподвижных бледных моряков пробегает волна тревоги. Пальцы судорожно сжимают винтовки, и лица бледнеют ещё больше... Впереди – беснующаяся толпа, сзади – как будто вымершие «иностранцы», и где-то ещё дальше, пусть не видно, – но чувствуются стальные жерла орудий. Страшная машина готова действовать против безоружной толпы. Среди моряков 90 проц. партпрослойки, но и их привыкшие к дисциплине сердца с замиранием ждут дальнейшего.

– Рота...

Послушные руки какими-то автоматическими движениями вскинули тяжёлые винтовки.

– По впереди стоящей цели... пятью патронами... заряжай!..

Загремели затворы. Ушли в патронник жёлтые гильзы. Вороватым движением скользнул острый патрон в ствол... Оттуда, из дула каждой винтовки, смерть уже занесла свою руку над кем-то из этой толпы...

Но вот с правого фланга пронеслось быстрое, как ветер, приказание, и сразу все ожили... На левом фланге ещё суровая напряжённость, а на правом – уже нервные усмешки...

– Стрелять поверх голов... – шипит тихая команда.

Шагнул вперёд командир взвода.

– В последний раз, товарищи, прошу, разойдись!

Примолкло всё, но никто в толпе не шевельнулся, словно все зачарованы видом чёрной ленты людей со сверкающими штыками.

– Рота... – Вскинулись винтовки... Руки словно чужие... На мушке – серые стены элеватора, но как тяжело... Словно свинец...

– Пли!

Грохнул залп... С бортов судов посыпалась дробь пулемёта... На страх врагам...

Толпа подаётся назад, но потом внезапно словно рвётся нить её напряжённого молчания, и опять взвиваются вскрики. Никто не упал, и передние ряды начинают опять напирать на линию штыков. А сзади в одном метре – море... Глухо плещутся волны внизу. Холодной стеной встают борты «иностранцев»... пришедших за русским хлебом.

И с лица командира взвода сходит последний румянец. А уже из толпы женщины бросаются вперёд, хватают за штыки, беснуются у самых лиц.

И тогда вспыхивает отчаянная команда.

– Прямо по толпе... пачками...

И сердце у всех замирает, руки едва держат винтовку, а поверх мушки видны не серые, мёртвые стены, а живой калейдоскоп живых лиц... Неужели?

– Рота... Пли!..

У каждого молнией мысль: неужели стрелять? Но залпа нет, хотя винтовки угрожающе направлены на отступившую толпу. Дрожит линия штыков, но никто не стреляет...

И вдруг резко стучит приклад винтовки, взятой к ноге, и вперёд выскакивает молодой моряк. Его лицо бледно и искривлено, фуражка сбита набок.

– Что – в своих стрелять?.. Что ж, товарищи, для того, что ль, винтовки носим, чтоб в баб да рабочих стрелять?

И словно все ждали этих слов. Опустились винтовки, заколебался строй, послышались крики:

– К чёртовой матери... Объясните раньше, в чём дело... С бабами воевать, что ль, будем?.. Дай врага – в дым разнесем, а это что ж?

И уже нет охраны – есть толпа военных, смешавшаяся с толпой голодных женщин... И как-то сразу разрядилось, ослабело напряжение, и толпа стала отходить...

Восстание было закончено. Опасность миновала.

Снова горн. Взволнованной, раскрасневшейся толпой вернулись моряки на корабли, а вечером на борту появились люди с зелёными нашивками, и началось следствие...

Несколько десятков человек было арестовано и увезено, но наутро на всех кораблях прошли наскоро собранные митинги.

И крейсер дал ультиматум ГПУ: «Если к 12 часам дня арестованные не будут освобождены – применим вооружённую силу».

Угроза подействовала, и все были освобождены...

Но прошло ещё несколько недель, и «зачинщики» были под тем или иным предлогом списаны на берег, переведены в другие части и куда-то постепенно увезены. Их судьба неизвестна.

Так кончился «хлебный бунт» в Новороссийске 28 июня 1930 года.

Отречение от отца

В сугробе

Моё знакомство со священником Соболевым началось несколько необычно... В те времена – 1930 год – я жил в ссылке в Томске. Там меня, как «незаменимого спеца», живо мобилизовали на физкультурную работу, и, на своё счастье, я оказался под начальством очень милого сибирского парнишки – Мишки Крутых.

Именно у него в один из дней сибирской весны я «по блату» раздобыл малокалиберную винтовочку и решил прогуляться в тайгу, кольцом окружавшую город.

День, помню, был яркий и солнечный. Морозик был «детский» – градусов что-то под 20, для безветренной, сухой Сибири – почти «оттепель»...

Наслаждаясь торжественной тишиной векового, дремучего леса, я не спеша шествовал по какой-то тропке, извивавшейся между сугробами снега. Тайга казалась мёртвой. Громадные сосны, ели и кедры стояли словно заворожённые – без шелеста и шороха. Солнечные лучи сияли на их снежных коронах, покрытых тонким ледком и сосульками, и среди этого «белого безмолвия» как-то отрадно было чувствовать себя кусочком живого и относительно свободного мира (в 20 верстах всё-таки было ОГПУ!).

Но вот какое-то чуть заметное движение привлекло моё внимание. Следуя охотничьему правилу – «замри», я превратился в «одушевлённую недвижимость». Движение повторилось, и скоро остренькая мордочка белки мелькнула среди ветвей. Прыжок, скачок, змейкой по стволу... Любопытствующие глазёнки замелькали всё ближе...

Завтрак и мех! Мне нужно было и то, и другое. Медленно, пользуясь моментами прыжков белки, я снял вин-

товку. Чуфыкая и ворча, любопытствующий зверёныш подбирался всё ближе. Я осторожно зубами снял рукавицу с правой руки. Ствол винтовки, выжидая момента, стал следить за движениями зверька. Наконец, метрах в 30 белочка прыгнула на какой-то развилок и на секунду замерла. Тёмный контур мушки лёг ей на грудь. Щелчок выстрела – и пушистый клубочек скользнул вниз и зарылся в снег метрах в 15 от меня. Серенький хвостик, как веха, остался над поверхностью снега.

Я отложил винтовку и отвязал притороченные к спине лыжи. Такие сибирские лыжи делаются длиной метра в полтора, широкими, подбитыми снизу мехом. На них ходят без палок, и мех позволяет взбираться, не соскальзывая, даже на подъёмы.

Снежный покров был покрыт настом – вероятно, несколько дней тому назад была оттепель, и теперь блестящий слой ледка сиял под лучами солнца. Хвостик моей белочки торчал из-за каких-то кустов. Чтобы легче было до него добраться, я снял лыжи и шагнул в сторону кустов. И вот тогда-то, когда я нагнулся за зверьком, что-то хрустнуло, и я провалился в сугроб.

Когда я протёр свои очки, я увидел над головой только дыру в насте, сквозь которую улыбалось голубое небо. Оказалось, что я провалился метра на два.

Пушистый, рассыпчатый снег забился во все щели моего платья и окутывал меня мягким пухом. С решительностью слона в фарфоровой лавке я повернулся в сторону. Сопротивления почти не было. Снег – всё такой же рыхлый, лёгкий, словно невесомый, раздавался во все стороны, как пух, и во всех направлениях был одинаков. Тонкая корочка надо мной ломалась с насмешливо-предупредительным звоном, и я не знал, куда, собственно, двигаться. Я отошёл от тропинки всего метров на 15. Прорыть тоннель в снегу было, может быть, и не трудно. Но в

каком направлении лежит эта тропинка, чёрт её побери? Пока я раздумывал над этой проблемой, моё поэтическое снежное окружение стало значительно менее приятным. Растаявший снег ледяными струйками стал пробегать по спине и через голенища сапог пробиваться к ногам.

Нижний Новгород. Взорванная церковь
св. Георгия Победоносца, подрывники

«Этак и замёрзнуть нечаянно можно, – подумал я. – К медвежьему зимопрепровождению я не приспособлен!»...

Где-то метрах в двух должны были лежать лыжи. Разбивая руками наст над головой, я скоро увидел сквозь полупрозрачную ледяную крышу их очертания. Я попытался положить их поперёк дыры в насте, но моя тяжесть ломала наст. Подобравшись к небольшому деревцу, с помощью лыж мне удалось приподняться над поверхностью снега и заметить спасительное направление. Работая лыжами, как лопатами, я часа через два, мокрый и полузамёрзший, добрался до тро-

пинки, проклиная пустынность тайги и все беличьи хвостики во всем мире.

Наступал морозный вечер. Моё мокрое платье стало уже смерзаться. Я подобрал винтовочку и, не думая о добыче, зашагал полным ходом в сторону Томска.

Смеркалось всё сильнее, и мороз стал и меня покрывать настом – мокрая одежда превращалась в ледяную кору. Развести костра я не мог – не было топора, и, начиная уже лязгать от холода зубами, я попросту пустился бегом. И вот где-то в темноте леса я увидел приветливый огонёк.

Коньяк «Три косточки»

Минут через 10 я сидел в небольшой избушке среди леса, приветливо встреченный какими-то двумя стариками. Меня живо вытряхнули из моих жестяных, уже не сгибающихся брюк. Хозяева дали мне какую-то старую солдатскую шинель, большая печь запылала ещё ярче, и я стал согревать своё окончательно похолодавшее было нутро.

Зубы всё-таки нет-нет да ещё полязгивали. Заметив это, высокий седобородый старик набулькал мне чего-то из бутылки.

– Ну, вот теперя, паря, глотни-ка што покрепче, чтобы хворь тебя не взяла! А то иззяб ты совсем!

Из стакана пахнуло явственным денатуратом.

– Что это вы, дедушка, меня травить собиратесь? Да ведь это же чистая денатурка!

Светлый взор старика нисколько не затуманился.

– Ну да... Вот и выпей, паря!

– Так это же отрава!

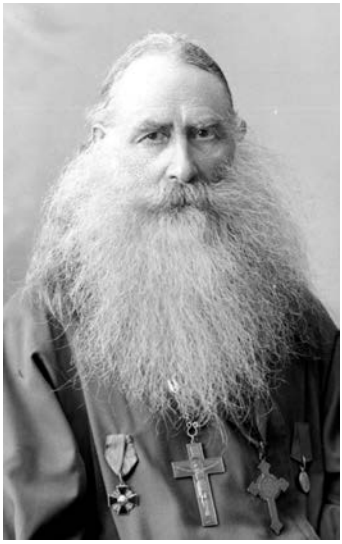
– Отрава? – Старик удивлённо воззрился на меня и протянул руку к бултылке. – Какая же это отрава?

– Да вот же и на наклейке написано: «яд». А тут ещё глядите – череп и две скрещённые кости.

Старик весело засмеялся.

– А ты поверил и испужался? Да у нас, в Сибири, энто так и зовут – «коньяк три косточки». Пей, паря, пей! У нас, чалдонов, эту штуку всю жизнь пьют – и ничего. А тебе-то после твоего снега в самый раз согреть нутро-то... А насчёт отравы – брось и думать-то. Я, вишь, на этой отраве до 90 лет дожил...

Заимка



Нижегородский священник до 1917 г.

Я провёл ночь в компании двух стариков. Старший из них называл себя хозяином этой заимки – небольшого клочка земли среди дремучей тайги. Другой, маленький и бритый, назвался священником Соболевым. Только утром, когда они больше присмотрелись ко мне, понемногу из разговоров выяснилось, что Соболев владел этой заимкой ещё до революции. Высокий старик был его помощником и жил в этой избе. После гражданской войны этот старик пришёл в ближайший сельсовет, назвал себя батраком, на спине которого, мол, столько лет ездил «служитель культа», и потребовал, чтобы заимка была закреплена за ним, как трудящимся на этой земле...

Так этот клочок земли перешёл в пользование «пролетариата». Эта формальность была сделана для отвода глаз, а по существу старики жили по-прежнему дружно. Священник со своей семьёй летом работал на заимке вместе со своим «ба-

траком», и эти земля и пчельник снабжали их всех всякими простыми произведениями сибирской земли.

Сам Соболев давно уже был лишён прихода. Его церковь в Томске была превращена в клуб, но у него остался в личном пользовании маленький домик, где он, уплотнясь до последней возможности, жил со своей семьёй, отдавая несколько комнатёнок внаём.

Вот почему и случилось, что недели через две я снимал комнатку на Преображенской улице у бывшего служителя культа, товарища Соболева.

Советская реальность

Семью Соболева вывозила, по существу, энергия его жены, Анны Александровны. Она комбинировала и с жильцами, и с комнатами, кормила столовников, «выводила в люди» своих двух дочерей и даже ведала делами пролетарской заимки. Старшая дочь Софья была удивительно мягкой, женственной девушкой, молчаливой и скромной. Она подрабатывала как портниха, сидела большей частью дома, и от неё излучался тот не определимый на словах женский уют, который мужчинам (в частности, и мне) кажется тем самым важным, что создаёт чудесное ощущение «дома» и «семьи».

Младшая, Галочка, ещё школьница, была вся соткана из молодого задора, полушарий и смеха. Все они жили дружно: и горе, и радость как-то делились по-семейному в этой милой, тесно спаянной группе. Очень тепло они отнеслись и ко мне, и иногда я чувствовал себя почти членом их семьи.

Именно поэтому, когда я как-то заметил радостную взволнованность в нашей квартире, от меня не скрыли новости. Оказалось, что один студент Томского университета, старый друг семьи, просватал Соню.

– То есть как «просватал», – объяснила Анна Александровна. – Пришёл вчера и этак просто сказал: «А вы отдайте

мне, мама, Софочку. Мы уже давно любим друг друга»... А мальчик он хороший, прямой... Вот и живут теперь вместе...

– А когда свадьба?

Лицо «мамы» затуманилось.

– Да разве ж можно? Ведь Вася-то на последнем курсе. Ему даже в церкви опасно появиться. Пусть живут дети пока и так... Счастливые браки ведь на небе делаются. Была бы любовь да согласие... Я так Васе и сказала: «Распишетесь*, когда надо будет...»

Узел

Недели через две взволнованная Галочка вбежала в мою комнату:

– Подействуйте хоть вы, дядя Боба! А то папа всё не решается...

– А в чём дело, Галочка? Вы с начала, а не с конца рассказывайте.

– Да как же вы не понимаете? Надо письмо написать – от сана отказаться. Я ему говорю, говорю – и хоть бы что!.. А тут, знаете, Васе вышибка грозит – на общем собрании комсомольцы так и резанули: «На поповне женат»... А тут последний курс – и на тебе! – чистка... Да и мне-то в школе тоже постоянно в нос тычут: «поповна, поповна». Думаете, не обидно? Другие – так все «пролетарии», а тут «поповна». Трудно разве дурацкую бумажку подписать?

В голосе Галочки дрогнули слёзы.

За обедом царило подавленное молчание. Старик молчал и почти ничего не ел. «Мама» (мы все называли Анну Александровну мамой) старалась не встречаться взглядом со мной. У обедавшей в этот день у нас Сони глаза были явно заплаканы.

---

*«Расписаться» – значит зарегистрировать брак в ЗАГС'е («Запись Актов Гражданского Состояния»)

После обеда Галочка куда-то упорхнула, а меня задержали в столовой.

– Может быть, вы что-нибудь посоветуете, Борис Лукьянович? – несмело сказала Анна Александровна. – Жизнь так придавила, что, кажется, и выхода не видно... А что-то делать надо.

– Неужели так нажали?

– Ну да... И Васю грозят выкинуть из университета, да и Галочке тоже несладко. Если из школы и не выгонят – дальше всё равно некуда. Дорога везде будет закрыта. Чуждый элемент, лишёнка...

– А что, собственно, нужно подписать?

Священник сидел, опустив измученное, обросшее щетиной лицо, и угрюмо молчал. За него ответила «мама».

– Да вот тут даже текст комсомольцы приготовили. Вот слушайте, какое письмо надо в газете опубликовать:

«Я, священник А. А. Соболев, настоящим отрекаюсь от своего сана и перед лицом всех трудящихся заявляю, что религия – это опиум для народа, который внушается капиталистами для закрепощения пролетариата. Начиная новую трудовую жизнь, я призываю к разрыву с религиозным дурманом других священников г.Томска».

Несколько минут мы молчали. Потом Соболев медленно поднял голову. Его лицо было искажено какой-то мучительной усмешкой.

– Дайте, дайте мне... – с трудом выговорил он. – Я поеду на заимку, подумаю...

Решение

Эти дни в нашем милом домике, обычно полном шуток и смеха, царило подавленное молчание, словно в доме был покойник. Все мы тщательно, словно сговорившись, не затрагивали больной темы.

Как-то через несколько дней, выходя из калитки на улицу, я столкнулся с только что приехавшим священником. Его лицо по-прежнему было измученным и похудавшим, но одновременно светлым и спокойным.

– Ну как, решили, батюшка?

– Решил, Борис Лукьянович... Слава Богу, решил! – бодро и как-то даже весело ответил мне старик. У меня словно что-то кольнуло в сердце, но я промолчал и ушел.

Вечером озабоченно сияющая мама зашла ко мне.

– А вы знаете, Б. Л.? Старик-то мой, старик...

– Что, решил подписать?

– Какое там – ни за что!.. Наотрез отказался!

В голосе мамы было торжество. У меня тоже словно камень с плеч свалился. Я уже решил в случае появления такого письма уйти из этой милой семьи – было бы очень горько смотреть в лицо старику.

– А как же теперь будет с девчатами?

– А не пропадут!.. Им что – молодёжь! А старик-то теперь – видали – словно помолодел! Что значит: чистая совесть! Душа радуется! Пусть другие плюют да травят. Главное – самому себе в душу не плюнуть. Перед собой чистым да честным быть...

Выход из безвыходного положения

Ещё через несколько дней Галочка, даже не постучав, опять ворвалась ко мне.

– Глядите, дядя Боб, как мы здорово выкрутились. А? Вот это да! Башковитый народ – эти студенты, Ей-Богу, пра!..

В местной газете «Красная Заря» на первой странице почему-то почти в траурных рамках были два объявления:

«Я, Софья Александровна Соболева, настоящим порываю всякую связь с моим отцом, служителем культа, А. А. Соболевым, о чём довожу до сведения трудящихся г.Томска".

Такое же объявление было подписано от имени Галочки.

– Так чего же вы радуетесь, Галя?

– Как так «чего?» – сияя, воскликнула Галочка. – Нос-то как утерли? А? И все довольны! Вот пойдём к нашим!

И она потащила меня в столовую.

Соня стояла на коленях перед стариком-отцом уткнув своё лицо ему в руки. Когда она повернула голову на шум, я заметил, что она только что плакала. Лицо священника было светлым и торжественным, словно он только что был у исповеди. Галочка обняла мать и на секунду присмирела.

– Видите, Борис Лукьянович, – несколько смущённо сказала «мама», – как мы решили. Другого выхода не нашли. Нельзя ломать жизнь ни молодым, ни старым. Что для девочек такое письмо? Ведь всякий же знает – заставили. Их никто не осудит.

– Это правда, мама, – медленно добавил старик. – Детям – что? Гадко это, но душа-то ведь мимо этого прошла. А мне, служителю Церкви Христовой, нельзя душой кривить. Довольно уже одного митрополита Сергия... Это письмо девочек забудется... А моё – как спекулировали бы на нём! Сколько грязи вылили бы на Церковь! Какие унижения! Заставили бы с амвона говорить, каяться. Других священников вызвали бы. Подумать только – и то страшно: всю душу заплевали бы... А это что? Бумажка! Наша любовь ведь не тронута. Ведь вы, дети, никогда не отречётесь от старика-отца. Ведь правда?

Галочка взвизгнула и тоже бросилась к отцу.

– Что ты тут треплешься, папка? Ну разве же можно, чтобы мы так «ссучились*»? Ей-Богу, пра – это только бумажка! А что мы им нос утёрли – так это факт. Теперь пойди – укуси: я не я, папка не моя, и я не лишёнка! Наша взяла!..

---

*Советский термин. Означает – продаться, перейти на сторону большевиков

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Горькая поэма о жратве

Советские рябчики

Раннее весёлое весеннее солнышко заглядывает в мою маленькую комнатку. На столе, на самом безопасном месте, лежит «продовольственная карточка» – право на пищу советского гражданина... Солнечный блик прихотливо освещает этот кусочек обёрточной бумаги и пестрит на словах: «талон № 5», «талон № 6», «хлеб 17 марта», «хлеб 18 марта», «промтовары» и прочее, и прочее.

В желудке – обычное утреннее томление. Фыркая под старым жестяным умывальником, я с удовольствием предвкушаю, как через полчаса кусок свежего черного хлеба, в окружении нескольких конфет и кружки горячего чая, будет радовать мой голодный глаз...

Первая неприятнось: у дверей хлебной лавки ТПО (Транспортного Потребительского Общества) – длинная очередь. Мужчин мало – всё больше хозяйки с корзинками и сумками. На всех лицах – беспокойство и нетерпение: у большинства дома – голодные рты, молящие: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь»...

В лавке хлеба нет, и приказчики не знают, когда он будет. Пока мы обсуждали эту очередную советскую трагедию, приезжает пустая телега, и приказчик кричит толпе охрипшим голосом:

– Граждане... Потому как мука вовремя не доставлена, то хлеб будет только к 5 часам вечера... Прошу разойтиться...

С глухим, злобным ропотом очередь расходится.

Та-а-акк... Значит, до вечера!.. Положим, разве ж в первый раз?

Моя хозяйка встречает новость о хлебе с ворчливым злорадством.

– Ну как же!.. Разве ж «они» могут накормить рабочего человека? Своим-то, небось, хлеба хватило, а до нас «им» дела нет... А вы что ж, Борис Лукьяныч, уходить думаете?

– Да, может быть, по блату что-нибудь в столовой перехвачу.

– Да вы погодите!.. У меня там малость картохи осталось... Сейчас сварим...

– Так, без ничего?

– Ну, может, ещё капустки тарелочку наскребу...

И старушка, уныло покачивая головой, уходит на кухню.

Та-а-ак... Значит, картошка с гарниром из кислой капусты?.. И в советском количестве?..

А в голове мутится от голода и злобы. Опять, значит, весь день приступами будет подкатываться к желудку ноющая пустота, сознание будет опять и опять возвращаться к теме о жратве, опять мысль будет сосредотачиваться на мучительной проблеме: как бы чего достать пожрать?..

Я тихонько облегчаю мужскую душу крепким словом и иду в сени. Там у запасливой Ольги Ивановны под крышей висят старые крысиные капканы.

Рядом с домиком, в саду, ещё не растаяла снежная куча. Я разбрасываю её на большую поверхность, устанавливаю капкан, прикрываю его снегом, кладу в середину старую соблазнительницу – селёдочную головку, бросаю кругом горсть картофельной шелухи и ухожу.

Через несколько минут на окружающих деревьях сидят вороны и галки: глаза у них – не моим чета!.. Да и голод не тётка не только для человечьих существ. Короче

говоря, через две-три минуты одна из ворон беспомощно крутится около капкана с отдавленной стальными челюстями головой.

Я выхожу из засады, и моё появление встречается гомоном встревоженных птичьих голосов... Ворона ещё бьётся. Нет, теперь уже все кончено. Без головы даже советские лётчики не летают...

Дома Ольга Ивановна хлопочет около огонька. Я с виноватым видом появляюсь в кухонном святилище.

– Что – опять ворону застукали, Борис Лукьянович?.. Ну как же вам не стыдно такую грязную птицу есть?

– Голова от голода кружится, Ольга Ивановна. Разве несколько картошек для меня хватит? Да и чем же ворона плоха?

– Как же... Падаль всякую ест.

– Так и свинья ведь тоже падаль ест?

Старушка обиженно вздёргивает головой.

– Так то свинья... Она Господом Богом на нашу потребу создана. А тут во-ро-на..

– Ольга Ивановна, голубчик... Уж будьте для меня мамой родной – сготовьте мне эту ворону с картошкой.

– Эх, Борис Лукьянович!.. Глаза бы мои не смотрели на всё это!.. Ну, ладно, давайте уж...

Через полчаса худое, иссиня чёрное мясо вороны вливает в меня новые силы, но силы не радостные, не весёлые, а силы какой-то озлобленности и мрачной решимости.

Анечка

У забора нашего садика на просохшем песке играет сама с собой пятилетняя девочка Аня, дочь моего соседа, Григория Ивановича... Она со старательной сосредоточенностью строит из щепочек и прутьев какой-то домик. Спутанные белокурые волосики спустились на лоб, мордочка сморщилась от напря-

жения детского воображения, коротенькое платьице, которое было когда-то голубым, едва доходит до её коленок.

Я подсаживаюсь к ней и пытаюсь помочь в её строительстве. Но моё бедное взрослое воображение никак не может видеть в бесформенной кучке щепок уже построенный дом с кухней и садом, и в итоге я принуждён ограничиться подысканием по соседству строительного материала для маленького инженера.

Аня – разговорчивый зверёныш. И болтовня не мешает ей продолжать свою «стройку».

Разговор скоро переходит на наиболее волнующие темы – на темы той же «жратвы». Я знаю, что Аня недавно была больна и ей впервые за последние два года купили молока. Память об этом молоке до сих пор жива в девочке.

– А тебе молочко, Аня, понравилось?

Худенькое, полупрозрачное личико девочки быстро поворачивается ко мне.

– Ну да... – серьёзно подтверждает она. – Такое вкусное... – и со вздохом добавила: – Вот бы ещё разик заболеть!

Да, что и говорить: «Думы девичьи, заветные»...

Пять лет, советских лет! Что ребёнок видал за эти годы?

У меня мелькает немного, может быть, жестокая мысль проверить, что знает этот ребёнок о настоящей жизни и настоящем питании. А впрочем, это и не так жестоко, поскольку, вероятно, большинство того, о чём я буду спрашивать, непонятно этой советской девочке.

– Слушай, Анечка, а ты вот ветчины хотела бы съесть?

Слово «съесть» вызывает быстрый ответ:

– Хочу, дяденька. А... она эта... ве… вет... она – вкусная?

На слово «яичница» реакция такая же.

– Хочу... А что это такое?

– Ну а апельсина ты хочешь?

Бледная мордочка Анечки на этот раз довольно расплывается.

– Ну да, хочу...

– А ты знаешь, что такое апельсин?

– А как же!.. У нас в книжке нарисовано – такое желтое и круглое.

– А что с ним делают?

Голос мой дрогнул, но девочка не заметила этого. Она не спеша подняла на меня свои доверчивые голубые глазенки и просто ответила:

– А я не знаю!..

Обречённые

Поздно вечером я возвращаюсь домой. Под окном моего соседа, слесаря депо, робко прикурнули к стенке два каких-то нищих в лохмотьях. Они чего-то ждут, и как раз когда я прохожу мимо, окно приоткрывается, и оттуда высовывается рука Григория Ивановича с большим куском хлеба.

– Спаси те Христос! – тихо говорит один из нищих и торопливо суёт хлеб в суму.

В это время слесарь замечает меня.

– Здравствуйте, т. Солоневич, – хмуро говорит он. – Вот глядите – дожили, слава Богу: рабочий крестьянина кормить стал!

– А откуда они?

– Откуль вы, земляки? – переспрашивает слесарь.

Заросшие бледные лица повернулись ко мне. В глазах тоскливый испуг и безнадёжность.

– Да с пид Полтавы, товарищок... Хлиба шукаемо. Зовсим смерть прийшла...

В это время вдали раздался шум твёрдых, идущих в ногу шагов; крестьяне испуганно переглянулись и бросились в переулок.

Григорий Иванович выругался.

– Дожили, мать их ... Украина за хлебом к нам прёт... А их вот тута вылавливают и обратно шлют в пустые сёла... Дожили... Голодный рабочий человек помогать должон... Эх…

Один из миллионов

Морщинистое лицо старого машиниста Стаканыча почему-то особенно мрачно.

Не отвечая на моё приветствие, он медленно говорит, как бы с трудом цедя слова через седые с желтизной усы.

– А ты вот, Солоневич, всё редкостное снимаешь. Поди-ка ко мне во двор... Там парень только что загнулся – до помойной ямы дорвался... Ну да... С Украины... Как-то по дороге его с поезда не сняли...

У мусорного ящика во дворе, действительно, лежал мёртвый – длинный, худой, костлявый. Лохмотья едва прикрывали его тело, и в грязной руке он сжимал какую-то кость.

Пока я расставлял свой фотоаппарат, подошла какая-то баба, посмотрела в искажённое лицо мёртвого и покачала головой.

– Вот так-то и многие... Боятся по домам пойти, чтобы их не споймали... Может, куском хлеба спасли бы его... Почитай, нет такого рабочего, кто отказал бы... А то вот идут по ночам энти голодные по дворам, к мусорным ящикам... А разве ж с голодухи ихние животы выдержат огрызки всякие?.. Вот и мрут, бедные...

Баба наклонилась, с трудом вынула из стиснутой руки кость, закрыла лицо крестьянина какой-то чистой тряпочкой и перекрестила его.

– Царство ему Небесное! – шёпотом произнесла она и тяжело вздохнула.

Советский пир

Глухо звякает металлическая крышка волчка тюрьмы.

– Эй, подымайсь!..

Сверху, над дверью, тускло светит электрическая лампочка. В маленькое окно под потолком, сквозь толстые брусья решёток, слабо светлеет туманное небо петербургского утра.

Мокрые стены тюремной камеры серы и равнодушны. Я вытираю тряпкой лужу, натёкшую за ночь на цементный пол, умываюсь под маленьким краном и пытаюсь хоть немного согреть гимнастикой окоченевшее тело.

Наконец где-то вдали по коридору, по нашей линии камер, начинают звякать затворы форточек. Всё ближе. Наконец, откидывается форточка и у меня. В отверстие тускло видны форменные пуговицы красноармейской гимнастерки, и какая-то рука равнодушно, молчаливо протягивает мне дневной рацион хлеба: фунт душистого, ещё тёплого «шоколадного пирожного»...

Сегодня мне подвезло: моя порция «с корочкой», «горбушка». Это значит, что в моей порции, в этой самой горбушке, меньше воды и больше муки. Может быть, 30, может быть, 50 граммов «лишних»...

Ах, эти граммы чёрного хлеба! Как передать людям, которые никогда по-настоящему не голодали, что такое душистая мякоть чёрного хлеба, как тает она во рту, как трудно распределить этот кусок величиной в мужской кулак на три порции – на утро, на обед и на вечер, как упрямо возвращаются мысль и глаза к лежащему на полочке куску хлеба и как сознание не хочет верить тому, что вот может быть время, когда перед человеком будет лежать хлеб, а он не будет голодным и не захочет съесть этого куска!

Сегодня четверг. И, отламывая небольшую корочку от своего пайка, я откладываю её в уголок полочки. Это для воскресного вечернего пира. В эти дни я постараюсь отложить то кусочек воблы из супа, то ложку каши, то ещё несколько ку-

сочков хлеба. И вечером в воскресенье, когда пройдёт проверка и мёртвая тишина воцарится в тюрьме, я разложу перед собой эти кусочки и попытаюсь хоть раз в неделю быть относительно сытым. Пусть мой пир длится четверть часа, но для меня он создаётся не только чувственной радостью вечно голодного молодого желудка, – в моем воображении это будет действительно пир, приправленный фантазией. Словно нет холодных стен, тёмного силуэта решёток, безрадостных перспектив, ряда тоскливых тюремных недель сзади и неизвестного будущего впереди.

Кусок хлеба в тюрьме – это не только пища. Это какая-то странная связь с жизнью и свободой. Это какая-то надежда на кусочек светлого в будущем, что-то мистическое и обнадеживающее.

И пока есть сила поделить фунтовую порцию на три части, пока есть воля затянуть пояс (символически, ибо пояса отбираются в тюрьме) ... и подождать «воскресного пира», – есть, значит, ещё порох в душевных пороховницах человека, не иссякла его внутренняя сила, не ослабли пружины его души...

Что знает о чёрном советском хлебе иностранец или наш брат эмигрант?..

В пересылке

Тёмная струя людей льётся по узенькой каменной лестнице, возвращаясь в камеры с прогулки. В углу лестницы, прижавшись к стене, стоит согнутая оборванная фигура крестьянина.

– Нету ли кусочка хлеба, товарищок? – приглушённым шёпотом несутся умоляющие слова.- Хоть махонького?.. Совсем помираем...

Это один из легионов крестьянской армии, которую гонят в северные леса и болота строить монументы товарищу Сталину...

Кому из них суждено ещё вернуться назад, чтобы опять стать за плуг и создать золотистые, радостные поля Великой России?

Горе побеждённым

Концлагерь. Десятки людей сгруппировались около врачебного кабинета. Тут и старики, и больные, и просто ослабевшие от недоедания и непосильной работы люди...

Какую помощь можем оказать мы им?.. Их силы исчерпаны до конца, и на их формуляре пишется действительно роковое слово: «инвалид».

В Советской России падающего толкают. Если не люди, то система... И через несколько дней к этим людям, которым сегодня вписано слово «инвалид», придут другие люди с винтовками и поведут их в глубину лесной карельской чащи на инвалидные пункты... А там сотни и сотни людей – отсев каторжного производства – будут обречены на медленную голодную смерть…

Многих ли из них смогут поддержать «с воли» родные и друзья? Таких счастливцев – единицы... Остальные будут медленно угасать, бессильно радуясь утреннему куску хлеба и постепенно теряя самое важное, что есть в человеке, – волю и жизнь. Это все обречённые и забытые. «Издержки революции». Те, у кого почему-либо не хватило сил для плаванья в трудном море социалистического рая и не хватило изворотливости уйти от зубцов советской мясорубки.

Кто здесь, за границей, знает о многих тысячах русских людей, вот теперь, в эту самую минуту умирающих от голода за проволокой бесчисленных лагерей? Кто знает о слезах горечи и бессилья, орошающих сейчас, в эту минуту, куски чёрного советского хлеба в их дрожащих от слабости руках?..

Да, младороссы о них не пишут. Боль и горе России выпало из их поля зрения…

Другой мир

Широкая веранда домика начальника финской пограничной стражи. Десятки сочувствующих улыбающихся лиц. Розовые мордочки ребятишек. Заботливые лица радушных хозяек...

Я, оборванный, заросший, с исцарапанным лицом, ещё не очнувшийся от дикого напряжения двух недель лесного бегства, как во сне, тяну к себе блюдо за блюдом и ем, и ем, и ем...

Что – я и сам теперь не помню. Многие вещи, вероятно, впервые в жизни...

Но эта жизнь уже разрублена каким-то решающим ударом, каким-то переломным событием. Теперь уже ясно: здесь другой мир, где есть какая-то человечность, какая-то справедливость, какое-то простое душевное тепло...

И вот я ем, а мне говорят какие-то ласковые слова на чужом языке, какие-то руки треплют по плечу, заботливо подвигают тарелки...

Когда ко мне подвинули пятую чашку кофе, я смущённо отказался. Мне почему-то показалось, что я объедаю своих радушных хозяев.

Старая дама, немного говорившая по-русски, заметила моё движение и, улыбаясь, наклонилась ко мне.

– Кушайте, голубчик!.. Вы ведь, вероятно, уже давно не пили кофе со сливками и булочками?..

– Четырнадцать лет, – ответил я.

И с режущей ясностью мелькнула мысль о том, что вот в 10 километрах отсюда проходит линия, за которой десятки миллионов людей вообще никогда в жизни не пили такого кофе и не знают, что он существует.

Масштабы

Гельсингфорс. Мы трое живём в просторной комнате, спим на настоящих кроватях, на чистых простынях, хотя и сделанных, правда, из старых занавесок наших радушных хозяев. И спим по 12 часов подряд. На улице звучат звонки трамваев, изредка вскрикивают гудки автомобилей, а мы все спим и спим... Но когда только какая – либо машина остановится поблизости и шум мотора резко прекратится, мы, как по команде, поднимаем головы с подушек и переглядываемся.

Каждое утро на базаре покупается два кило свинины и кило гороха. Всё это варится в огромной кастрюле и съедается в один день.

Какое это необычное ощущение – есть и знать, что можно прекратить таинство еды не по сигналу ограниченности пайка (чтобы на вечер осталось!), а по сигналу насыщения...

Но каждая пора тела голодна и требует пищи. И мы едим и едим, спим и спим...

И в истомлённое тело мало-помалу возвращается жизнь, возвращаются силы и какой-то покой...

Быть обеспеченным досыта чёрным хлебом! Как это просто здесь, за границей, и как трагична эта задача «там»...

Иван, Борис и Юрий Солоневичи.
София. Между 1936 и 1938 гг.

Как в сказке

И самое последнее.

Один из уютных швейцарских пансионов. Сверканье всяких приборов для еды, большинство которых не нужно примитивному homo sapiens'у, обладающему двумя руками. Между мной и братом сидит улыбающаяся «мама диктаторша», «докторесс» (как её здесь называют) Вера Дмитриевна, радующаяся за своих «маленьких сынков». Правда, из нас обеих можно выкроить полдюжины таких милых маленьких «мам», но каждый час, проспанный дядей Ваней сверх расписания, и каждая тарелка, съеденная мной сверх швейцарской нормы, её так радуют, что мы оба стараемся вовсю...

Всё так спокойно и чинно. В окно сейчас заглядывают издалека снежные вершины гор. Под ними – синяя лента озера-моря, а на столе всё растут и растут всякие ухищрения гастрономического искусства, при виде которых упал бы в обморок средний советский человек, внезапно перенесённый в этот настоящий, не социалистический рай...

С точки зрения советского каторжника

Шильонский замок... Средневековые подвалы, в которых много столетий томились люди... Скала и каменные стены. Узкие бойницы окон-амбразур, высокие гранитные столбы-колонны...

И всё это усеяно надписями, вырезанными в скалах. Каждый «уважающий себя» иностранный турист, видимо, считал долгом увековечить и своё имя на стенах этой тюрьмы...

Стоит мне только закрыть глаза – и я переношусь в те времена, когда каменный пол этой тюрьмы был застлан

соломой и сотни истощённых тел годами ждали здесь своей участи. Звеня цепями, ходили прикованные к столбам «государственные преступники», имя одного из которых – священника Бонивара – оставила нам история...

И каждый из этих несчастных утром дрожащей рукой получал свой кусок хлеба и в душном томлении ждал своей участи... А сейчас в этом месте, где, кажется, самый воздух наполнен тенями страдавших здесь людей, сейчас здесь эти камни, политые слезами и кровью, туристы оскорбляют своими именами.

В Советской России тоже выставляют напоказ любопытствующему иностранному туристу камеры Петропавловской крепости и объясняют любезно и равнодушно историю Лобного места на Красной площади...

Но когда будет сметена власть интернационала, в подвалах ГПУ и на Соловках, у стен, обагрённых человеческой кровью, мы поставим киоты с иконами и лампадами, куда русские люди будут приходить помолиться за упокой душ убитых здесь...

Иностранцев же с кодаками мы сюда никогда не пустим...

* * *

«Надо, чтобы за кого-то болела душа. Без этого, как это ни странно, – пуста жизнь».
В. Розанов

Любовь к России – это прекрасный музыкальный аккорд души. В этом аккорде есть и мощные, торжественные ноты гордости за прошлое Её величие. Есть радостные тона сознания, что Россия живёт, и надежда, что Она будет опять жить в славе и величии... Но есть и ноты, сливающи-

еся в рыдающий аккорд. Это ноты сочувствия страданиям русского народа.

Не одной только радостью и покоем живёт человеческая душа. Наша русская душа ширится и растёт больше всего от страданий и горя, и лично переживаемых, и проходящих отзвуком при виде страданий других...

Пусть иностранцы не любят «мрачного».

Я сознательно нарисовал здесь картинки русской боли, чтобы тронуть те струны русской души, для которых боль – это что-то облагораживающее и возвышающее...

И сегодня... Да, сегодня, читатель, садясь за стол полный кушаний, оглядывая сверкающие тарелки и спокойные лица окружающих, закройте на секунду свои глаза и представьте себе, что вот там, на другой стороне стола, судорожно вцепившись тонкими пальцами в скатерть, сидит голодный, измученный русский мальчик и пристально смотрит прямо вам в лицо... У него землистое лицо, всклокоченная голова и глубоко ввалившиеся, усталые глаза, из которых по грязным щекам медленно ползут слёзы.

И он смотрит вам прямо в глаза и беззвучно умоляюще шепчет:

– Хлеба... Хоть кусочек чёрного хлеба!..

И если после этого что-то дрогнет у вас в глубине души, если ваша рука остановится, поднося стакан вина ко рту, если кусок пищи станет поперёк горла, тогда вы можете с гордостью сказать, что вы ещё русский.

Ибо боль России – ваша боль...

Эпилог

Мы, новые

(Это стихотворение «штабс-капитана» М. Г. из Чехословакии уже бьпо помещено в «Голосе России». Мне оно кажется столь сильным и ярким, что я ставлю его эпилогом своей книги).

Мы – поколенье суровых людей.
Мы – не с мечтами: со звоном мечей!
В нас пулемётная, звонкая кровь,
Ненависть,
а не любовь!..

Мы родились не в эпоху цветов.
Мы – не прощенье. Мы – месть за кровь.
Сталью крещёный, суровый народ,
Мы – не назад,
мы – вперёд!

Мы – не в мечтах о сусальном Кремле,
Мы – о борьбе на родимой земле,
Мы о России. Россия одна –
Та,
что воскреснуть должна!..

Кто хочет простить – пусть уйдёт из рядов,
Но мы не забудем про Родины кровь:
Страницу позора и мук зачеркнёт
Жгучим свинцом
пулемёт!

Голову выше, ровнее в рядах!
Крепче и твёрже винтовку в руках!
Слышен побед нарастающий гул.
Родине -
на караул!

Об авторе этой книги

Борис Лукьянович Солоневич (1898 – 1989) прожил не менее яркую жизнь, чем его старший брат — Иван Лукьянович, автор «России в концлагере» и «Народной Монархии». Он родился 20 января 1898 года в селе Рудники Пружанского уезда Гродненской губернии. Был третьим сыном в семье Лукьяна Михайловича Солоневича и Юлии Викентьевны (урожд. Ярушевич). Старшие братья — Иван (1891 – 1953) и Всеволод (1895 – 1920). Отец был народным учителем, но через год после рождения Бориса оставил это дело и стал мелким чиновником, а впоследствии прославился как историк-краевед и общественный деятель, издавал газету «Северо-Западная Жизнь», которую финансово поддерживал сам П. А. Столыпин.

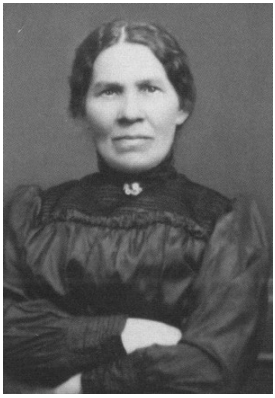
Среднее образование Борис получал сначала в Виленской второй гимназии, потом в 11-й Московской, а завершил его уже в столице Империи — в 8-й Петроградской гимназии на Васильевском острове, которую окончил в мае 1917 года. После чего поступил на кораблестроительное отделение Петроградского Политехнического института императора Петра Великого*.

Во всех своих автобиографиях Борис Солоневич с гордостью сообщал, что стал скаутом уже в 1912 году. Многих историков скаутинга это до сих пор вводит в смущение. Однако и основатель движения русских скаутов О.И. Пантюхов в 1909 году тоже начинал с «потешных» отрядов, а история ведется именно с этой даты. Так что позднейшее признание Бориса Лукьяновича объясняет, что он имел в виду: «Я, лично, помню, как ещё мальчиком в

---

*ЦГА СПб. Ф. Р-3121. Оп. 2. Д. 4300, л. 1-25 (сведения предоставлены С.А. Маньковым (Санкт-Петербург)).

Отец писателя,
Лукьян Михайлович Солоневич.
Первая половина 1910-х годов.
(Фото из архива семьи
Солоневичей)



Мать писателя,
Юлия Викентьевна Солоневич
(урождённая Ярушевич).
Первая половина 1910-х годов.
(Фото из архива семьи
Солоневичей)

Ю.В. Солоневич с сыновьями, слева направо: Иван, Борис, Всеволод.
Около 1913 г.

1911 – 1912 годах в Вильне мы объединились, как скауты, ещё неясно понимая, что это такое»*.

Старший брат Иван примкнул к другому молодёжному спортивно-патриотическому движению тех лет – «Соколу». Увлекался борьбой, боксом, футболом, гимнастикой. В 1914 году стал вице-чемпионом России по гиревому спорту. Ещё раньше начал работать журналистом в отцовской газете, которая выходила сначала в Вильно, потом в Гродно, а затем уже в Минске. Газета стояла на православно-монархических позициях, полемизировала с сепаратистами и революционерами, за что в «прогрессивном» обществе считалась органом Охранного отделения. Солоневичей это, впрочем, нисколько не смущало.

Младшие братья тянулись за Иваном не только в спорте (несмотря на то, что все страдали близорукостью и носили очки), захотелось попробовать себя и на газетном поприще. Журналистский дебют Бориса состоялся осенью 1914 года, в начале Первой мировой войны. Вот в номере «Северо-Западной Жизни» от 11 октября 1914 года находим такой материал: «В Августовских лесах (письмо гимназиста)». Он сопровождается вводным предложением Лукьяна Михайловича Солоневича: «Редактор «Северо-Западной Жизни» получил от своих сыновей, гимназистов 8 и 6 классов Виленской 2 гимназии, следующее письмо» – и далее собственно текст, повествующий о том, что они видели вблизи фронта. После коллективного творческого опыта с братом Всеволодом шестнадцатилетний Боб (семейное прозвище) 28 ноября отмечается в газете отца уже самостоятельно, опубликовав корреспонденцию «Вилен-

---

** Солоневич Б. Л.* Пятьдесят лет тому назад // Воскресение (Эсслинген, Германия. - 1959. - № 6; 4 января. - С. 1. Цит. по: *Полчанинов Р.* Ещё о Б. Л. Солоневиче // Страницы истории разведчества-скаутизма. - 2005. - № 40 (97); март.

ские гимназисты на передовых позициях». Эту дату можно с полным основанием считать началом его журналистской и писательской деятельности, продолжавшейся примерно семь десятков лет — до тех пор, пока он совсем не ослеп.

Летом 1917-го Борис уезжает на каникулы к отцу на Кубань, в Майкоп. Там его и застает большевистский переворот. Он записывается в Добровольческую армию – в офицерскую роту «Спасение Кубани». Помимо участия в боевых действиях продолжает вести скаутскую работу. Его статья о спорте в этих молодёжных организациях была опубликована в сборнике «Русский Скаут», вышедшем под редакцией Э. Цытовича в Армавире в 1919 году. Известно также, что на территориях, занятых белыми, Борис Солоневич сотрудничал в газетах «Единая Русь», «Кубанское Слово», «Свободная Речь» и «Осваг» (Осведомительное агентство).

В Киев, по его собственным словам, «прорвался к брату Ивану в гости из Ростова только на несколько дней».* Дал несколько корреспонденций в газету «Вечерние Огни». Во время этой командировки Борис повидался и со средним братом Всеволодом. О нем мы знаем немного. Перед революцией Всеволод тоже был студентом, в Гражданскую воевал на стороне белых. Из воспоминаний Ивана Лукьяновича известно, что Всеволод Солоневич одно время служил комендором, то есть наводчиком артиллерийского орудия, на канонерской лодке «Некрасов», потом недолго на бронепоезде и вновь – на флоте.** Последним местом его службы стал линейный корабль «Генерал Алексеев». До революции этот линкор Черноморского флота именовался «Император Александр III», после Фев-

---

** Солоневич Б. Л.* Молодёжь и ГПУ. - София: Голос России, 1937. - С. 427.

*** Солоневич И. Л.* Три ухода // Голос России. - 1936. - 1 декабря; № 24.

раля – «Воля», а уже в Гражданскую был назван в честь основателя Добровольческой армии. Жизнь Всеволода Солоневича оборвалась в 1920 году в Севастополе. Борис не успел проститься с братом.*

В Константинополь старший скаутмастер «Дядя Боб» эвакуировался уже из Новороссийска. А когда в мае того же 1920-го начальник Политической части Главнокомандующего ВСЮР предложил О. И. Пантюхову вернуться из Константинополя в Крым для организации и возглавления Главной квартиры скаутов, тот послал в Крым вместо себя Бориса Солоневича. Обстановка не благоприятствовала созданию Главной квартиры, Б. Л. Солоневич вернулся в Константинополь с докладом О. И. Пантюхову, но не остался в Константинополе, а поехал обратно в Крым, к своим скаутам**.

Он работал переводчиком в американском Красном Кресте.

«Передо мной во всей своей трагичности встал вопрос, – вспоминал Борис в книге «Молодёжь и ГПУ», – оставаться ли на чужбине или возвращаться на Родину, под чьей бы властью она ни была. В душе разыгралась буря мучительных противоречий. Победило желание остаться на родной земле, разделить с другими тревоги и опасности будущего, продолжить свою работу и свою борьбу на пользу Родине, и вот быстроходный американский миноносец несет меня обратно к русским берегам...».***

Вскоре выяснилось, что в Севастополе уже заканчивалась эвакуация, американцы решили туда не идти, пред-

---

*См.: *Солоневич Б. Л.* Молодёжь и ГПУ. - София: Голос России, 1937. - С. 33-34.

**_Полчанинов Р._ Борис Лукьянович Солоневич // Страницы истории разведчества-скаутизма. - 2003. - № 26 (83); сентябрь.

***_Солоневич Б. Л._ Молодёжь и ГПУ. - София: Голос России, 1937. - С. 10.

ложили Борису не сходить с корабля, зайти вместе в Керчь, а потом вернуться в Турцию. Он отказался и сошел на берег в Ялте, откуда уже ушли последние пароходы и куда ещё не пришли большевики. Так начиналась его 14-летняя эпопея в Советской России.

С приключениями добравшись до Севастополя, «дядя Боб» был радушно принят в скаутской семье. Впрочем, скаутский отряд вскоре перешел под опеку отдела Всевобуча, в его состав даже пришлось включить политрука-комсомольца. Попутно Борис, как известный спортсмен, возглавил «Первый Севастопольский рабоче-крестьянский советский спортивный клуб имени Н. И. Подвойского» и стал председателем Крымского олимпийского комитета.

В 1921 году, увидев в газете «Красный спорт» фото брата (в ряду других спортсменов-чемпионов), Иван Солоневич послал почти «на деревню дедушке» – на адрес Севастопольского Всевобуча — письмо брату. После отсидки в ЧК с женой и маленьким сыном Иван обосновался, от греха подальше, под Одессой, в городке Ананьеве, и звал Бориса к себе: «В такое время плечо к плечу легче воевать с жизнью».*

Воевали так: варили мыло из дохлого скота, пробовали «спекулировать», много чего пробовали. Самое колоритное: братья ходили по окрестным селам и устраивали незамысловатые спортивно-концертные представления, за которые сельчане расплачивались натуральными продуктами. Иногда компанию Солоневичам составлял великий русский борец И. М. Поддубный, которого нелегкая судьба тоже занесла в Ананьев. Немногим позже, уже в Одессе, Поддубный устраивал борцовские поединки в местном цирке, там Борис выступал «под австралийским псевдонимом» Боб Кальве.

---

*Там же. - С. 86.

Параллельно, как и всегда в его советские годы, шла скаутская работа, на тот момент в Одессе существовало три русских скаутских отряда и один еврейский. А третьей — служба в АРА, Американской администрации помощи голодающим. Помочь удалось многим, но тех, кто нуждался в помощи, было много больше.

В 1922 году Борис Солоневич был арестован ВЧК по обвинению в организации «антисоветских скаутских банд» (по одним данным, это произошло весной 1922-го, по другим — осенью). Срок — 2 года. Благодаря хлопотам друзей и знакомых отсидеть пришлось только год, но так близко к смерти он, наверное, ещё никогда не был.

После отсидки, чтобы не подвергать опасности семью старшего брата, Борис переезжает в Севастополь, где устраивается инструктором физкультуры в Рабоче-Крестьянский Красный Флот. В 1924-м он уже — инструктор физкультуры Черноморского флота, к концу того же года — инспектор физической подготовки Красного Флота в Москве (почти адмиральская должность, как писал Иван Солоневич).

Здесь он смог завершить прерванное революцией обучение и получить высшее образование, закончив экстерном Государственный институт физической культуры по кафедре врачебного контроля над физкультурой. Здесь он женился в конце 1925 (или начале 1926) года на Ирине Францисковне, урожденной Пеллингер.*

25 мая 1926 года (по другим данным, 2 июня) Борис вновь был арестован — шла целая волна по «зачистке» скаутских деятелей. Старший скаутмастер Б. Солоневич получил 5 лет Соловков. В ноябре жена и брат провожали его на Николаевском (ныне — Ленинградском) вокзале в

---

*См.: *Воронин И. П.* Гражданин Империи: Очерк жизни и творчества Ивана Лукьяновича Солоневича. - М.: ФИВ, 2013. - С. 158-161.

Москве. Перед отправкой в СЛОН он впервые увидел своего первенца — сына Георгия (назван в честь небесного покровителя скаутов).

Именно соловецкие воспоминания легли потом в основу повести «Тайна Соловецкого монастыря», а также книги «Молодёжь и ГПУ».

Известный исследователь русского скаутинга Ю. В. Кудряшов пишет: «Его книга «Молодёжь и ГПУ» посвящена памяти расстрелянных в лагере осенью 1929 г. скаута Д. Шипчинского и «сокола» С. Грабовского. И хотя почти все герои носят вымышленные имена, тем не менее, по словам скаутов-ветеранов, они легко узнаваемы. Да и сам Солоневич в переписке с Пантюховым назвал некоторые истинные имена скаутов, отбывавших срок вместе с ним: Сергей Шорыгин, Владимир Зотов, Сергей Шибанов, Погодин, Леонид Старцев, Юрий Шипчинский, Веревкин, Владимир Сабинин, Глеб Бострем, Евгений Ивницкий, Вячеслав Юрканский, Дмитрий Шипчинский, Борис Зеленов, Семен Гурвич, Дмитрий Ганешин, Борис Соколовский – всего 15 скаутов и 2 герл-скаута».*

В главе «Знамя скаута» Борис Солоневич делает сноску: «На эту тему мною написана одноактная пьеса, которая уже ставилась русскими скаутами Гельсингфорса и Софии». Очевидно, он имеет в виду пьесу «Похороны ста-

---

***Кудряшов Ю. В.* Борис Солоневич: скаутмастер агаповского времени // Скаутизм и идеал педагогики: Материалы Педагогической научной конференции памяти М. В. Агапова-Таганского (Москва, 2008). Разведчество как практический метод решения педагогической задачи в России (Черноголовка, 2010). По следам профессора Агапова (результаты исследовательской поездки по Сербии и Хорватии 2010 г.) / Обние пед. исслед. им. М. В. Агапова-Таганского, Орг. российских юных разведчиков, Газ. «Скаутский мир». - М.: ВНИИгеосистем, 2012. - 127 с. Цит. по: http://oryur-vertograd.narod.ru/kudry.html

рого знамени», публикации о ее постановке встречаются в эмигрантской прессе.

Сначала — Кемский лагпунткт, а потом — и сам остров. В отделе труда СЛОНа Борис не задержался, выступив с проектом организации спортивной станции. Проект чекистам понравился. Когда в 1927 году на святом острове снимали документальный фильм «Соловки», физкультурная часть стала одной из самых ярких, и первое место в ней было отведено Борису Солоневичу. Его лицо, как и лица многих других заключенных, впрочем, в кадр ни разу не попало, но знакомые узнавали по телосложению.*

А весной 1928-го случилось и вовсе чудо чудное:

«Все испытания последних лет все больше и больше отражались на состоянии моих больных глаз, - вспоминал Борис Солоневич. – Закон Locus minoris resistentiae (место наименьшего сопротивления) сказывался в полной мере. В моем организме оказалось наследственно слабое место — глаза, и по этому месту ударили все невзгоды.

Думать о лечении и уходе здесь, на Соловках, было бы наивностью. Люди с последними степенями туберкулеза посылались сюда и гибли сотнями от лагерных условий, от работы, от цинги, от полярного климата... Где мне, контрреволюционеру, было мечтать о том, что вопрос о моем гаснущем зрении обеспокоит кого-либо из чекистов?.. Меня спасла помощь брата и жены. Где-то там, в Москве, от скромного бюджета отрывались крохи и посылались мне... Не будь этого — не уйти бы мне с Соловков живым и зрячим...

---

*См.: *Солоневич Б. Л.* Кинофильм «Соловки» // *Сойни Е. Г.* Солоневичи и Север: Финляндская проблематика в литературном наследии Солоневичей и важнейшие черты публицистики Финляндии 1930-х годов. - Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2010. - С. 223-225.

Но я боролся за зрение со всей своей изворотливостью, и так же боролись за это и в Москве. Я не могу писать, как удалось мне добиться успеха, но неожиданно в конце апреля 1928 г. разразился гром среди ясного неба. Пришла бумажка:

«Заключенного Солоневича Б. Л. направить в Ленинград, в тюремную больницу имени д-ра Гааза»...

«И вот, как-то вечером мне объявили, что рано утром я на лодке отправляюсь на материк...» *

После обследования Соловецкую каторгу ему заменили ссылкой в Томск. Там он работал в городском совете физической культуры, в Томской трудовой коммуне ОГПУ, а затем, по окончании срока, в 1930 году был отправлен уже в Орёл — из ссылки в высылку, как пораженный в правах и лишенный возможности жить, где заблагорассудится. Там предстояло провести ещё три года под охраной «недреманного ока» ОГПУ. Работал сначала опять по физкультуре, а потом — фотографом в отделе технической пропаганды железной дороги.

Весной 1932-го — опять арест, Лубянка, Бутырка. В попытке соорудить очередное коллективное дело по скаутам Бориса продержали в тюрьме несколько месяцев без предъявления обвинения. Этот арест переполнил чашу терпения, и он наконец соглашается на предложение старшего брата бежать за границу. Под видом туристов в Карелию отправляется группа в таком составе: Иван, Борис и Юрий (сын Ивана) Солоневичи, жена Бориса Ирина и Степан Никитин. Последний участник — сослуживец жены Ивана Тамары Солоневич, которая к тому времени, оформив фиктивный развод, легально выехала в Германию к своему немецкому «мужу».

***Солоневич Б. Л.* Молодёжь и ГПУ. - София: Голос России, 1937. - С. 358-359.

Первая попытка побега оказалась неудачной, «туристы» заплутали в болотах, да ещё и Иван некстати заболел. Пришлось возвращаться назад — к счастью, удалось избежать подозрений, и Борис возвращается в свой Орёл, чтобы через год повторить попытку «вооружённого нелегального перехода границы».

В сентябре 1933 года группу туристов пополнили Елена Пржиялговская, жена старого приятеля Ивана Солоневича, и её новый жених — Николай Бабенко, оказавшийся сексотом. Перебежчики добрались только до Ленинграда, а потом в поезде их опоили снотворным и всех арестовали. Борис, впрочем, пару конечностей чекистам при задержании сломал.

В тюрьме на Шпалерной в одиночке пришлось провести три месяца, пока шли допросы и готовилось обвинительное заключение. По поводу Бориса в нем сказано следующее:

«СОЛОНЕВИЧ Борис Лукьянович, 1898 г., сын волостного писаря, русский, подданства СССР, ур. Гродненской губ., Пружанского у., дер. Рудники, проживающий г. Орёл — Железнодорожная ул., д. № 12, ответственный секретарь Стрелкового Комитета ж. д., женат, жена и 2-ое детей, неимущий, образование высшее, б/п, в 1926 г. осужден Коллегией ОГПУ по ст. 58-4 УК на 5 л. концлагеря. В 1932 г. по ст. 58-6 УК был под следствием — освобожден, в белой армии не служил, – <обвиняется> в том, что, находясь в ссылке в г. Орле — будучи антисоветски настроенным, был связан со шпионом КОРНИЛОВЫМ (ныне арестованным за шпионаж ОО ОГПУ — Москва), принимал активное участие в деятельности СОЛОНЕВИЧА <Ивана> – последнему пересылал фотоснимки Орловских депо и других сооружений, имеющих стратегическое значение, каковые использовались СОЛОНЕВИЧЕМ <Иваном> для шпионской цели. Участвовал на сборищах по поводу во-

оруженного перехода границы, где давал участникам установку без боя при переходе не сдаваться, т. е. в <преступлениях,> < предусмотренных> ст. ст. 58-6 и 58-10 УК. ВИНОВНЫМ СЕБЯ ПРИЗНАЛ ЧАСТИЧНО, изобличается показаниями остальных обвиняемых».*

Любопытно отметить, что статья 59-10 (нелегальный переход границы) содержится в обвинительном заключении только в отношении Юрия Солоневича и Ирины Пеллингер. Ивану, Борису и Никитину эту статью добавили уже в приговоре.**

Иван, Борис и Юрий встретились в пересыльной тюрьме на Нижегородской улице и — о, счастье — угодили в один этап, в ту же Карелию, до которой добраться не удалось. Жена Бориса отправилась в Дальлаг, в 1938 году ей выдвинут новое обвинение и расстреляют. Дети — Георгий и Нина — сначала жили с родителями Ирины, а потом были отправлены в спецколонию для детей репрессированных, их следы теряются уже в конце 1930-х годов.

Иван с Юрой устроились в учетно-распределительной части БелБалтлага, Борис — в Свирьлаге стал начальником санитарной части в Лодейном Поле. Летом уговорились бежать в назначенный день — теперь уже из лагеря и сразу за границу. Для подготовки к побегу Ивану пришлось устроить ошеломляющую «халту-

---

*Цит. по: *Базанов П.* Братья Солоневичи: документы и легенды (На основе коллекции В. В. Иофе, НИЦ «Мемориал» // Право на имя: Биографика XX века: Чтения памяти Вениамина Иофе: Избранное. 2003-2012 / НИЦ «Мемориал» (СПб); Европейский ун-т в С.-Петербурге. - СПб: Норма, 2013. - С. 173.

**_Чистяков К. А._ Следственное дело в отношении Ивана Солоневича в архиве ФСБ // Иван Солоневич – идеолог Народной Монархии: Материалы III Научно-практ. конференции: СПб. 24 апреля 2005 года. – СПб: Российский Имперский Союз-Орден: Ред. газ. «Монархистъ», 2006. – С. 43.

ру» под названием Вселагерная спартакиада. Подробности побега Иван описал в своей знаменитой «России в концлагере», начиная с третьего издания, в конце приложением неизменно идёт рассказ Бориса о том, как он бежал параллельно и в одиночку. Это — отрывок из его самой известной книги «Молодёжь и ГПУ».

После побега, новых допросов — уже в финской политической полиции – «три мушкетёра», как их называли в лагере, воссоединяются. Первое время работают грузчиками в порту Гельсингфорса (Хельсинки), при этом пишут свои воспоминания о жизни в СССР, пробиваются в русскую эмигрантскую и иностранную печать. Финляндия как место проживания, несмотря на свою гостеприимность, их не устраивает: за полтора года удалось с трудом добиться разрешения для проведения публичных докладов. Хочется пробиться к эмигрантским центрам — Париж, Берлин, Белград, ну хотя бы София. Визу в Болгарию весной 1936 года удалось получить при помощи однокашника Бориса — капитана Клавдия Фосса, имевшего определенный вес в РОВСе, Русском Обще-Воинском союзе — организации, в которую превратились остатки белых армий.

То, о чем в Финляндии не приходилось и мечтать, постепенно начинало приобретать реальные очертания. Речь шла, конечно, о своей газете, в которой без цензурных рамок можно будет рассказать всю правду о жизни в Советской России. А «левая» цензура была на высоте. И если Иван жаловался на редакторские ножницы «Последних Новостей», «Современных Записок» или «Иллюстрированной России», то от писаний Бориса те же «Современные Записки» отказались вовсе.

Гонорар Ивана за чешское издание «России в концлагере», Бориса — за шведский перевод «Молодёжи и ГПУ» (книга вышла в Гельсингфорсе только в 1937 году), а также заработки Бориса на поприще вольно-американской

борьбы — так складывался стартовый капитал для издания «Голоса России». С 18 июня 1936 года газета начала свой еженедельный выход.

Издание Солоневичей ориентировалось на среднего эмигранта, условного «штабс-капитана» и очень быстро завоевало симпатии аудитории. Рос тираж, число стран, где появились представители достигло полусотни, русские и иностранные СМИ целыми полосами перепечатывали материалы из «Голоса России». Уже через четыре месяца, в октябре, Иван и Борис отправляются в лекционное турне по Югославии (тогда страна называлась Соединенное Королевство Сербов и Хорватов). Белград, Нови Сад, Земун — восемнадцать докладов за неделю. О своем побеге, о Красной Армии, о советской молодёжи, о беспризорниках, о скаутах...

Потерялись на почте письма со статьями для газеты, и Иван вынужден вернуться в Софию раньше времени. А Борис ещё неделю разъезжает с докладами: Загреб, Любляна, Бора, Крагуевец, Белая Церковь.

Прошло чуть более полугода с выхода первого номера «Голоса России», а уже одноименное издательство начинает выпуск книг, и первой выходит из печати в марте 1937-го книга Бориса Солоневича «Молодёжь и ГПУ» с подзаголовком «Жизнь и борьба советской молодёжи». Отрывки из воспоминаний начали печататься на «Литературной странице» газеты ещё в июле 1936 года (главка «Живая пыль»), и в окончательный текст книги «по техническим причинам» вошло не все: очерк «День врача в концлагере» опубликован в сокращении (хотя потом и вышел отдельной брошюрой и по-русски, и по-болгарски), а очерки «Советский быт», «Под колесами машины», «Комсомольское Рождество» и другие остались только в газетных публикациях. Отметим, что на болгарском языке в 1937– 1938 годах «Голос России» опубликовал также по-

весть Бориса «Тайна Соловецкого монастыря» (тогда это была только повесть размером в 53 страницы) и очерк «Моя встреча с товарищем Ягодой».

Предшественница Солоневичей по побегу Тамара Чернавина опубликовала довольно сдержанную рецензию на «Молодёжь и ГПУ» в журнале «Современные Записки». Борис вновь оказывается в тени таланта старшего брата. Напрямую рецензент об этом не пишет, но то, что подспудно сравнение имеет место быть, — несомненно. «Беда этой книги, – сетует Чернавина, – заключается в том, что в ней почти не осталось следа советской атмосферы <...> К сожалению, при всей своей несомненной любви к молодёжи, Б. Солоневич не смог дать ее реального облика».*

Лето 1937 года — пик популярности братьев Солоневичей. Они совершают ещё одно лекционное турне, на сей раз по Франции, Швейцарии, Австрии и Бельгии. Весь цвет парижской эмиграции рукоплещет им.

«В чем успех, выпавший на долю братьев Солоневичей? – спрашивал обозреватель газеты «Возрождение». – Почему их поездка по Европе, их турне по эмигрантским центрам и выступления на закрытых собраниях, посещаемых лишь эмигрантами, находят такой горячий отклик?

Дело и не в содержании докладов, и не в их изложении. Не в том, что они приводят новые факты или пережевывают старые. Все в том, что бр. Солоневичи, вырвавшись из СССР и Соловков, сумели до сего времени сохранить ощущение тамошних условий жизни. В том, что свои ощущения они умеют передавать эмигрантской аудитории. В том, что благодаря им между закабаленной Россией и Россией свободной протянулись живые нити. К понима-

---

***Татьяна Чернавина.* Б. Солоневич. Молодёжь и ГПУ. Изд. «Голос России». София, 1937 // Современные Записки. - 1937. - № 65. - С. 461.

нию умом прибавилось освеженное, омоложенное, если так можно сказать, понимание сердцем».[**]

В Брюсселе, и это стало полной неожиданностью для Ивана, Борис заявил, что остается лечить глаза и в Софию возвращаться не намерен. Это предопределило разрыв отношений между братьями, который произошел только через полтора года. А пока Борис оставался сотрудником редакции, в издательстве «Голоса России» в 1938-м вышла вторая книга его воспоминаний – «На низовке» (название на обложке - «На советской низовке с фотопушкой»). Вокруг редакции постепенно образуется Народно-имперское (штабс-капитанское) движение. К нему примыкает и Русское общество спортсменов, созданное Борисом в Брюсселе. Он продолжает работать с молодёжью, активно выступает в эмигрантской и иностранной прессе с антикоммунистическими статьями.

Политическая деятельность Ивана тем временем складывается так, что открытый конфликт с верхами эмиграции становится неизбежен. Идеология штабс-капитанов — это все те же «За Веру, Царя и Отечество», но с учетом революционных потрясений, главным виновником которых объявляется правящий слой старой России, и в первую очередь генералитет. Для большинства эмиграции это был подрыв устоев, если не провокация большевиков.

Советские спецслужбы, конечно, не оставались в стороне — стравливание одной части эмиграции с другой было излюбленным приемом иностранного отдела ОГПУ. Но использовались и другие методы — например, похищения возглавителей РОВС генералов Кутепова и Миллера. А Ивану Солоневичу, антисоветская деятельность которого носила уже международный характер, просто-напросто

[**] *Н.* И. и Б. Л. Солоневичи в Париже // Возрождение. - 1937. - 6 августа; № 4090. - С. 7.

прислали в редакцию бомбу. От взрыва 3 февраля 1938 года погибли его жена Тамара и секретарь редакции студент Николай Михайлов. Иван и Юра чудом уцелели. На похороны собралась вся русская София, Борис из Брюсселя приехать не смог, прислал телеграмму. *

В марте Иван с Юрием переехали в Германию — она оказалась единственной страной, которая могла обеспечить их безопасность, болгарские власти никаких гарантий не давали. Пережитое, безусловно, отразилось на состоянии Ивана, его полемика с РОВСом становилась все более ожесточенной, даже несмотря на то, что далеко не все из сторонников соглашались с его утверждениями об эмигрантском филиале ОГПУ. Борис пытался увещевать, сгладить острые углы, призывал «не бить по своим», но Иван не обращал на это внимания. Тогда весной 1939 года Борис решился на совсем уж отчаянный шаг и опубликовал брошюру «Не могу молчать!» с критикой высказываний брата. Иван назвал ее актом мести, «прежде всего самому себе», а эмигрантские газеты сообщили о политической ссоре двух братьев.

Нельзя утверждать категорически, но похоже, что примирения так и не состоялось. Хотя факты противоречивы. С одной стороны, известно, что в 1948 году они обменивались письмами, Борис в своих послевоенных статьях неоднократно и с сочувствием цитировал статьи старшего брата. С другой — Иван в свой аргентинско-уругвайский период о Борисе никак не упоминает, даже когда пишет о побеге из лагеря.

После нападения Германии на Советский Союз по Брюсселю, столице оккупированной нацистами Бельгии, прокатилась волна арестов русских эмигрантов — не рядо-

---

**Никандров Н.* Иван Солоневич: народный монархист. - М.: Алгоритм, 2007. - С. 369.

вых, конечно, а тех, кто играл хоть какую-то общественную роль. В их число попал и Борис Солоневич. Вроде бы странно, что известный антикоммунист, книги которого издавались и в Германии (кстати, и после ареста тоже) был квалифицирован гестапо как потенциальный просоветский элемент. Есть подозрения, что в дело вмешался случай, а именно личный конфликт с Ю. Л. Войцеховским, возглавлявшим в Бельгии Русский христианский трудовой синдикат, а в апреле-мае 1941 года ставшим главой Управления делами русской эмиграции в Бельгии.*

А во время войны и в годы заключения Бориса Солоневича вовсю издавались его произведения. На русском языке вышли романы: «Тайна старого монастыря» (Брюссель, 1941; второе издание – Тянцзин, 1941, третье под названием «Тайна Соловков» – Брюссель, 1942) и «Рука адмирала» (два издания, Брюссель, 1942 и 1943). Та же «Тайна Соловков» была опубликована в переводах на иностранные языки: фламандский (Антверпен, 1942), французский (Брюссель, 1942) и немецкий (Брюссель, 1944). «Рука адмирала» вышла дважды по-французски (Брюссель, 1942 и 1943). Кроме того, в 1941 году в 1941 году в Берлине вышла отдельной брошюрой глава из «Молодёжи и ГПУ», а в 1942-м — второе полное издание книги на немецком языке (первое было в 1938 году).

Автор пребывал в заключении, а на страницах пронацистких эмигрантских изданий - «Парижского вестника» и берлинского «Нового слова» – преспокойно рекламировали его только что вышедшие книги. Борис оставался в заключении в замке Бриндонк, превращенном в каторжную

---

*См.: *Маньков С. А.* Арест Бориса Солоневича в 1941 году: к вопросу о возможных причинах // Иван Солоневич – идеолог Народной Монархии: Материалы IX Научно-практ. конференции: СПб. 10 апреля 2011 года. – СПб: Российский Имперский Союз-Орден: Ред. газ. «Монархистъ», 2012. – С. 22-28.

тюрьму, до самого ухода немцев, то есть до сентября 1944 года. После освобождения он издал на французском языке книгу воспоминаний о пережитом*. А в декабре 1945 года СССР объявил его «военным преступником» и потребовал выдачи у Бельгии. Выдачи удалось избежать, но уже в январе 1946-го за публикацию антисоветских книг во время войны Военный суд Бельгии приговорил Бориса Солоневича к году тюрьмы. Впрочем, уже через три недели он был освобождён, но автоматически потерял все гражданские права, в том числе право на участие в прессе. Однако старая борцовская школа, несмотря на слабое зрение, дает о себе знать – и Борис вновь на ковре, зарабатывает на жизнь профессиональной борьбой в возрасте за 50 лет, правда, схватки проигрывает, судя по отчётам бельгийской прессы.

Запрет насчёт участия в прессе также был нарушен. В августе 1950 года вышел первый номер журнала «Родина». Родившись как информационный бюллетень Союза Андреевского Флага, «Родина» скоро перешла на более широкую платформу и стала журналом для подсоветской эмиграции – с подзаголовком «Независимый антикоммунистический орган. На правах рукописи». Основатель и редактор журнала – Борис Солоневич.

Авторы первых номеров: Борис Солоневич, дядя Боб (семейное прозвище Б. Солоневича), В. Рудинский, Н. Потоцкий, А. Керенский и М. Алданов. Затем единственным автором остается Солоневич, периодически в собственные рассуждения вставляющий фрагменты из книг и статей брата Ивана.

Положение редактора Бориса Солоневича было двусмысленным, при той активной полемике, которую он вел с различными политическими группировками, всегда мож-

---

**Solonevitch B.*, Breendonck. Camp de tortures et de mort. – Bruxelles: Goemaere, 1944. - 112 p.

но было ждать доноса властям. Поэтому скоро, в 1952 г., пришлось передать издание журнала в руки смелой девушки – антикоммунистки Матильды Лефевр (официальный издатель).

И уже настоящим скандалом окончилась полемика с журналом «Часовой», выходившим под редакцией капитана В. В. Орехова, которого поддержали РОВС, НТС и Российское Национальное Объединение, со взаимным обвинением в работе на МГБ. В 1953 году Орехов подал в суд на Бориса Солоневича с указанием, что тот фактически редактирует журнал, чего по бельгийским законам делать не имел права. В 1954 г. суд приговорил Бориса Лукьяновича к году тюрьмы за нарушение закона. В наручниках он был из зала суда отправлен в тюрьму. Через полтора месяца Апелляционный суд отменил решение, и его вновь освободили. В это время «Родина» продолжала выходить – частично уже в Германии в Мюнхене, а редактором стал Олег Рябчук.*

Все эти приговоры не помешали американскому консулу выдать Солоневичу визу в США, и с 1957 г. «Родина» возобновила свое издание в Нью-Йорке. «Американская» «Родина» уже не была типографской, а печаталась на мимеографе. Борис Солоневич сам карандашом вписывал заголовки. Упал и тираж журнала, существование удавалось поддерживать за счет благотворительности читателей, набиравших для каждого номера 50 долларов. Не было ни подписки, ни розничной продажи, журнал рассылался бесплатно. Редактор писал: «Честно признаться, тираж «Родины» в среднем 200 экз. В Нью-Йорке расходится штук 40».**

***Базанов П. Н.* Иван и Борис Солоневичи и их журналы «Родина» // Иван Солоневич – идеолог Народной Монархии: Материалы VII Научно-практ. конференции: СПб. 26 апреля 2009 года. – СПб: Российский Имперский Союз-Орден: Ред. газ. «Монархистъ», 2010. – С. 5.
**Там же.

В 1955 году в Буэнос-Айресе вышел исторический роман Бориса Солоневича «Женщина с винтовкой», работу над которым он закончил ещё в 1946 году в бельгийской тюрьме. Это даже не роман, а литературная обработка воспоминаний Нины Крыловой, поручика «Женского батальона смерти», кавалера ордена Св. Георгия.

Ещё один роман – «Заговор красного Бонапарта» о маршале Тухачевском — издательство «Сеятель» выпустило тоже в Буэнос-Айресе в 1958 году.

По просьбе издательства журнала «Свободное слово Карпатской Руси» Борис дописал концовку для посмертного издания незаконченного романа Ивана Солоневича «Две силы». Двухтомник вышел в 1968-м. Впрочем, эта работа была встречена неоднозначно, а уже в наше время, после переиздания книги на Родине, известный критик Владимир Рудинский, например, писал: «Окончание, приделанное к роману братом писателя, Борисом Солоневичем, к сожалению, безнадежно слабее остального».*

В 1969 году, после очередной операции на глазах, в доме Бориса Солоневича случился пожар, в результате которого его левый глаз совсем перестал видеть. Правым с помощью сильных очков он ещё мог читать одну страницу текста в час и слегка стучал на машинке с помощью своего доверенного Бориса Ганусовского. Он по-прежнему не мог спокойно доживать свой век, поэтому издавал свою «Родину».

Борис Солоневич всегда помнил о том, что он скаут. Именно он организовал установку знаменитой мемориаль-

---

**Рудинский В.* Иван Солоневич. «Две силы» (Москва, 2002) // Наша Страна. - 2012. - 19 октября; № 2719-2720.

ной бронзовой доски в честь русских скаутов, погибших во время революции в России, в штаб-квартире Национального штаба бойскаутов США в пригороде Далласа, штат Техас: «Светлой памяти русских бойскаутов, погибших в период красного террора, защищая свои идеи Бога, Родины и свободы».*

Последний номер «Родины» (№ 256) вышел в 1979 году, это был спецвыпуск на английской языке. Слепой и больной, с помощью друзей (деньги на лечение собирали по объявлениям в эмигрантской прессе, а также скауты по подписным листам) Борис был помещен в дом престарелых Русско-американского союза в городе Глен-Ков на Лонг-Айленде, где и скончался 24 февраля 1989 года. Похоронен в Ново-Дивеево под Нью-Йорком.

В постсоветской России книг Бориса Солоневича не издавали. Единственное исключение – второй том «Воспоминаний соловецких узников», вышедший в 2014 году. В него вошли отрывок из «Молодёжи и ГПУ» и повесть «Тайна Соловков». Наша публикация – первое отдельное издание книги Бориса Солоневича на Родине.

Игорь Воронин, заместитель редактора газеты «Монархист» (Санкт-Петербург)

**Кудряшов Ю. В.* Указ. соч.

Истории русской провинции № 105
Историко-просветительский журнал
г. Орёл, ул. 2-я Курская, 25. Тел./факс (4862) 55-11-71
Журнал зарегистрирован Комитетом РФ по печати.
Свидетельство о регистрации № 013819 от 21 июня 1995 г.

Борис Солоневич

НА СОВЕТСКОЙ НИЗОВКЕ

Очерки из жизни низового советского люда

Выпускающий редактор: Константин Грамматчиков
Верстка: Константин Стародубцев
Корректор: Ася Гудкова

Редакция выражает благодарность за предоставленные материалы Игорю Петровичу Воронину – заместителю редактора газеты «Монархист» (Санкт-Петербург) и Российскому Имперскому Союзу-Ордену

В издании использованы авторские фото работы Б.Л. Солоневича из его ранее опубликованных книг («На советской низовке», издательство «Голос России» 1938 г.), а также фотографии музея Орловского локомотивного депо 30-х гг. с большой долей вероятности, сделанные Б.Л. Солоневичем, опубликованные на сайте «Википедия», фото сайта «Исторические фотографии Нижнего»

Подписано в печать 15.11.2018 г. Формат 60x84 1/16
Печать ризография. Бумага офсетная. Гарнитура Times, Arial
Объем 19 усл. печ. л. Тираж 500 экз. Заказ № 238

Лицензия ПД № 8-0023 от 25.09.2000 г.
Отпечатано в авторской редакции
в ООО Полиграфическая фирма «Картуш»
г. Орел, ул. 2-я Посадская, 26. Тел./факс (4862) 44-51-46.
E-mail: kartush@orel.ru www.kartush-orel.ru